ЕЖИ СОСНОВСКИЙ

АПОКРИФ АГЛАИ



Апокриф Аглаи
Ежи Сосновский

Аннотация
Ежи Сосновский. Апокриф Аглаи
Визит без приглашения
  Часть первая
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
  Часть вторая

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Визит по приглашению
Часть третья
Часть четвертая
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
Благодарность

Аннотация

«Апокриф Аглаи» – роман от одного из самых ярких авторов современной Польши, лауреата престижных литературных премий Ежи Сосновского – трагическая история «о безумной любви и странности мира» на фоне противостояния спецслужб Востока и Запада.

Героя этого романа, как и героя «Волхва» Джона Фаулза, притягивают заводные музыкальные куклы; пианист-виртуоз, он не в силах противостоять роковому любовному влечению. Здесь, как и во всех книгах Сосновского, скрупулезно реалистическая фактура сочетается с некой фантастичностью и метафизичностью, а матрешечная структура повествования напоминает о краеугольном камне европейского магического реализма – «Рукописи, найденной в Сарагосе» Яна Потоцкого.

Ежи Сосновский
Апокриф Аглаи

Агнешке

Визит без приглашения

Вот она: бредет по Свентокшиской в тени стоящих вплотную многоэтажных домов, бредет, словно в разломе земной коры. Словно вдоль по грязному пробору. По шраму на коже. Она вышла из-за угла улицы Новый Свет и движется в сторону площади Повстанцев. Червяк под небом цвета графита. Пропыленная. Просроченная. Жидкие клочья сероватых волос едва прикрывают череп. Кожа на темени потрескавшаяся, как будто она была слишком натянута, пересушенная, истлевшая. Грязные и размякшие туфли хлюпают — откуда мокрые подошвы в этот погожий день? Женщина идет. Почему у тебя мокрые подошвы? А она знай старательно топает. Откуда? Жужжит механизм, потрескивают, поскрипывают суставы. Мужской болоньевый плащ, как хитиновый панцирь. Голова качается точно маятник — вправо, влево. Вправо: женщина движется медленнее пешеходов. Влево: медленнее машин, ползущих в предвечерней пробке. По-иному, медленнее. Она тяжело взбирается по клеткам тротуара — откуда мокрые подошвы в такой день? — по склону, по

откосу, потому что должен же быть откос, склон, раз она так тяжело поднимается. Как пусто: водянисто-зеленые глаза ни на ком не задерживаются. Да и видят немногое: зрачки заблокированы в положении *«ослепительный блеск».* Они не больше булавочного острия. А ведь уже смеркается. Удар ветра на миг останавливает ее. В памяти женщины обрывки команд, полустертые операции, рассыпающийся словарь. Безнадзорная кукла, своевременно не отловленная.

На площади Вильсона у кино — еще одна. Покачивается на пятках, словно колебаниями туловища пытается набрать энергию, необходимую для прыжка на мостовую под мчащийся грузовик. Рядом кипа заплесневелых пластиковых сумок, и все они принадлежат ей. Откуда у тебя эти мешки (в такой погожий, сухой день)? И выглядит она точно так же, как первая. Да кто это заметит? Даже если кто и встретит в один вечер их обеих, то подумает: «Должно, эта психопатка автобусом подъехала». Да и так даже не подумает. Слишком много чести. Вот разве что: «Сколько же на улицах нищих…» Существования, лишенные всякого смысла. Незарегистрированные. Липкие, вонючие куклы автоматически включают в памяти прохожих команду «reset». Хуже было бы, если бы

они встретились. Но, к счастью, между Жолибожем и Свентокшиской большое расстояние. Даже если бы они шли навстречу друг другу, все равно они уже не столкнутся. Энергия у обеих на исходе, а механизм самоуничтожения не должен подвести, он неоднократно проверялся и разработан был тщательнее всего. Итак, в определенный момент следует: «1) свернуть в ближайший двор; 2) найти открытую дверь в подвал; 3) спуститься по ступенькам; 4) сесть на корточки; 5) голову между колен; 6) замереть; 7) самовозгорание; 8) конец». Потом дворник решит, что мальчишки устроили под лестницей костер: детали от телевизора, старые шмотки, сломанная велосипедная рама. «Нет, вы только гляньте! Жуткое хулиганье».

Часть первая

Кто однажды утратил то, что утратил ты, тот никогда не будет знать покоя.

Ницше. Одинокий

1

Для меня история эта началась в первых числах января 1994 года (хотя на самом деле тянулась она уже давно). Осенью я наконец получил аспирантскую стипендию. Мне предстояло написать диссертацию под рабочим названием «Концепция человеческой личности в поздних произведениях Эдварда Абрамовского». Меня интересовало, как человек, участвовавший в создании программы Польской Социалистической партии и развивавший кооперативное движение, мог дойти до исследований телепатии и влияния наркотиков на сознание, не говоря уже о вере в перевоплощение душ. Я допоздна засиживался в библиотеках и однажды вечером застал жену ни с того ни с сего пакующей вещи

в две огромные туристские сумки и гигантский, оставшийся в наследство от тестя, чемодан. Мы разговаривали потом целую ночь, хотя, сказать по правде, говорить было уже не о чем. Под утро, плача, она позвонила и вызвала такси. Я остался один.

Несколько дней я посвятил разглядыванию мелких трещинок в краске потолка над кроватью; в начале восьмого я начинал их видеть вполне отчетливо, рисунок обретал контрастность (все было залито розовым полусветом, каковой оттенок придавали солнечным лучам наглухо задернутые шторы), около трех понемногу сгущался сумрак, и если у меня не было сил протянуть руку к ночнику, то остальные десяток с небольшим часов я воспроизводил их в памяти, лежа в полнейшей темноте. Временами я вставал, чтобы залезть в холодильник; когда запасы спиртного, оставшегося после Нового года (дело в том, что гости пили меньше, чем мы ожидали), оказались прикончены, я окончательно поднялся и стал разглядывать себя в зеркало. Куда подевался пай-мальчик, которого я раньше видел в нем? И какая странная гримаса губ! «Мне же всегда хотелось иметь бороду», — вспомнил я. В качестве первого акта новой жизни я решил

почистить зубы.

О чудо, деяние это не исчерпало моих сил, напротив, я почувствовал голод, который подвигнул меня выйти в магазин. Но из этой первой экспедиции принес я не слишком много, потому что у кассы висел плакат, на котором силиконовая манекенщица рекламировала кока-колу, и это навело меня на мысль о времяпрепровождении моей *бывшей* — я постепенно заучивал эту формулировку. Я представил себе ее обнаженное тело в объятиях какого-то, кстати сказать неведомого мне, сукина сына, ее груди, которые ласкают его руки, и у меня чуть не случилась судорога. Но тем не менее часа через два-три я опять восстал. «Я не утону, сволочь, не утону, — громко сказал я себе, — у меня будет еще много женщин. И жизнь у меня удастся. Она еще пожалеет». Стены впервые за много дней услышали человеческий голос, если не считать тихого воя, который вырвался у меня в одну из ночей. Я заказал по телефону пиццу и включил телевизор. Как раз показывали «Касабланку».[1] Рик очень мне помог. «Капитан Рено такой же, как все люди, только в большей

[1] Примечания: 1

«Касабланка» (1943) — американский фильм режиссера Майкла Кертица (1888–1962) с Хамфри Богартом в главной роли. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

степени». Я надел черную водолазку, насвистывая «As Time Goes By». С этих пор я решил носить только черное.

У меня не было ни малейшего представления, как жить дальше, однако прежде всего следовало решить подпроблему: как дожить до первого. Университетская стипендия, естественно, имела характер, скорее, символический, и потому почти полгода я, можно сказать, находился на содержании жены, но теперь все указывало на то, что на ее финансовую помощь в дальнейшем рассчитывать не стоит. Может, она уже даже купила первую рубашку для своего нового мужчины. Я принялся звонить по знакомым. Мой четвертый собеседник, знакомец с телевидения, отреагировал быстро и конкретно: «Может, напишешь сценарий для редакции образовательных телепрограмм? О школьной реформе, потому что, понимаешь, это ведь нечто большее, в сущности, это реформа ментальности, ну, и на это есть деньги». Меня несколько огорошило, что начинать придется со сценария, посвященного обучению латыни; как каждый выпускник филфака, я, разумеется, мог изречь несколько красивых латинских сентенций наподобие «Amicus Plato, sed

magis amicus Veritas»[2] или «Gallia est omnes divisa in partes très»,[3] ну и, разумеется, «De gustibus non est disputandum»,[4] однако реальный контакт с языком Цезаря у меня завершился после первого курса, то есть в июле 1987 года, посредственно сданным экзаменом. Но тут я вспомнил о существовании Пуэллы. И ответил: «Да».

Пуэлла,[5] ах, Пуэлла. Ученики математических классов, у которых программа не предусматривала изучения латыни, из-за тебя жаждали заниматься ею факультативно. Когда на стодневку[6] ты пришла с каким-то седовласым, мы до самого получения аттестатов спорили, кто это был — твой хахаль или отец. Пуэлла была красива нечеловеческой, неподвластной времени красотой. Ее чуть раскосые глаза напоминали

---

[2] Примечания: 2

«Платон мне друг, но истина еще больший друг» *(лат.).*

[3] Примечания: 3

«Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части» *(лат.).* Первая фраза «Записок о галльской войне» Юлия Цезаря.

[4] Примечания: 4

«О вкусах не спорят» *(лат.).*

[5] Примечания: 5

Девочка *(лат.).*

[6] Примечания: 6

Стодневка — школьный праздник, устраиваемый за сто дней до вручения аттестатов зрелости.

глаза этрусских статуэток, что добавило бы ей тысячи две лет. В свой черед в ее безукоризненно очерченных губах была какая-то девственная нетронутость, как у десятилетней девочки. Однако десяти– или тысячелетняя Пуэлла исчезла потом с моего горизонта. От нее мне остался «Amicus Plato» и сентиментальное воспоминание о духах, название которых я так никогда и не узнал. Зато я знал, что она продолжает преподавать в моей бывшей школе.

Шел урок, зеленый линолеум покрывал, как прежде, весь коридор, и, как прежде, скульптура патрона школы носила на себе следы художественной деятельности учеников (мы настойчиво напяливали на него шапки, а сейчас по его лицу было видно, что недавно он обзавелся на некоторое время нарисованными мелом очками). Секретарша сообщила мне, что я спрашиваю про директора школы и что мне придется подождать звонка. Повышение Пуэллы обрадовало меня, но и поселило в душе сомнение. Прошло столько времени — может, она меня не помнит? Я с опозданием увидел ее рядом с собой.

— Кого я вижу! Что привело тебя к нам? — воскликнула она с таким энтузиазмом, словно после моего выпуска у нее не было еще нескольких

сотен учеников.

Потом она кивала головой в такт моим словам — *нынешняя программа латинского языка, учебники, ожидания учеников,* — а ее этрусские глаза при этом иронически поблескивали. В конце она спросила:

— А ты не хотел бы преподавать в нашей школе? У меня драма — я ищу учителя польского языка и литературы. Хорошего учителя. — По легендарным бледно-розовым губам скользнула улыбка.

Но какой смысл? Мне нужна была хорошо оплачиваемая и не слишком обременительная работа, и я вовсе не собирался брать на себя ответственность за несколько десятков человек с патологической способностью делать ошибки в самых простых словах и непреодолимым отвращением к Элизе Ожешко.[7] И притом за сумму, которая смахивает скорее на пособие по безработице, чем на зарплату. Но Пуэлла… Каменный патрон с пририсованными очками… Зеленый линолеум… Когда я видел их в последний раз, я еще не знал своей *бывшей,* собирался по-быстрому расправиться с польской филологией и пойти на

---

[7] Примечания: 7

Элиза Ожешко (1841–1910) — польская писательница, романистка.

кинорежиссуру, убежденный, что «Оскар» ждет не дождется меня. В баре на углу мы с приятелями ели гамбургеры и взаимно поддерживали друг в друге высочайшее о себе мнение. Каждая дискотека была обетованием встречи с великой и единственной любовью. Пуэлла выжидательно смотрит на меня, и в ее светлых волосах я вижу серебряные нити; какие-то ученицы проходят мимо, и до меня долетает, как одна спрашивает у другой: «А это что еще за очередной дон Педро?» В конце концов, Абрамовский может пока подождать, я уже много успел сделать, работал над ним интенсивно, слишком интенсивно — подсказывает во мне тот, кто еще долго будет оплакивать мой брак.

— Сколько часов? — спрашиваю я, и Пуэлла лучезарно улыбается.

А надо мне было спросить, кто в этой школе преподает музыку. Или хотя бы заинтересоваться, почему та девочка в вопросе о доне Педро употребила эпитет *очередной.* Это было гораздо важней. Рик ни за что не прошляпил бы подобный сигнал.

2

Очень скоро школа стала для меня чем-то вроде йоги: она придавала костяк бытованию, ритм, которому я мог подчиняться без предварительных обоснований. И которому должен был подчиниться. Четверг, когда у меня не было уроков, стал наихудшим днем недели, не считая, разумеется, выходных, они переносились тяжелее всего; но даже в эти ничем не занятые дни достаточно было вспомнить про существование четырех классов, почти ста двадцати человек, потенциально симпатичных, но фактически безжалостных, чтобы меня тут же бросало в холодный пот — это вместо слез, — и я погружался в изучение давно уже не освежавшихся в памяти текстов — Кохановского, Мицкевича, Реймонта, Херлинга-Грудзинского[8]… Словно улитка, утратившая домик, но обретшая, да, пусть

[8] Примечания: 8

Кохановский Ян (1530–1584) — польский поэт, фактический создатель польского стихосложения. Реймонт Владислав (1827–1865) — польский писатель, прозаик; Нобелевская премия 1924 г. Херлинг-Грудзинский Густав (1919–2000) — польский писатель, во время Второй мировой войны сражался в польской армии генерала Андерса, после 1945 г. в эмиграции, многолетний сотрудник польского эмигрантского журнала «Культура», издававшегося в Париже.

временную, но все-таки скорлупу, я все больше радовался тому, что легкомысленно позволил Пуэлле соблазнить меня своей улыбкой. В театр этот, где я играл роль преподавателя польского, я контрабандой протаскивал рассказы о себе, комментировал горькую мудрость одной из «Песен» Кохановского: «Скажи, хозяин, слугам, пусть подадут к столу нам вина дорогие»,[9] едва замаскированными воспоминаниями о своих собственных кошмарных субботних утрах, когда только спиртное, которым я все еще слегка злоупотреблял, спасало меня от низвержения в безграничное отчаяние, и испытывал почти мальчишескую радость, оттого что между контрольными работами и записывавшимися на доске темами урока этот отрывок неизменно предстает мне очередным актом творения, очередным фрагментом формы. С течением времени все у меня на уроках стало настоящим, хотя и оставалось нереальным, условным. Недели через две ко мне на урок пришла Пуэлла. «Я знала, ты подходишь для этого», — сказала она мне после звонка, прежде чем уйти по коридору.

В этом же коридоре я увидел — правда, несколь-

---

[9] Примечания: 9
Перевод Вс. Рождественского.

ко раньше, примерно через неделю после начала работы — знакомое лицо, но прежде чем до меня дошло, что передо мной дон Педро «номер один», я задал себе вопрос, не обманывает ли меня зрение. Если это тот, кого я — как мне показалось — узнал, то что он делает в школе? Когда он среди шумливой группы учеников проходил мимо меня, наши глаза на какую-то долю секунды встретились, и на его лице тоже отразилось удивление. Но он не остановился, прошел дальше — к уборной около лестницы. С минуту я чувствовал себя так, словно мимо меня промаршировало мое отражение в зеркале — черная водолазка, черные джинсы, недельная щетина («Five o'clock shade», как определила англичанка, которая преподавала еще при мне, но не в моем классе). Наверно, он учит Закону Божьему, подумалось мне: от него веяло чем-то духовным, но скорее православного толка, чем римско-католического; так я подумал, направляясь с журналом под мышкой в противоположную сторону. Играющие в маялку юноши из выпускного класса кивнули мне, словно в шеях у них были установлены крохотные рычажки: подбородки механически выдвинулись вперед, судорога шейных мышц: *здрссте.* Я остановился перед расписанием уроков, ну да, «Музыкальное

воспитание — преп. Клещевский». Ну конечно же.

Адам Клещевский, поздний ребенок дяди Яна и тети Рени, был моим дальним родственником. Не виделся я с ним уже бог знает сколько времени. Он был старше меня на несколько лет и долго оставался любимцем всех бабушек и тетушек, каковых в нашем широко разветвленном роду был явный переизбыток. Ему назначено было стать пианистом, и во всяком случае раза два-три он придавал блеска родственным сборищам небольшими концертами: «К Элизе», какая-нибудь простенькая мазурка, медленно сыгранная фуга Баха. Я тогда ему немного завидовал — банту на шее, сосредоточенному выражению лица, с каким он садился за пианино, растроганности в глазах взрослых. Потом был еще один концерт у него дома, неподалеку от Нового Света, на который пришли его соученики по академии. Музицирование затянулось до ночи, и я лез вон из кожи, чтобы остаться с ними, но общество свежеиспеченного лицеиста не представляло для них интереса, а родители мои как всегда в десять вечера отправились домой и, разумеется, забрали с собой и меня. Потом были упорные толки, что у него большие шансы в ближайшем

шопеновском конкурсе, а еще позже случился скандал: Адам неожиданно бросил рояль, рассорился с родителями и ушел из дому (с *какой-то профурсеткой,* как объясняла с гримасой отвращения хорошо информированная тетя Люся). Это было в середине восьмидесятых, родители Адама вскоре умерли, а остальные родственники дружно признали его несуществующим. И вот я опять увидел его.

В школе он бывал всего три раза в неделю, причем один из них приходился на четверг, оттого-то я и не сразу встретился с ним. Пуэлла, которой я мимоходом сообщил о своем родстве с Клещевским, отреагировала довольно странно.

— Так ты, значит, родственник учителя музыки, — улыбнулась она, но как-то неопределенно, одними уголками бледно-розовых губ, и я бы даже сказал, улыбка была кривоватая. — Выходит, ты наша единственная надежда. Может, ты с ним поговоришь? Он трудный человек.

Но тут зазвенел звонок, и мне не удалось узнать, что она имеет в виду.

Адам, как я заметил, избегал учительской. Я не вполне понимал его. Часть из учителей я знал сыздавна и питал к ним нечто вроде симпатии, несмотря на то что военрук (которого еще в мое

время не слишком уважительно звали Сухостоем) рассказывал скабрезные анекдоты, биологичка Флора вульгарно заигрывала с химиком Драбчиком, а постаревший физрук, заглядывавший в учительскую на большой перемене, неизменно вытаскивал из сумки «Трыбуну» и доказывал пойманному неосторожному учителю (мимо стула физрука проходила дорога к кофеварке), что раньше было лучше. Но тем не менее мне казалось, что в этих людях есть нечто хорошее, хотя четко определить, что именно, я бы не смог. Может быть то, что они оставались такими же, как когда-то? А может то, что относились они ко мне с лестной для бывшего ученика дружелюбностью, в которой я невольно улавливал гордость *(удачный выпускник)?* А возможно, все дело было в моей потребности испытывать симпатию к живым существам, которых мне так недоставало в моей квартире?

Клещевский в учительской практически не появлялся. Но я не думал, что Пуэлла имеет к нему претензии именно из-за этого. Она сама заходила туда не слишком-то часто, с большей охотой проводя время у себя в кабинете на первом этаже; ее присутствие провоцировало военрука на совсем уж сальные анекдоты (хотя, имея в виду обычное

их качество, это казалось невероятным), так что я, придя с урока и обнаружив, что в учительской ее нет, ловил себя на вздохе облегчения. В определении *трудный человек,* видимо, крылось нечто другое. Но что именно, я пока не знал.

Когда пошла третья неделя работы в школе, началась оттепель, и мне пришлось взять зонт. Я не любил его, это был подарок моей *бывшей* на последние Миколайки,[10] и я не мог отвязаться от мысли, что, покупая его, она заодно приобрела какую-нибудь мелочь для своего любовника, роман с которым, как я узнал в ту последнюю ночь, тянулся у нее уже несколько месяцев. Но с утра шел дождь, и мне не хотелось вдобавок к разводу подцепить еще и грипп. Бурча разные нехорошие слова псевдобамбуковой ручке, я укрывался под зонтом от наимерзейшей разновидности дождя со снегом: грязно-белые хлопья планировали по сложным траекториям, чтобы в конце полета, крутанув традиционную бочку, очутиться на лице и тут же превратиться в густую, липкую каплю. Но позже, во время урока, за окном засияло солнце. Так что про зонт я немедленно забыл.

В ту пору я старался возвращаться в пустую

---

[10] Примечания: 10

Миколайки — традиционный праздник в день св. Миколая (6 декабря).

квартиру как можно позже. С возрастающим самозабвением я посещал все кинопремьеры — «Деликатесы»,[11] «Много шума из ничего»,[12] просмотр фильмов Альмодовара на Новом Мясте, — поскольку с Национальной библиотекой у меня тоже были связаны скверные ассоциации. В тот день я отправился на «Век невинности»[13] в «Рейс», и, когда в подавленном настроении вышел на улицу («Уж этот фильм точно не подходит для просмотра только что брошенным мужчинам, и перед сеансом надо было бы предупреждать», — подумал я), небо вновь затянули густые черные тучи. Было начало седьмого. Я взглянул на свои пустые руки, и тут до меня дошло, что недавно я что-то в них держал. Нет, не жену. Зонт.

Начинало уже капать, и я, долго не раздумывая, прыгнул в автобус и поехал в школу. Я ждал, что придется долго стучать, прежде чем мне откроет

---

[11] Примечания: 11

Первый фильм Марка Каро и Жан-Пьера Жене (1991), черная комедия.

[12] Примечания: 12

Фильм Кеннета Браны (1993), одна из множества экранизаций одноименной комедии Шекспира.

[13] Примечания: 13

Фильм Мартина Скорсезе (1993) с Вайноной Райдер и Мишель Пфайфер, одна из множества экранизаций одноименного романа (1920) Эдит Уортон (1862–1937).

умеренно трезвый ночной сторож, однако — о, чудо! — двери лицея были еще открыты. «Что так поздно?» — пробурчал сторож, выглянув из своей каморки. Видимо, он узнал меня, так как, не ожидая ответа, тут же скрылся в ней, приманенный голосом диктора и блеском полуопорожненной бутылки. Я снял ключ от учительской. И когда поднимался на третий этаж, услыхал, что кроме телевизора что-то еще нарушает тишину опустевшего школьного здания. Это были звуки фортепьяно.

3

С раскрытым зонтом (его, гада, еще и заело), в мокром пальто я шел по длинному, темному коридору к источнику звуков. Шел на цыпочках, чтобы не делать шума, как будто сторож мог услышать меня через этажи и как будто я не имел права находиться тут («В конце концов ты же учитель этой школы», — не слишком убежденно пробормотал я себе). О том, что можно спугнуть пианиста, я как-то и не думал — он играл до того самозабвенно, до того свободно, ему явно было абсолютно безразлично мое присутствие. Еще на этаж вниз — по жутко скрипучей лестнице.

Тут в первом классе мы рассматривали порнографические фото — черно-белые переснимки из шведских журналов, на которых тела располагались в таких поразительных сочетаниях, что мы, ничего не понимая, вертели их в руках, яростно споря, где тут верх. Произведение, которое показалось мне фортепьянным клавиром «Орфея и Эвридики» Глюка — мы с Беатой очень любили эту вещь, — внезапно оборвалось, и после короткой паузы, которую я провел, карикатурно держа одну ногу навесу над бездной лестничного пролета, раздалось что-то отчаянно меланхолическое. Монотонное. Превращенное во вслушивание в тишину между звуками. Я приближался. Коридор на втором этаже тоже был темный, но из-за двери напротив сочился свет. Я остановился. В голове у меня мелькнуло: неожиданное начало моей педагогической карьеры было изрядно странным, но то, что я делаю сейчас, переходит все меры странности. Я уже не чувствовал себя обманутым, брошенным, несчастным и даже промокшим не чувствовал. Вообще мне трудно было поверить, что это я. Пьески были довольно короткие, но построенные вокруг одинаковых или — тут я не был вполне уверен — похожих аккордов, как будто левая рука пианиста утонченно насмехалась

над правой, провоцировала ее на рассказ о печали, которая под тот же самый аккомпанемент выдавала свою низкопробную кокетливость. Превращалась в дешевое бормотание. В болезненную шарманку. Было в этом что-то безжалостное. Однако я вдруг ощутил странное облегчение. И прежде чем успел удержать собственную руку, самостоятельно протянувшуюся вперед, я уже открывал дверь.

Музыка мгновенно прекратилась. Клещевский, сидевший за пианино, повернулся ко мне всем телом, и в глазах у него был такой страх, что я моментально погасил свою улыбку, которая — так же автоматически, как рука потянулась к дверной ручке, — приподняла мне уголки губ. Я опять почувствовал себя так, словно смотрюсь в зеркало; думаю, у меня была такая же мина, как в ту ночь, когда я понял, что моя жена вовсе не едет навестить бабушку или на экскурсию в Прагу, а навсегда уходит из моей жизни. Удивление, страх, жалость к себе, ярость. И эта щетина у него — точно такая же, как сейчас была у меня. «Черт побери, — пронеслось у меня в голове, — не слишком ли много отчаявшихся бородатых мужиков на одну школу?»

— Прости, — ничего умнее я не нашелся ска-

зать. — Я тебе помешал?

В зале царил полумрак. Клещевский переставил на пианино со стола лампу с веселеньким желтым абажуром. Под ним еле светила слабенькая лампочка. Она освещала его сбоку; я отчетливо видел только торчащую щетину на щеке. Мне показалось, что выражение лица у него так и не изменилось. Во всяком случае он не шевельнулся.

— Прости, — после раздумья повторил я. — Я могу обращаться к тебе на «ты»? Когда-то мы были знакомы. Меня зовут Войтек. Мы ведь родственники, кузены.

Он отвернулся к клавиатуре и буркнул:

— Да.

— Пришлось вернуться, потому что я забыл зонтик, — по-дурацки лепетал я. Убрать голову из дверей и закрыть их, наверно, было бы еще глупее да к тому же и невежливо, и потом, мне хотелось, чтобы он продолжил играть, когда я уйду, — м-да… забыл зонтик… и услышал… Очень красиво.

— Да, — повторил он, все так же не шелохнувшись, словно привинченный к табурету. За окном на перекрестке пульсировали оранжевые огни.

— Ты можешь сказать, что это было? И я пойду.

(«Чего ты так заискиваешь?» — мысленно одернул я себя.)

Пауза. Я вдруг осознал, что по ритму наш диалог напоминает произведение, которое я прервал своим появлением. Сейчас я должен услышать «да».

Но он вместо этого закрыл крышку пианино.

— У меня нет инструмента. Квартирка крохотная. — Мне почему-то показалось, будто он оправдывается. — Пойду-ка я, пожалуй.

— Прости. — Я со злостью почувствовал, что мне хочется заплакать. Я вовсе не собирался прерывать музыку. Мне она действительно понравилась.

— Нет. — Понятия не имею, к чему относилось это «нет». Он встал с табурета, взял брошенную на стол кожаную куртку. Еще раз взглянул на меня и вроде бы поморщился. При сильном желании я мог бы сказать, что он улыбнулся. — Я знал, что мы откуда-то знакомы. И что имя у тебя начинается на «В». Значит, кузен. — Создавалось впечатление, что он разгонялся, набирал энергию для разговора и размашистости жестов. Он погасил лампу, хлопнув по кнопке выключателя ладонью; это было похоже на финальный удар по клавишам. — А Сати, кузен, очень красивый.

Просто отменный. А уж для деревянных пальцев лучше не найти.

Я промолчал, пропуская его в дверь. Он взглянул на зонтик, который я все время держал за спиной.

— Чего это ты его раскрыл? Тут над тобой каплет, что ли?

— Да заело, чтоб его…

«Черт возьми, — подумал я, — он из меня дурака делает. Потому что мне понравилась его музычка». Я снова почувствовал, как подкатывают слезы. Но его поведение так меня взбесило, что слезы как подкатили, так и откатили. Громко топая, я двинул к лестнице. Он шел за мной. Внизу он, надо же, подождал у выхода, пока я повешу ключ, и распахнул передо мной дверь.

— Зря злишься, кузен, — дохнул он мне в ухо, и я почувствовал запах водки. — Ведь это ты мне помешал.

Я уже было собрался пойти вправо (не знаю почему, но я был убежден, что ему в противоположную сторону), но эта фраза меня удержала. Я решил отыграться, и немедленно. На чем угодно.

— А почему Пуэлла сказала, что ты трудный человек? — бросил я. («Ну ты даешь, директрисой пугаешь!»)

Он не понял.

— Кто?

— Наша директор. («О Господи, что я несу. Как я такое говорю. О Господи», — я уже понимал, что это не самое лучшее, что можно было придумать. Да я с самого начала это знал.)

— Она так сказала? — В своем осеннем пальто рядом с ним, стоящим в куртке до бедер под струями дождя, я выглядел как его старший брат. А меж тем это он поучал меня, как сопляка какого-то (так мне подумалось). — Ну жаба.

Не слишком ласковое определение.

— Внешне она довольно мила, — пробормотал я.

— Да. — Он с минуту еще постоял, а потом внезапно пошел в *мою* сторону. — Пока.

А я как дурак зашлепал в противоположную.

4

Кожа у меня тогда была нежная, как у новорожденного, и обидеть меня в ту пору, ранить, довести чуть ли не до слез было проще простого. В школе же меня спасало чувство, что тут я не являюсь собой, — когда я входил в класс и с интонацией легкого нетерпения бросал «Сади-

тесь», у меня было физическое ощущение, что изболевшееся «я» осталось где-то там, как пальто, как отмокшая бумажка с переводной картинки. Я чувствовал, как тело у меня твердеет; стальная челюсть клацает в ритме произносимых слов, я превращался в статую Командора. Но Клещевский без труда — хоть и невольно — содрал с меня все эти воображаемые панцири и обнажил студенистое тело обманутого мужчинки. Несколько дней я, вспоминая нашу встречу, ненавидел его до металлического привкуса во рту. Правда, я старался о нем не думать, инстинктивно вытеснял его из памяти. *Будь добр к себе,* — это был мой лозунг. — *Будь добр к себе и не помни, если это не доставляет тебе удовольствия.*

Опасаюсь, что удовольствие мне доставляло нечто совсем другое, потому что как иначе объяснить то обстоятельство, что тотчас же — так мне казалось — все вокруг стали дурно говорить о Клещевском? Ученики иронически бросали, что на уроки он приходит под мухой либо с похмела; ученицы шептались между собой (фамилию Клещевского они произносили с гневным шипением), что он обзывает их пластиковыми куклами, на уроках заставляет выступать соло, а потом передразнивает, изображая, как они фаль-

шивят. В учительской англичанка Иола горестно вздыхала, говоря, что даже абсолютно немузыкальному ученику нельзя ставить по пению одиннадцать колов и ни одной положительной оценки, особенно если по остальным предметам он очень неплохо успевает. Историк, узнав, что вопрос о снятии учеников с последних уроков ему придется улаживать с Клещевским, махнул рукой и перенес экскурсию на другой день. «Этот ни за что не уступит», — буркнул он, поймав мой вопрошающий взгляд. Второй класс, с которым я быстрей всего подружился, поставил меня в тупик вопросом, считаю ли я возможным для учителя обзывать учеников трупами.

— Как?

— Трупами. Пан Клещевский сказал, что все мы — духовные трупы, потому что не смогли узнать, отрывок из какого произведения он играет.

— Из «Лунной сонаты», — объяснил Павелек, лучший ученик в школе.

— Ага. Мы думали, это Шопен, а оказалось, это какой-то… ну, как его?

— Бетховен.

— Во-во. Они же похожи. Разве нет?

Я кашлянул. Все-таки я был учителем.

— Возможно, — начал я, — учитель музыки

неоднократно вам все это объяснял…

— Но вы, — заметил самый языкатый в классе ученик по кличке Ремик, — спокойно отнеслись к тому, что я опять перепутал части «Дзядов».[14]

— Действительно, — признал я, поворачиваясь к доске, — я всего-навсего поставил тебе «единицу». Записываем тему урока.

На субботу была назначена стодневка. Я не знал, как вести себя: да, я преподавал в выпускном классе, но всего три недели; притом, как я узнал, учителей спрашивали еще перед Рождеством, придут ли они, и из этого сделал вывод, что прибора для меня не будет. К тому же у меня было такое чувство, что они прекрасно обойдутся без меня. И не только в этот раз, а всегда. Так что когда в пятницу все прощались «до завтра», у меня нечаянно вырвалось:

— Ну а я — до понедельника.

— Стоп, стоп, — остановил меня Сухостой. — Выходит, вы не будете на стодневке?

Я пребывал в нерешительности. В сущности, мне жутко не хотелось проводить субботу в одиночестве. Вот потанцевать бы, поговорить о чем-нибудь с другими людьми, лишь бы не

---

[14] Примечания: 14

«Дзяды» — драматическая поэма Адама Мицкевича, состоящая из трех разных по характеру частей.

думать…

— Но… я ведь… я тут всего три недели, — пробормотал я.

— Ну и что? — англичанка Иола с удивлением воззрилась на меня. — Ведь приглашены все. Ты же преподаешь в четвертом классе.

Сухостой хлопнул меня по спине.

— Коллега, — чуть тише произнес он, — водка пропадает.

— Слышите? Он не хочет с нами повеселиться! — воскликнула Иола.

— Да нет, я просто думал… Был же какой-то список…

— Но твоя предшественница же записывалась, ты придешь вместо нее. Стодневка бывает всего раз в году. В крайнем случае, дорогуша, съешь поменьше. Так что если ты не против…

Улыбка у меня получилась шире, чем я собирался ее изобразить.

— Ладно, приду.

С этим я вышел из учительской. Я впал в какое-то идиотически лучезарное настроение и по лестнице спускался чуть ли не вприпрыжку. Предчувствие удовольствия доставляло мне удовольствие, так что я не удерживал себя и даже начал насвистывать. Когда в последнее время я

мог с таким возбуждением предвкушать субботу? Я находился в столь приподнятом настроении, что даже заглянул в спортзал, где четвероклассники натягивали между шведскими стенками маскировочную сетку, чтобы снизить высоту зала до нормальных человеческих размеров и, похоже, хоть немножко скрыть шелушащийся потолок. Уже крепили к перекладинам цветные прожекторы. На сцене какой-то парнишка устанавливал аппаратуру. Меня, кстати, по ходу заинтриговала приоткрытая, а обычно запертая боковая дверь, ведущая в неизвестную мне часть здания — может, в начальную школу, которая размещается во флигеле? А может, в подвалы, про которые рассказывали, будто они забиты истлевшими аккордеонами — памятью о существовавшем после войны школьном оркестре? Нам казалось, что в этом огромном здании должно крыться множество тайн, и все время, пока я тут учился, мы с приятелями собирались когда-нибудь исследовать все его закоулки. А потом — вплоть до сегодняшнего дня — я начисто про это забыл.

— Понимаете, — встретил меня физрук, не вынимая изо рта погасшую сигарету, — дети хотели снять какое-нибудь кафе, но кто столько станет

платить… Хорошо, что дирекция разрешила… У нас дешево, а все будет в лучшем виде. Как раньше. Пан Фелек, что ты собираешься делать с этим ведром?

— Пол хочу протереть.

— Потом, потом. У тебя целый вечер впереди.

Ночному сторожу не осталось ничего другого, как убраться в коридор.

Я попрощался и вышел следом за ним. Хорошее настроение куда-то улетучилось (настроение у меня менялось с безумной скоростью). Мне вспомнились полонез Огинского и моя собственная стодневка здесь же, много лет назад. *Как раньше,* — физрук не лгал, в этом районе от молодежи трудно было ждать больших взносов на наем увеселительного заведения, потому с незапамятных времен, а может и всегда, все происходило по одному и тому же сценарию. Другое дело выпускной бал, для него обычно снимали кафе «Доротка» — сейчас-то уже вряд ли, потому что в газетах о нем шла слава как о любимом месте встреч пригородной мафии, — но стодневку по-прежнему воспринимали как внутришкольное мероприятие; учителя закрывались в химическом кабинете, где среди мензурок стояли хитроумно укрытые бутылки водки, а мы

— *уже не мы,* тут же спохватился я — танцевали между шведскими стенками в мерцании прожекторов, практически не замечая, что паркет исчерчен линиями баскетбольной разметки. В ту пору я еще не знал Беату. А теперь я в том же самом месте, но по другую сторону баррикады: «Посмотрим наконец, каково это среди мензурок, — подумал я. — As time goes by, Войтек». Меланхолия, о чудо, исчезла, и я энергичным шагом двинул к трамваю.

5

Я решил ради такого случая временно расстаться с черным: к черным джинсам надел серый пиджак и достал из шкафа белую рубашку. Она была мятая, но безукоризненная белизна воротничка свидетельствовала, что после стирки я ни разу ее не надевал. Неужто помялась, пока висела? Я расставил гладильную доску и принялся изучать надписи на регуляторе утюга. *Стилон. Шелк. Искусственный шелк. Шерсть. Хлопок. Лен.* Почему бы, черт бы их драл, было не написать: *рубашка?* Звонить маме я не собирался: она приехала бы, но я решил быть самостоятельным. В конце концов я установил температуру посере-

дине (в районе *шерсти)* и ограничился только грудью — времени у меня оставалось мало, а потом я ведь не собирался снимать пиджак. Несколько секунд я испытующе смотрел на вторую верхнюю пуговицу: она едва-едва держалась. Я глянул на часы. Начало седьмого. Махнув рукой, я завязал галстук и направился в школу.

В коридоре сновала толпа родителей, матери источали ароматы духов, которые смешивались и желто конденсировались в табачном тумане. А может, то был просто цвет ламп под потолком. Нарядные папаши добавляли к этим ароматам струйки «Тирана», «Варса», «Маклера», и мне показалось, что я уловил бензиновый оттенок «Фаренгейта». Потрескивала перематываемая в аппаратах пленка, звенели браслеты, и все сверкало и блестело: начищенная обувь, объективы, бижутерия, помада на губах.

Нас втиснули в зал, оставив в коридоре место для полонеза; открыли его при первых тактах музыки историк и Пуэлла, за пианино сидел Адам точно в таком же, как у меня — это же надо! — пиджаке. Во всяком случае, схожего цвета. Двигались пары медленно, одни плавно, другие словно прихрамывая. Сверкали вспышки, и, когда они дефилировали мимо меня, растроган-

ные, как и полагается, я почувствовал, что и сам впадаю, как все и всегда при звуках «Прощания с Родиной»,[15] в положенную растроганность; разумеется, я думал о годах, что остались там, позади, и, само собой, о тех, что нас еще ожидают. И вдруг меня разозлил кич, который заглотил нас, как гидра: *сколько уже лет*, а все по свистку, *собаки Павлова*, *черт побери*, меланхолическая кровь, перенасыщенная черной желчью, и желчь возмутилась во мне, к счастью, вскоре был финальный поклон, все кончилось, родители принялись хлопать, мы тоже, лица у учеников были потные, и улыбались они с облегчением, как после экзамена. Небольшая речь Пуэллы, потом ученики сыграли несколько сатирических сценок, из которых я ничего не понял, — «А мне-то казалось, я знаю эту школу», — с удивлением подумал я, — наконец диджей включил музыку, замигали разноцветные огни, и Иола потащила меня, разумеется, в кабинет химии, где парты поставили прямоугольником, а под кафедрой с газовым краником была спрятана коробка «Выборовой». Все, еще немножко торжественные, молча рассаживались, историк оглядывался во-

[15] Примечания: 15

Полонез (1794) польского композитора Михала Клеофаса Огинского (1755–1833).

круг, словно ища в наших глазах подтверждения, что неплохо вел полонез те несколько десятков первых тактов, и только военрук, едва двери за нами закрылись, хлопнул себя по ляжкам и, гогоча, завопил:

— Ой, наши ученицы, ой, эти наши ученицы!.. Просто сил нет!

— А кто была преподавательница, которую я заменяю? — спросил я у Иолы, чтобы переключить внимание на другое.

— Пожилая женщина, она поработала у нас несколько месяцев, но в праздники что-то с ней случилось, инсульт или кровоизлияние какое-то, я слышала, что у нее правая сторона парализована, жуткая история, можешь мне поверить. Вроде она себя чувствует так, будто у нее нет тела, представляешь себе? Я бы предпочла умереть. Но повела себя она очень прилично, позвонила из больницы… как ты ее называешь? Пуэлле? Очень мне нравится, я так и буду ее называть, она и вправду выглядит как девочка, очень здорово держится, хотя на самом деле не такая уж она молоденькая… — Иола захихикала. — Бабы, они такие. Больше ничего не скажу. Во всяком случае, она позвонила еще из больницы, что больше не будет работать, уйдет на пенсию и чтобы искали

ей замену. Должна, правда, тебе сказать, у нее не было контакта с молодежью. Знаешь, такая у нас работа, мы быстро изнашиваемся. А сейчас, ты, наверно, заметил, к молодым нужен подход, их нужно чувствовать, я так даже MTV смотрю, чтобы быть в курсе, что они слушают, чтобы переводить с ними песни, муж мой удивляется, но что мне с ними, Хемингуэя читать в оригинале? Да они теперь даже не знают, кто такой этот Хемингуэй. А из «Старика и моря» телеверсию бы сделали. Мой сын мне говорит: «Мама, ну сожрали у него эту рыбу, ну и что?» Да, дорогуша, капельку, но обязательно с соком, — обратилась она к Ромеку, который вырос рядом с нами, держа в руке бутылку.

— Ой, эти ученицы! — снова раздался голос военрука.

Иола заметила мою мину.

— Он всегда говорит это на стодневках, причем твердит без остановки. Придется тебе привыкать, дорогуша, работа у нас нелегкая.

Действительно, военрук повторял это без передышки, а после третьей рюмки подчеркивал свое восхищение еще и гримасами: облизывался, подмигивал; рядом с ним сидела Флора и громогласно хохотала, ее огромный бюст трясся над

столом, на котором расцвели салаты и тарелки с украшенными петрушкой копченостями; в конце стола под большим шкафом с надписью: КИСЛОТА сидел Адам, уставясь взглядом в тарелку; я решил, что он так сгорбился из-за Сухостоя, и даже почувствовал к нему что-то вроде симпатии. Драбчик пригласил Иолу на танец, у Флоры улыбка замерла на губах, я подложил себе зеленого горошка с майонезом, похоже, я проголодался. Но тут военрук начал рассказывать анекдот: «Значит, идет по пустыне такая себе девица…» — и я подумал, что, может, поем я чуть позже, а пока пойду потанцую. Один. Я пробрался к двери и вышел.

В зале было темно, только прожекторы мигали красным и синим, точь-в-точь как в «Сквозь огонь иди за мной» Линча; репродукторы ритмично гудели, я снял галстук, сунул его в карман и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки; тут зазвучало, о чудо, старенькое «How Deep Is Your Love» «Би Джиз», вероятней всего, это был подарок учителям, и я без раздумий пригласил на танец Улю из класса «с»; невдалеке проплыл физрук с Домбровской. При следующем фрагменте, помедленней, я увидел, как Патрик героически обнимает Иолу, которая жизнерадостно помахала

мне рукой, меж тем как я неуверенно кружился, внезапно чувствуя приближение хандры. Ну да, «Dance Me To The End Of Love» Коэна, очередная порция ассоциаций, связанных с Беатой; *the end of love. Just reached* — забурчало что-то во мне. — «Заткнись», — ответил я этому чему-то. Следующей была какая-то польская группа, певшая: «Знать, крыши съехали у нас, коль мы живем», молодежь с энтузиазмом хором ревела: «Знать, крыши съехали у нас, коль мы живем, хей, хей». И я тоже ревел «хей, хей». Верно подмечено. Значит, кто-то это уже заметил, я не одинок, кто-то заметил и теперь успокаивает меня, что нас, посвященных, битых, гораздо больше, однако и про это можно распевать радостную песню; ну что ж, поведаем, пропоем об этом друг другу; все было так, словно я — плохой ученик, которому кто-то (свыше?) дает подсказку для решения проблемы: *да пошло оно все к черту вместе с моей бывшей,* раз уж «крыши съехали у нас». И тут в зал вошла Пуэлла. Она поискала кого-то взглядом, а потом направилась в мою сторону.

— Войтек, — обратилась она ко мне, стараясь отдышаться, — извини, что я тебе помешала, но, может, тебе удастся увести твоего кузена… иначе мне придется в понедельник вышвырнуть его

с работы.

— А что случилось?

— Знаешь что, — она обвела взглядом танцующих рядом с нами, — пойди лучше сам взгляни.

В дверях кабинета химии я столкнулся с Флорой, которая явно в испуге сбегала оттуда. В узком проеме она задела меня бюстом, упакованным в бронированный лифчик. Я почувствовал, как от рубашки отлетела пуговица. Она покатилась по зеленому линолеуму. Надо было ее все-таки пришить. *Ладно. Потом.*

А в кабинете, пошатываясь, стоял растерзанный Адам; сзади его поддерживал Сухостой. Остальные учителя вскочили со стульев; похоже, совсем недавно дело тут шло к драке. Учитель музыки рвался в спортзал.

— Плясать хочу, — агрессивно бормотал он, — плясать…

Когда я встал перед ним, мы были, точно близнецы: оба в расстегнутых рубашках, в серых пиджаках, черных джинсах, и оба одинаково небритые. И хоть он был пьян, сходство заметил быстрей, чем я. Это явно удивило его, может, даже отняло часть энергии.

— Что такое? — пробормотал он. — Доставили второй экземпляр?

— Подержите его, — обратился ко мне военрук, — а я посмотрю, нет ли кого в коридоре. — Он выглянул и тут же вернулся. — К счастью, пусто. Уведем сто отсюда.

Пьяненькой трусцой, как будто нам передалось состояние Адама, мы двинулись к выходу. «Безвольный как автомат», — услышал я его шепот. Когда мы спускали его по ступенькам, Сухостой принялся обличать нас:

— Вы, молодые, совершенно не умеете пить. А музыканту надо иметь крепкую голову. А то как же он будет играть на свадьбах?

— Он не играет на свадьбах, — запротестовал я. Адам, к счастью, не слышал нас. Сухостой укоризненно покачал головой, как будто кузен в его глазах после этого уточнения пал ниже некуда. Мы же тем временем прислонили его к стоящему у школы микролитражному «фиату».

— Поищу вам такси. Ей-богу, я отвез бы вас, — военрук не без гордости указал на микролитражку, — но я тоже слегка принял, рюмки две… Я знаю, в школе считают, что я не больно умен, но у меня тоже есть свои принципы. Выпивши, за баранку я ни за что не сяду. За машиной вернусь завтра, пешочком… А где пальтишко-то ваше? Сейчас принесу.

Пронзительный холод слегка отрезвил Адама. Все еще твердя: «Безвольный как автомат», — он поднял голову, тут же умолк, а потом со странной страдальческой интонацией спросил:

— Что я тут делаю?

— Сейчас я отвезу тебя домой, — буркнул я. — Ты перебрал.

Он погрузился в себя. Опять поднял голову.

— Наскандалил?

— Еще нет. Разве что самую малость.

— Угум. — И снова долгая пауза.

«Если военрук сейчас не вернется, я сдохну», — со злостью подумал я. Изо рта у меня бухал пар, и казалось, что пропотевшая рубашка постепенно затвердевает от мороза.

— А адрес знаешь?

— Нет.

— Сейчас тебе скажу, потому что через минуту я опять отключусь. Да от водки я не блюю, так что не бойся. — Обстоятельность и деловитость кузена были поистине невероятны.

Наконец-то появился Сухостой, неся мое пальто и кожанку Адама.

— Чуток задержался, пришлось выяснять, где чье, — объяснил он с извиняющейся улыбкой. Надо признать, вел он себя очень прилично, и

я решил отныне называть его даже мысленно паном Сухецким. — И еще я позвонил из секретариата, вызвал такси. Сейчас приедет. Вы узнали у него, куда вам ехать? Ну, в таком случае я бегу. Страшная холодрыга, — военрук потер руки. На углу появился огонек такси. — Смотрите, как быстро приехало. Все, я пошел. Ежели что, выкиньте его прямо на тротуар. Пусть валяется. Несерьезный он человек.

6

Адам жил на улице Барской в огромном соцреалистическом доме, замыкающем внутри себя квадратный двор; смахивал он на крепость. Кузен страшно долго разглядывал связку ключей, которую вытащил из кармана куртки, а потом вдруг расплылся в улыбке. «Домофон сломан, а я забыл», — объяснил он и толкнул входную дверь. Мне было холодно, я мечтал о горячем чае, но в то же время не был уверен, что Адам сумеет попасть к себе в квартиру. Такой я стал, черт бы меня взял, заботливый. Потому я сел вместе с ним в лифт, изукрашенный сверху донизу нецензурными надписями в разных цветах; завывая, лифт тронулся с места, его всего трясло, и я подумал,

что в довершение всего остается только застрять между этажами. Адам, наверное, заснет, а я? «Я уж точно от злости лопну», — пообещал я себе, но лифт остановился, как и было заказано, на пятом. Движения кузена свидетельствовали о том, что он достаточно стремительно приходит в себя: он не висел на мне, и борьбы с подгибающимися ногами тоже не замечалось; напротив, весьма уверенным шагом он направился к двери, открыл и даже не забыл вежливо пропустить меня первым. Что делать, я вошел и оказался в самой маленькой квартире, какую мне доводилось видеть.

В квадратном коридорчике мы вдвоем явно не поместились бы, и потому, освобождая место Клещевскому, я сделал еще два шага и вступил в комнату. Хорошо, что сделал я их медленно, потому что в темноте мог бы наткнуться на шкаф, — его боковая стенка выступала в дверной проем, чуть ли не наполовину перекрывая его. Адам зажег свет. На шкафу была устроена постель, к которой вела лесенка, закрепленная на створке дверцы. На другой створке висело большое зеркало. Рядом у окна был втиснут небольшой письменный стол, на котором громоздились тарелки с остатками еды. Остальные

две стены были скрыты доходящими до потолка полками с книгами и компакт-дисками. В углу на табуретке — туристический телевизор советского производства семидесятых годов, вероятно, еще черно-белый. Середину же комнаты занимало клубное кресло, обтянутое зеленым бархатом, точно пришелец из иного измерения, из мира широких пространств и обширных помещений. Я подумал, что вынести его отсюда невозможно, — разве что предварительно размонтировать шкаф. Адам обошел меня и сел за стол. Да, у стола еще стул стоял.

— Сделай кофе, а? — измученным голосом попросил Адам. — Ты все, думаю, найдешь. Я сейчас приду в себя. Только крепкий.

Я огляделся. В прихожей одну стену занимали плита и холодильник, верх которого служил кухонным столом. На нем валялись куски черствого хлеба и пустые пластиковые бутылки от «Фанты». Из шкафчика над холодильником я достал «Нескафе», сахар и две кружки. Воды в чайнике не было, в поисках раковины я заглянул в ванную. В ней было место только для унитаза и поддона с душем. Хочешь не хочешь, пришлось наполнять чайник из душа.

— Ловко справляешься, — услышал я голос

Адама. — Мне две ложки с горкой. Система «Протрезветь или умереть». И сахара побольше. Четыре ложки. В холодильнике есть молоко.

Вскоре мы пили кофе (чая для себя я не нашел; «Может, Адам вообще его не пьет», — подумал я). Я сидел в кресле, откинув голову на высокую спинку, и чувствовал, как злость потихоньку проходит. Кузен, сидя боком к столу, пытался прийти в форму. Мы молчали. Уже не в первый раз за последние недели я ощущал некую нереальность всего. Свет фонаря в окне, расчлененный ветвями дерева, бросал страшные китайские тени. Холодно мне было уже только ногам.

— Спасибо, — услышал я. — Что вообще произошло?

— Точно не знаю. Директриса попросила увести тебя.

— Как ты переносишь этих типов?

— Я закончил эту школу. Потому немножко знаю их.

— А-а-а. А я вот мучаюсь.

Опять воцарилось молчание. Адам шумно допил кофе и замер, опершись головой на руку. С минуту мне казалось, что он заснул. Мне не хотелось двигаться. Пальто мое, брошенное на шкаф, выглядело, как лежащий человек. Как некто

третий — уставший или перепивший, который сразу завалился спать.

— Сделаешь мне еще кофе? Ты нашел правильную пропорцию. — Впервые я услышал, как он смеется.

— Знаешь, — сообщил я, направляясь в кухню, — я ведь тоже живу один, но места у меня, правда, побольше. Ты тут не задыхаешься?

— Один живешь? Ты не женился?

— Было дело… Но… сам понимаешь.

— А-а-а. Ну да. И давно? Это я не про женитьбу.

— Нет. Недавно.

Я опять сел. Многообещающе шумел чайник. Я погладил зеленый плюш.

— Красивое кресло.

— Здесь это единственная принадлежащая мне вещь. Из мебели. Я едва втащил его сюда. Пианолу пришлось поставить в школе.

— Пианолу?

— Ну да. Я когда-то приобрел ее. Когда у меня было много денег. Не видел? Наверно, просто не обратил внимания. Стоит в кабинете у стены, где дверь. Возможно, единственный экземпляр в Варшаве. Я чуть ли не со скандалом заставил сделать клетку, чтобы ученики ее не расхайдакали. Ночной сторож бурчал, но сварил. Когда

ликвидировали боксы в гардеробе. Из железных таких решеток. Я ведь уже год тут преподаю.

Я встал, чтобы налить кофе. Еще раз заглянул в шкафчик и в банке с надписью: МУКА обнаружил несколько пакетиков чая. Это меня обрадовало. А Адама, похоже, потянуло на разговор.

— Ты тогда здорово напугал меня. Слишком долго пришлось бы объяснять… Но я боялся, что в этой школе есть кто-то еще… Кто-то, о ком я не знаю…

Я промолчал. Поставил перед ним кружку с кофе и опять уселся в кресло. Адам уставился в пол. С минуту мне казалось, что водка снова ударила ему в голову.

— С этим твоим креслом, — начал я, чтобы что-то сказать, — у меня забавные ассоциации. Был такой человек, Абрамовский, о котором я пишу диссертацию… писал… пишу… короче, был такой человек на переломе веков, социалист, психолог, а в конце жизни он, видно, тронулся и написал поэму. Как поэзия, это ни в какие ворота, но есть там смешная песнь на тему кресла. Кресла, которое живое. Дело в том, что Абрамовский верил в перевоплощение.

Кажется, он меня не слушал. Впрочем, ничего важного и значительного я не говорил. С минуту

я соображал, который сейчас может быть час. Адам, похоже, подумал о том же.

— На танцы не хочешь вернуться?

— Сейчас чай допью и ухожу.

— Нет, посиди, — прозвучало это даже сердечно. — Как ты переносишь?

Я понял, что он имеет в виду.

— Так себе. А ты тоже… после того же?

— Да, но у меня это случилось давно.

Он схватил кружку, долго пил, а потом вдруг вскочил и скрылся в ванной. Я услышал, как его рвет. Он вернулся, вытирая губы. Взгляд у него был вполне осмысленный.

— Извини. Квартирка маленькая, нечего скрыть невозможно, — рассмеялся он. — Получается, ты мне помог не вляпаться в неприятности. Может, послушаем музыку? Ты что любишь?

— Мне все равно. У тебя можно закурить?

По правде сказать, от тех звуков, что доносились из ванной, мне стало немножко нехорошо. А кроме того, стало ясно, что в такси я отнюдь не был в такой безопасности, как пытался меня убедить он. Это называется «После водки я не блюю».

— Кури. Сейчас принесу пепельницу. — Он вернулся с винтовой крышкой от консервной банки.

Протиснулся у меня за спиной и стал копаться в компакт-дисках.

— Странный ты человек, — сказал я. — Поначалу производишь неприятное впечатление.

— Знаю. Для этого времени в самый раз ноктюрны. Не против?

— Жаль, что ты прекратил играть, — вырвалось у меня. — Извини, — тут же добавил я.

— Старая история, — хмыкнул он и включил музыку. Вернулся к столу и тяжело опустился на стул.

— До-минор, сочинение сорок восемь? — услышав первые такты, бросил я. — Это любимая моя шопеновская вещь.

Адам поднял брови. Он смотрел на меня с неподдельной симпатией.

— Вот видишь. А я вот не знаю, кто такой Абрамовский.

Мы замолчали.

Понятия не имею, как долго это продолжалось. Прозвучали другие ноктюрны, но, если честно, назвать я мог только тот, первый; еще в лицее я с упоением слушал его с маленькой черной пластинки, выпущенной после шопеновского конкурса в начале шестидесятых. В исполнении

Поллини.[16] Адам забавно перебирал пальцами, а когда сориентировался, что я это заметил, смущенно улыбнулся и сложил руки на груди. Когда музыка смолкла, он встал и поставил то, что я слышал в его исполнении, — болезненную шарманку Сати.

— Поесть хочешь? — спросил он меня, а когда я отрицательно покачал головой, принес из кухни кусок засохшей булки и принялся хрустеть ею — на фоне болезненной шарманки звучало это ужасно. Я почувствовал усталость, на стодневку возвращаться было незачем; сейчас я толком даже не понимал, чего я вообще ждал от нее.

— Ну, рассказывай, — произнес Адам.

— Что?

— Как давно ты один?

— Чуть меньше месяца.

— Ну-у, это не срок. Вернуть все назад не получится?

— Наверно, нет. Наверно, я сам не хочу. Знаешь, если бы она просто ушла… Но она ушла к другому. Не думаю, чтобы я сумел простить, — рассказывал я и удивлялся тому, что рассказываю. И именно ему. — Впрочем, нет… нет оснований

---

[16] Примечания: 16

Поллини Маурицио (р. 1942) — итальянский пианист, получивший первую премию на конкурсе им. Шопена в Варшаве в 1960 г.

рассматривать такой вариант. Никто с подобными предложениями не обращается, — притворно рассмеялся я и решил сменить тему: — Что-нибудь Поллини у тебя есть?

— Понятно. Он тебе нравится?

— Очень. Помню его замечательное исполнение полонеза…

Он кивнул:

— Да-да. Фа-диез-минор, сочинение сорок четыре, знаменитое исполнение с синкопами. Но теперь он играет иначе. У него были сложности со здоровьем. Психическим здоровьем. Он лечился. И теперь экономит на эмоциях. Стал такой, знаешь… холодный.

Я молчал и снова ощутил злость. «Нужно научиться поменьше болтать», — подумал я.

— Настоящие сложности, — вдруг сказал Адам, — бывают у того, кто всего раз в жизни чего-то страшно желал. Безмерно желал, за любую цену. И получил то, что желал. А потом оно исчезло, и не только не вернется само, но и ничто подобное не повторится. Знаешь, я, наверно, смог бы сейчас влюбиться в женщину, в любую, если бы знал, что ее действительно нет. Но все кончилось. Они свернули паруса.

— Кто свернул? — спросил я. Я чувствовал, что

это попытка уравновесить мои признания, что кузен в ответ на мою откровенность пытается сообщить мне нечто важное. Только вот я ничего не понимал. А он вдруг фыркнул, словно с презрением.

— Ты — Синдбад Домосед. Ты никогда не выплывешь из порта. Ладно, ступай.

Я поднялся. Климат изменился, трезвеющий Клещевский снова становился антипатичным. Правда, трудно было обидеться на «Домоседа», да и вообще трудно обижаться, когда не знаешь, в чем дело. Но было уже действительно поздно. Я надел пальто и стоял в крохотном коридорчике. Адам по-прежнему сидел за столом.

— А это ты знаешь? — спросил он. Иронический тон не предвещал ничего приятного. — «Мир — это ворота, ведущие к безмолвным ледяным пустыням. Кто однажды утратил то, что утратил ты, никогда не будет знать покоя».

Я подумал: «Выспросил меня и теперь меня же подкалывает. Какого черта он мне это говорит? Ведь я же и без него знаю. Свинья ядовитая». Я почувствовал накатывающую ярость, у меня потемнело в глазах.

— А пошел бы ты! — услышал я свой голос и выскочил, хлопнув дверью.

7

Осенью 1917 года Эдварда Абрамовского начали преследовать странные сны. Рифмованные. Темой их была смерть — жить ему оставалось всего несколько месяцев, — смерть, трактуемая как опыт, уводящий куда-то дальше, к следующим воплощениям, более совершенным, приближающим к божеству, которое странным образом отождествлялось с душой полностью развившегося человека. Уже после первого из таких снов, проснувшись среди ночи, он почувствовал, что необходимо записать слагающийся текст; хоть он и не знал, к чему это все направлено, но отдавал себе отчет, что из глубины сна в его сторону устремляется некое важное сообщение, важное, возможно, не только для него и потому достойное распространения. Откровение? Скорее, истолкование — ожидаемое много лет, со дня трагической и бессмысленной смерти первой жены в убогой клетушке в центре Варшавы, когда, увлеченные пропагандой среди рабочих, оба они совершили страшную ошибку, решив, что можно сэкономить на враче и обойтись только акушеркой. После того как Абрамовский записал

начальную песнь (он отдавал себе отчет, что это лишь вступление к собственно сообщению), он уже не мог нормально, спокойно заснуть, так как лихорадочно ждал, что принесет продолжение поэмы. И был очень обеспокоен, что тем самым затрудняет себе контакт с источником. Ночь за ночью он прислушивался, впадал в зыбкую дремоту, иногда ему казалось, что он вновь слышит голос, и он вскакивал и записывал, но не был ли он при этом чрезмерно трезвомыслящим? Чрезмерно пробудившимся? Не вставляет ли он в послание, плывущее из бессознательного, свои дневные ожидания, инкрустации, идущие от здравого смысла, которые нарушают целостность священного текста? В этих тревогах возникала вторая часть произведения, получившего окончательное название «Поэма смерти» и изданного на средства автора весной 1918 года. Итак, интеллект, уже давно изучавший гипотезы перевоплощения, все яснее освещал — наверное, все-таки не заблуждаясь, — дорогу, начало которой положил сон. Таким образом истина, пусть и засоренная, оставалась собой. Она облекалась словами. Рифмы были скверные, но Абрамовский не собирался стать поэтом. Да он и не был поэтом. Он был открывателем истины, неортодоксаль-

ным мистиком, с которым говорила Тайна. Форма не имела значения. Значение имели образы.

Третью песнь Абрамовский назвал:

«КРЕСЛО. ПОДЛИННЫЙ СОН О ЗАКЛЯТОЙ ДУШЕ».

1. Стояло кресло, было оно пусто,
И в скрипах его жалобы звучали,
Исполненные скорби и печали,
Из самых бездн души идущей грусти.

2. Не стало Госпожи,
Что так была уныла,
При жизни чьей ему покойно было,
Блаженно и счастливо,
Доверчиво, и тихо, и сонливо.

3. У кресла вдруг не стало пониманья
Насчет теперешнего состоянья,
Своей позиции на свете,
Но чуяло оно, как что-то злое
Течет к нему густою тьмою,
Как будто предвещанье зла,
Как черная глухая мгла.

4. И кресло старое однажды
Укрылось в траур беспросветный
И погрустнело, полиняло,
Затем что Госпожи не стало,
Столь ласковой и грустной,
Чьи часто видело оно рыданья.
(Ведь кресло слышало глазами,
А видело оно ушами
Своей любимой Госпожи.)

5. Не знало кресло, что же это
Похитило ее из жизни —
То ль когти духа злого,
То ль крылья света.

6. И было ему смутно, пусто,
И иронично, и безвкусно,
Оно стояло и скрипело,
Скрипучий голос рвался из души,
Из тайной некоей глуши
Сей старой мебели.

7. Но нечто там, в глуши той, говорило,

И нечто в мебели той жило,
Жила несчастная душа…
Там жили плачи и желанья,
Печали и воспоминанья,
Надежды, сны!

8. Язык его не понимал никто,
Никто не ведал и про то,
Что кресло мыслило и жило.
Все думали: оно не слышит.
Оно мертво, оно не дышит,
Не плачет, не горюет.
Все думали: оно немое,
Скрипит, поскольку неживое,
Как мебели и надлежит.

9. Но коль из гроба кто-то восставал,
Тот разум в кресле сразу признавал,
Предвечным языком природы говоривший
И тайны многие хранивший:
Сердец страданья в этой жизни жуткой,
Паденья с неба, злые шутки

И над любовью, и над верой в жизнь,
Над сладостью воспоминаний,
Над упоеньем первых упований.

10. И кресло ждало: из-под крышки гробовой
Восстанет некогда такой,
Что все постигнет скорби человека
И даже кресла, ветхого калеки.

11. И если кто-нибудь входил
В унылый Госпожи покой —
Со страхом в сердце, с черною душой, —
Ему шептало кресло:
«Раз, два, три,
Наша Госпожа глядит,
Уходи, уходи,
Слух руками затвори,
Бойся Бога всегда,
Духов злых и злых людей,
Подлости души своей».

8

Воскресное утро было таким же, как обычно. Скверным. Проснулся я с болью в желудке; в щелке между шторами видна была бурая пелена, затянувшая небо; за стеной соседи включили радио на всю мощь и слушали мессу. *«Кто однажды утратил то, что утратил ты»;* я перевернулся на живот и почувствовал легкое возбуждение: давным-давно, в прошлом месяце, я любил в эту пору заниматься любовью. Потому что, черт возьми, мне вправду очень нужна была Беата. Во всяком случае в выходные. Она возбуждала меня. У нее была такая приятная кожа. «Your famous blue raincoat was torn on the shoulder»,[17] — мне вспомнилось, до чего же я когда-то любил эту песню, а теперь по праву мог бы ее петь, теперь это был я, «and what can I tell you, my brother, my killer… sincerely yours» (Войтек)… вот только я даже не знал, как выглядит этот мой *killer,* да и вообще никакой он не был мне *brother.* Тут до меня дошло, что ночью он мне приснился и во сне выглядел, как Адам, и я набил ему морду. Ну

---

[17] Примечания: 17
Из песни Леонарда Коэна «Famous blue raincoat» (1970).

хорошо, раз уж я это сделал — хотя бы во сне, пока во сне, — теперь надо вставать. Сразу же после нахождения убедительного ответа на вопрос: *зачем?* Какое-то время я искал его. «Например, — убеждал я себя, — потому что мне так нравится». Но вот ответ мне как раз и не понравился, и я остался лежать. «Например… например… потому что мне хочется отлить». Да, это был аргумент. Я вылез из-под одеяла и поплелся в сортир. Возбуждение спало. Что теперь делает Беата? «Думает ли она обо мне? — безотчетно заскулил я и даже затрясся от возмущения. — Ишь, любит, не любит, плюнет, поцелует, тебе бы еще ромашку, вот бы погадал в свое удовольствие», — мысленно рявкнул я на себя и так яростно принялся чистить зубы, что все зеркало покрылось белыми точками пасты, а из уголков рта пена текла с такой интенсивностью, словно я заболел бешенством; неожиданно меня это рассмешило, я захохотал. «В школе, дорогуша, ты, однако, симулируешь душевное здоровье», — произнес я голосом Иолы. В школе я вчера ни с кем не попрощался, все из-за этой пьяни-фортепьяни; желудок перестал болеть; «Ну, теперь главное — убить время до завтрашнего утра», — подумал я, и тут зазвонил телефон. Беата? Возвращается?

— Алло!

— Привет, кузен. Не знаю, какая муха тебя вчера укусила, возможно, я что-нибудь не то ляпнул. На всякий случай прошу прощения.

Я молчал, сжимая зубную щетку. Пижамные штаны сползли до колен; каждое утро я говорил себе, что нужно сменить резинку, и каждый день в школе начисто забывал про это. Ну как в таком виде изображать обиду? С гениталиями на свежем воздухе и мерзнущим задом?

— Ничего страшного, — буркнул я. — Это я прошу прощения. Возможно, я тебя не так понял.

— Если ты что-нибудь вообще понял, то это точно значит, что понял плохо, потому как я, несомненно, ничего осмысленного не говорил. Я мог только нести какой-нибудь бред. Хочу тебе кое-что предложить в знак примирения.

«Сейчас предложит пойти к бабам, — подумал я, и у меня тут же, прежде чем я успел как-то отреагировать, встал. — Приди в себя, идиот», — я едва не произнес это вслух.

— Алло! Ты слушаешь?

— Слушаю, слушаю. И что же ты предлагаешь?

— Сейчас я иду в школу, хочу немножко поиграть. Если желаешь, могу тебе показать мой экспонат. Ты видел когда-нибудь, как работает

пианола?

— Нет.

— Ну так сегодня тоже не увидишь, потому что я меняю привод, но хотя бы осмотришь механизм. Насколько я знаю, ближе Познани действующих пианол нет. — В голосе его я услышал нотки гордости. Он внезапно сменил тему: — Кстати сказать, я-то думал, ты такой добрый пай-мальчик, а ты так жахнул дверью, что у меня со стены штукатурка отлетела.

Я улыбнулся.

— Извини.

— Все нормально, по крайней мере ясно, что ты мужик с яйцами. Нашей крови. Ладно, все, а то опять начнем нести какую-нибудь дурь. Значит, если хочешь увидеть чудо техники, приезжай через час в школу. Пока. — И он положил трубку.

Я подтянул штаны, вернулся в ванную и, споласкивая щетку, подумал, что чего-то я не понимаю. Во-первых, откуда у него мой номер телефона? Во-вторых, откуда эта волна пусть грубоватой, но симпатии? В-третьих, с чего бы это ему невтерпеж повидаться со мной в воскресенье? Пианолу он вполне мог бы показать мне завтра: в понедельник у нас у обоих были уроки. Я поймал себя на подозрении, что Адам — гей и клеит меня.

— Сексуальный маньяк, — передернув плечами, обозвал я себя (пустая комната провоцировала на разговоры с собой вслух). — Остался без женщины, так теперь только об этом и думаешь. Сделай-ка лучше себе завтрак.

Во всяком случае теперь мне было, как убить время. Так что я не мог не испытывать благодарности к кузену, какие бы коварные планы он ни замышлял.

Через час я был в школе. Пахло там чуть иначе, чем обычно, свежо, прохладно, и даже сторож не высунулся из своей каморки; впрочем, я повернул в другую сторону и по скрипучей лестнице поднялся на второй этаж. Адам уже был у себя, разогревал пальцы пассажами и даже приветливо улыбнулся мне. Я глянул в угол: там стояла коричневая пианола с резными ножками в форме то ли львиных, то ли грифоньих лап, которые очень здорово сочетались с железной клеткой, отгораживающей инструмент; хоть я и знал, что это защита от учеников, но все равно не мог противиться впечатлению, будто Адам держит в классе дикого зверя. На корпусе над клавишами был выступ, точно в этом месте к инструменту приделали детский гробик. Посередине в нем было окошечко, в котором виднелся кусок перфо-

рированной бумажной ленты, придерживаемой двумя металлическими лапками. У меня почему-то возникла ассоциация с сейсмографом. Вместо обычных узких педалей я увидел наклонную подножку, что-то вроде ножного нагнетателя мехов. Не снимая пальто, я подошел поближе. Сбоку к инструменту был приделан над самым полом еще один ящик, но уже явно другого оттенка, на которым сверху лежал свернутый кругом старый, драный электрошнур.

Адам подошел ко мне.

— Ну и как?

— В клетке она выглядит, как дикий зверь. Она что, сама играет?

— Рухлядь это, а не зверь, — произнес он чуть ли не с нежностью. — Играла бы, если бы я не отдал электромотор в перемотку. Может, в каникулы и доведу ее до ума. Правда, у меня всего одна лента, так что никакого разнообразия не получится. Брось куда-нибудь пальто. Чего ты так вчера взвился?

Я подошел к окну и положил пальто на подоконник. Небо затягивало тучами, и я подумал, что пойдет снег.

— Ну знаешь, мало приятного услышать, что лучше уже не будет. Да, я перенес потерю, но на-

деюсь когда-нибудь обрести спокойствие. — Он смотрел на меня с явным непониманием. — Ты хоть помнишь, что сказал мне в конце? Что тот, кто утратил то, что утратил я…

— Помню, — прервал он меня. — Так ты это принял на свой счет? М-да…

Адам криво улыбнулся, достал из кармана ключ и вставил в замок. Открыл клетку и стал возиться с железной решеткой.

— Помоги мне…

Мы оттащили решетку к стене; пианола была на расстоянии вытянутой руки, и теперь уж, надо думать, она выберется собственными силами.

— Это поздняя модель, времен Первой мировой, потом ее кто переделал на электричество. Но механизм без всяких усовершенствований, а жаль, потому что это было бы как раз интересно.

— Это значит, в ней чего-то не хватает?

— Понимаешь, — Адам пододвинул стул и сел за инструмент, — пианолу придумали в середине девятнадцатого века, в восьмидесятых годах она была запатентована в Америке, но я достоверно знаю, что во Франции изготавливали ее еще раньше. Поначалу это должно было быть устройство, благодаря которому можно играть, даже если не умеешь: надо лишь нажимать на

педаль или двигателем приводить в движение две системы — валик с перфорированной лентой и воздуходувку. В этой так все и будет. С валика раскручивается лента, проходит через датчик, и, если оказывается отверстие, воздух приводит в движение молоточек, который ударяет по струне. Выглядит это забавно, потому что клавиша при этом сама опускается, как будто ее нажимает невидимый палец. Хочешь сменить произведение, меняешь ленту. Но у меня только одна, я купил ее вместе с инструментом. Она была внутри.

И он погладил клавиши. Сейчас он был совсем не такой, как вчера и в первую нашу встречу. И дело было не только в том, что говорил он быстрей и понятней, но и в какой-то энергетической ауре, которая поднималась в нем, заполняла без остатка. Петрушка, надетый на руку, надуваемый воздушный шарик, лягушачья лапка, которую раздражают электричеством, — промелькнули у меня в голове сравнения, а он продолжал вещать:

— Для меня поистине захватывающая история начинается в тот момент, когда эпоха пианолы, как говорят историки, по сути дела, заканчивалась. Потому что уже изобретен граммофон, а тем

временем появились усовершенствования, позволяющие регистрировать на лентах не только порядок ударов по клавишам, но и силу удара. Фразировку. Динамику игры. Индивидуальную специфику. Понимаешь? — Он взглянул на меня, и глаза его по-ребячески блестели. — Это нечто больше, чем обычная запись. Ведь благодаря этим позднейшим пианолам мы знаем, как звучали интерпретации Падеревского, молодого Горовица, Грига, Скотта Джоплина.[18] Эти ленты восстановили и записали на магнитный носитель. Но, понимаешь, магнитная запись дает куда меньше, чем сама пианола. Потому что если бы мы имели такую запись и соответствующим образом сконструированное устройство, то могли бы посадить за инструмент Грига. Представляешь? Посадить за клавиатуру Дебюсси. И смотреть, как они ударяют по клавишам. Наблюдать работу их пальцев, хотя сами пальцы мы уже не увидим. — Адам, осторожно касаясь клавишей, проиграл несколько нот. — Присутствие, которого нет. При-

[18] Примечания: 18

Падеревский Игнацы Ян (1860–1941) — выдающийся польский пианист, композитор. Горовиц Владимир (1904–1989) — американский пианист-виртуоз, один из крупнейших исполнителей XX в., выходец из России. Григ Эдвард (1843–1907) — норвежский композитор, выступал как пианист и дирижер. Джоплин Скотт (1868–1917) — американский композитор и пианист, один из изобретателей и исполнителей регтайма.

сутствие. — Он задумался. — Ладно, это я малость перехватил: иллюзия присутствия. Временами это трудно отличить. В любом случае клавиша опускается под пальцем пианиста, и ты уже не только слышишь, ты почти видишь… Существует все, кроме тела. Звук не отобран у инструмента. Интерпретация не оказалась вне времени, как в случае магнитофона или пластинки. Во многих местах, на разных инструментах, в залах с различной акустикой невозможно услышать все время то же самое, хоть все время это будет играть Дебюсси. Или Григ. Или Бузони.[19] Или Гизекинг.[20] Никаких электронных чар. Чистая механика. И воздух. Пневматика. Дух вместо тела. Ты музыканта не видишь, а он, несмотря ни на что, есть. Мне нравится представлять, как, к примеру, Дебюсси в самом конце выступления чуть-чуть коснулся ладонью клавишей, скажем вот тут, в самом верху. Настолько чуть-чуть, что никакой звук не прозвучал. Впрочем, он тут же убрал руку. Однако это оставило след на ленте

---

[19] Примечания: 19

Бузони Ферруччо (1866–1924) — итальянский пианист, композитор, дирижер, музыковед.

[20] Примечания: 20

Гизекинг Вальтер (1895–1956) — немецкий пианист, один из крупнейших виртуозов XX в.

пианолы. И сейчас это воспроизводится, хоть ты ничего не слышишь. Но клавиша слева слегка опускается. Потому что след остался. Навсегда.

Адам засмеялся. Я был почти уверен, что это защитный, маскировочный смех. Он встал.

— Как видишь, учителю надо уметь говорить. А как ты вообще попал в эту школу? — Он по-прежнему улыбался, но сейчас внимательно присматривался ко мне. Чрезвычайно внимательно. Я бы даже сказал: ненормально внимательно.

Я пожал плечами:

— Да кажется, я тебе уже говорил: это мой лицей, у меня было дело к директрисе, и она сказала мне, что ищет полониста. Наверно, мне хотелось немножко… успокоиться, прийти в норму. Вернуться в то место, которое я любил, потому что я любил эту школу. Понимаешь?

— А какое дело?

— Да сценарий для телевидения я должен был написать. О преподавании латыни. Но я отказался. Нет у меня на это теперь времени.

— Это не они на тебя вышли?

— Пуэлла меня не видела со дня окончания школы. А почему ты спрашиваешь?

Он перешел к пианино, сидящим за которым я и увидел его в тот вечер, и проиграл начало како-

го-то произведения. Кажется, это был Моцарт.

— Да так, проверяю разные предположения… Ты знал, что я здесь работаю?

— Откуда?

— Что тебе сыграть?

— Можешь то, что начинал.

— Великого Амадея? Не верю, что ты его любишь. Тот, кто сам не играет, не чувствует проблем, которые скрыты в нем. Погоди… Ага, сейчас тебе будет кое-что эстрадненькое. Располагайся. Если хочешь чаю, в шкафу есть кружка и кипятильник. Это можешь слушать без благоговения. — И он начал как бы нехотя барабанить «Entertainer» Джоплина. — Ученики говорят, что это музыка из кинофильма «Афера», и я просто разорвать их готов. Но это еще полбеды, потому что один мне объявил, что это Шопен. Наверно, хотел меня подразнить.

— Получил единицу?

Адам зло рассмеялся:

— Да, и причем в конце года. Нет, с годовой оценкой все было нормально. Я и так думал, что меня на педагогическом совете линчуют. Потому что это был какой-то математический гений.

— Суровый ты.

Он еще с минуту молча играл.

— Да ну, — произнес наконец он, — толку-то все равно никакого.

— Могу я тебя спросить одну вещь?

Он внимательно глянул на меня, снял руки с клавиш.

— Давай.

— Откуда у тебя мой телефон?

Адам улыбнулся:

— Я пошел за водой. Сейчас сварганим чайку.

Он взял кружку и вышел. Я слышал, как он идет по пустому коридору. Где-то далеко взвыл кран. Звуки приближающихся шагов. Открылась дверь.

— В тот первый вечер, когда ты меня тут застал, — начал он (а я, признаться, не думал, что он ответит на мой вопрос), — меня заинтересовало, что ты делаешь так поздно в школе. На следующий день я попросил в секретариате твой номер телефона. Кстати сказать, — произнес он, видя, что я открываю рот, — если ты поймал себя на том, что тебе чего-то хочется, а потом внезапно чувствуешь к этому безразличие… и если такое с тобой начинает происходить систематически, то лучше постарайся бороться с этим. С самого начала. Мне-то это уже не поможет, но тебе следует знать: это травма. Результат шока, — пояснил он

с извиняющейся улыбкой. — Ты уж извини, но я вправду пережил куда больше, чем ты.

Он снова сел за пианино. Начал играть какой-то прелюд, а я задумался: как он чувствует себя через десять лет после того момента, когда мог превзойти Бунина[21] и Данг Тхай Шона,[22] а теперь перебирает пальцами по клавиатуре школьного пианино, и хотя для меня, разумеется, его игра звучит классно, но все равно это не виртуозность. А все из-за какой-то женщины, которая его потом бросила. Из-за какой-то *профурсетки,* припомнился мне голос тети Люси. Может, мои собственные мысли, а может, мое неустойчивое настроение привели к тому, что мелодия обрела жалобный, плаксивый тон, превратилась в просьбу о том, чтобы вернуть время назад, даровать чудо еще одного шанса, на которое мы не могли рассчитывать, так как времена Иова безвозвратно ушли и никто и ничто не собирались нарушать порядок времени и возвращать нас в ту точку, когда мы выпали из

[21] Примечания: 21

Бунин Владимир Владимирович (р. 1945) — советский пианист, первая премия и золотая медаль «Орфей» на конкурсе пианистов в Софии (1968).

[22] Примечания: 22

Данг Тхай Шон (р. 1958) — вьетнамский пианист, первая премия на конкурсе пианистов им. Ф. Шопена (Варшава, 1980).

колеи; какой смысл устраивать неразбериху во вселенной ради двух бородатых обормотов, один из которых — а может, и оба — получил то, чего заслуживал. Мне вспомнилась мама, которая раз в год, 1 ноября,[23] сметала с могилы тети Рени и дяди Яна слой желтых листьев и зажигала свечку, бормоча: «Ну хоть бы разок удосужился убрать…» — даже не упоминая имени Адама, которое в нашем семействе с каждой уходящей неделей становилось все более неприличным словом, и потому его тактично не произносили. Исходя из того, что я знаю о нем, подумал я, мне и впрямь не следовало бы слушать его игру и ждать, когда закипит вода в кружке, а потом участвовать в совместном чаепитии в это, как мне кажется, достаточно тягостное для нас обоих воскресенье. Но мне не хотелось обременять своих знакомых; тем паче что большинство тогдашних моих друзей были друзьями Беаты, к тому же тем, с кем я был ближе всего, мне пришлось бы дольше объяснять — на что, когда прошло отчаяние первых дней, мне бы уже не хватило силы, — а те, с кем у меня были не слишком близкие отношения, изрядно бы удивились, вырази я желание провести вме-

[23] Примечания: 23

1 ноября у католиков День всех святых и День поминовения усопших.

сте с ними уик-энд. У всех вокруг были семьи, какие-то свои дела, и только я оказался на тупиковой колее, на мели, и на той же самой мели сидел он, так что в подобной ситуации трудно мне было капризничать только потому, что он-де не ходит на могилку своих родителей, злобится на учеников и слишком много пьет. Кстати сказать, в этот раз он был трезвый. «Это ничего не значит, — подумал я, — времени навалом, еще даже не минул полдень».

Адам встал, выключил кипятильник и критически взглянул на кружку, над которой поднимался пар.

— Знаешь что? Давай не будем тут пить чай. Пошли в какую-нибудь кафешку. Все равно второй чашки у меня нет, да и вообще мне охота пива. Только помоги мне закрыть… эту зверюгу, — он кивнул на клетку с пианолой.

У меня дел никаких не было. И потом, похоже, мне самому хотелось выговориться перед ним. По всему чувствовалось, он много пережил. И может, я втайне рассчитывал, что он начнет мне рассказывать про себя?

— Тебя спокойно впускают сюда? — поинтересовался я, когда он запирал свой класс.

Он кивнул:

— Когда я нанимался на работу, то объявил, что хотел бы поставить в школе антикварный инструмент, но только чтобы никто не препятствовал мне приходить сюда после уроков и в выходные. С какой стати им было запрещать? Со сторожем я однажды выпил, и теперь у меня с ним отличные отношения. Думаю, я мог бы приходить сюда даже без разрешения дирекции. Кстати, тут есть и другой вход, через кочегарку. Знаешь?

Он внезапно встал и впился в меня взглядом, словно проверяя мою реакцию.

— Ну да, там, через двор, — вспомнил я. Перед войной, когда строили нашу школу, по соседству поставили дом для учителей, в котором когда-то жила одна из моих бабушек. Я ее помню как в тумане. Я был ребенком, а ей было чуть ли не сто лет. Fie помню уж, при каких обстоятельствах, но я через тот вход выбирался на улицу, и было это в выпускном, если не ошибаюсь, классе. Что-то я выносил. Уж не водочные ли бутылки после стодневки? Ну да, точно, бутылки. Назначили меня, потому как я был лучшим учеником, и в случае чего ко мне не стали бы слишком цепляться. Впрочем, теперь я уже знал, что учителям было известно, что и где мы пили, потому что пили

мы в том же чулане, куда вчера во время танцев проскальзывали четвероклассники. — Так куда идем? — спросил я.

— Знаешь «Доротку»?

Я кивнул:

— Само собой, знаю. Я ведь говорил, что я отсюда. Четыре года проучился в этой школе. Думаешь, мне могла бы остаться неизвестной какая-нибудь пивная в округе?

И мы двинулись в «Доротку».

9

Снег повалил вовсю, и в кафе мы входили, как два Святых Миколая: белые бороды и брови, застывающие капли на щеках, мое побелевшее пальто, обросшие черно-белой слякотью сапоги (топанье на коврике). Только кожаная куртка Адама сохранила почтенный черный цвет. Гардеробщик неприязненно нас оглядел, хмуро воззрился на бурого цвета лужи, мгновенно разлившиеся вокруг нас, перевел взгляд на щетку, стоявшую за стойкой возле его стула, еще раз оглядел нас; трудно было усомниться, что он ожидает от нас повышенных чаевых. Адам, не дожидаясь номерка, направился стремительным

шагом в зал, буркнув: «Можно на один», — за что на меня был брошен очередной осуждающий взгляд; действительно, неужели кому-то может прийти в голову, что мы достойны двух отдельных номерков; само собой разумеется, таких вешают на один крючок. Когда я повернулся, кузен уже махал мне из-за столика у большого окна; снежные хлопья липли к стеклу, несколько секунд можно было невооруженным глазом любоваться звездчатой формой кристаллов снега, после чего изысканная конструкция набухала водой, словно гигиенической, родниковой блевотиной и в виде капли сползала вниз, оставляя на стекле отекающий рельеф. Я покорно сел спиной к раздевалке. В «Доротке» было почти пусто, только в соседнем зальчике вовсю ржали три бугая в мятых костюмах; «Ну кончай, блин, кончай», — заходился кто-то из них смехом, а мне на какой-то миг вдруг почудилось, будто в вырезе его пиджака (я видел его по диагонали в открытую дверь) выглядывает сложная комбинация подтяжек, какая служит для крепления кобуры пистолета. Адам, развалясь на стуле и опершись рукой о бедро, разглядывал полку за спиной бармена, выбирая оптимальный в этих условиях сорт пива; вдруг, видимо вспомнив обо

мне, он смешно сморщился и бросил:

— Мне «ЕВ». А тебе что?

— А мне, пожалуй, «Лех».

Официантка приняла заказ без всякого энтузиазма, раздался чмокающий звук открываемых пробок.

— А знаете, я бы еще и горячего чая выпил, — обратился я к официантке, вызвав у нее негодование, которое она далее не пыталась скрыть. Но в конце концов и она успокоилась. Адам налил себе пива — осторожно, по стенке стакана, чтобы было поменьше пены.

— А на тебя и вправду школа действует успокаивающе?

— Наверно, — улыбнулся я. — Знаешь, я словно вычеркнул несколько лет. Как будто только вчера сдал на аттестат зрелости.

— С женой ты позже познакомился?

— М-да. — Я вытащил из чашки пакетик с чаем и осторожно положил на блюдечко. Естественно, несколько капель попали на скатерть. Сейчас у меня не было ни малейшей охоты говорить о Беате. — Где ты добыл пианолу?

Адам щелкнул по бокалу.

— После моей девушки у меня осталась куча денег. Я боялся, что все пропью… Поскольку уже

стало ясно, что от нее ни следа не сохранилось. Прямо как камень в воду… Милиция прекратила поиски…

— Так ты и в милицию обращался?

— Ну да. Она же исчезла… по-настоящему исчезла, не ушла от меня, а исчезла, с концами. — Он с улыбкой посматривал на меня, словно забавляясь моей реакцией. — Шесть лет, как она пропала. А пианолу я нашел в антикварном магазине, она играла, и мне захотелось ее купить. Я мог бы с пользой потратить эти деньги, но…

Адам махнул рукой и глотнул пива.

— Будь у меня больше денег, я собрал бы коллекцию играющих автоматов. Просто мечтаю об этом, да и теоретическая подготовка у меня подходящая. Я был бы замечательным коллекционером. — Как всегда, я был не вполне уверен, на полном ли он говорит серьезе. Похоже было, что нет. На всякий случай я закурил: человек с сигаретой выглядит значительней, и по его виду трудно определить, удалось его надуть или нет. А тем более что, затягиваясь, я инстинктивно прижмуривал глаза, и это давало мне гарантию, что в случае чего я не стану их удивленно таращить. — Купить бы, например, органистку, сделанную в конце восемнадцатого века отцом и

сыном Дрозами.[24] Называлась она «Играющая Дама», и перед Великой французской революцией произвела сенсацию. Ее конструкция, по сути дела, уже предвещала изобретение пианолы: мелодия была записана с помощью кулачков, то есть колесиков с желобками, которые, медленно поворачиваясь, приводили в движение соответствующие рычажки и тяги, идущие к пальцам.

Он выпрямился и прижал локти к туловищу, растопырив при этом пальцы.

— Выглядело это, конечно, не слишком естественно, потому что механическая женщина все время держала руки вот так, локти у нее были неподвижны. Через них проходили провода из корпуса; если бы их пропустили поверху, через плечи, то это потребовало бы дополнительных блоков, передач, и механики просто с этим не справились бы. Но чтобы как-то уравновесить этот недостаток (понимаешь, любой пианист мгновенно понимал, что перед ним всего лишь манекен), в табурете, на котором сидела Играющая Дама, разместили массу механизмов для создания видимости жизни. Так, например, имел-

[24] Примечания: 24

Дрозы Пьер-Жак (1721–1790) и Анри-Луи-Жак (1752–1791) — швейцарские механики, создатели автоматов, в том числе музыкальных, пользовавшихся огромным успехом в Европе.

ся механизм, имитирующий движения грудной клетки. А вдоль позвоночника были протянуты длинные струны, с помощью которых глаза органистки поворачивались во все стороны. И еще своего рода гироскоп, благодаря которому, — Клещевский качнулся на стуле, — она во время игры раскачивалась, как это обычно делают все музыканты. Позвоночник же у нее был как бы колонной, вокруг которой поворачивалась голова. Представляешь себе, автомат играет и создает иллюзию жизни. В перерыве между произведениями осматривается, вздыхает, опускает глаза. Те самые пальцы Дебюсси, — рассмеялся он, — понимаешь? Их было видно.

Чай быстро остывал. Я залпом выпил его.

— Ну, это уже полный улет, — заметил я. — Ты что, вправду хотел бы иметь что-нибудь подобное в доме? Не то живое, не то неживое. Знаешь, волосы на голове раком встают от такого.

Адам так громко расхохотался, что даже троица в соседнем зале умолкла, а официантка бросила на нас негодующий взгляд. Адам воспользовался ее вниманием.

— Еще два пива, — заказал он, хоть я по-настоящему еще и к первому не приступил. — В таком случае я тебе еще кое-что расскажу. В восемна-

дцатом веке подобные механизмы были страшно модны, и даже Глюк сочинял для них специальные произведения, вернее, для одной такой куклы, которая называлась Прекрасная Цимбалистка и какое-то время развлекала английскую королеву. Но зашло это слишком далеко, выходило за технологические возможности того времени; тщеславие, воображение подсказывали механикам замыслы, которые они не могли, не имели права реализовать, и тем не менее, если верить воспоминаниям и письмам, кое-что им все-таки удавалось. Взять, к примеру, француза Вокансона.[25] Он желал подражать человеческой анатомии, вернее сказать, создать иллюзию человеческой физиологии, якобы его автомат ест и переваривает пищу… Он даже вошел в контакт с каким-то химиком, но потом испугался: никто не позволит продемонстрировать публике автомат, который испражняется, ведь это же так вульгарно. Поэтому взамен он сконструировал утку из металла, которая клевала зернышки, а потом из гузки выбрасывала шарики помета, результат… — Адам повел рукой, словно ему не хватало слов, — …химических реакций, происходивших

[25] Примечания: 25

Вокансон Жак де (1709–1782) — знаменитый французский механик, создатель прославленных автоматов «Флейтист» и «Утка».

внутри у нее. А от первоначального замысла осталось всего лишь то, что он сделал музыканта (как видишь, все у них крутилось вокруг музыкантов), который, играя на флейте, причмокивал языком. Представляешь, мальчонка ростом полтора метра, — Адам рукой показал над столиком высоту механического флейтиста, — чмокает языком. Неплохо, а?

Официантка поставила новые бутылки; мне показалось, что она собирается что-то нам сказать, однако она ушла, не промолвив ни слова. Адам рассказывал довольно громко и, возможно, заинтересовал ее. Я почувствовал на себе взгляд бугая с пистолетом. «Точнее, с подтяжками», — мысленно поправился я; пистолет был предположителен, как предположительно было и сумасшествие Адама, поскольку в энтузиазме, с каким он рассказывал, было что-то неестественное, диковатое. «Ну и пусть», — подумал я, ощутив в себе согласие со всем, что еще услышу и что еще произойдет. Мы чокнулись стаканами.

— Флейтистка, органистка, — бросил я, чтобы подзадорить его, — прямо целый оркестр.

— Нет, не только. Еще целая компания мальчиков-каллиграфов. Сидит такой мальчик, управляемый шатунно-кулачковым механизмом, за

пюпитром, набирает на гусиное перо чернил из чернильницы, излишек стряхивает и пишет; и представляешь, один немец додумался до того, чтобы у автоматического писца двигалась при письме не вся рука, а только запястье. — Адам пошевелил кистью. — Ну, как у нормального человека, когда он пишет. На выставке в Париже швейцарский автомат, например, выписывал: «Je ne pense pas, ne serais-je donc pas?»[26] Неплохой вопросик, а? Ты французский знаешь?

Я кивнул.

— Мыслю, следовательно, существую. Не мыслю, значит, не существую?

— Эти автоматы, если их отремонтировать, многое смогут о себе рассказать. Ведь у каждого было по нескольку программ, записанных на кривошипах, как бы по нескольку пластинок. Полвека назад в Америке нашли одного такого мальчика и решили, что это работа кого-то из Дрозов. Отремонтировали его, и он вдруг выводит: «Меня сделал Майаред». Этот автомат занимался в основном тем, что писал стихи.

Я чуть пивом не подавился.

— Быть не может!

---

[26] Примечания: 26

«Я не мыслю, значит ли это, что я не существую?» *(фр.)* Аллюзия на изречение Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую».

— Я же не говорю, что он был их автором… Ты не улавливаешь технической трудности. Он писал отдельные строки. Перемещал руку. Например, — Адам на секунду прикрыл глаза, — такое: «Unerring is my hand, though small, / May I not add with truth? / I do my best to please you all, / Encourage then my youth».

— Сдаюсь. Не понял. — Мне показалось, что я должен оправдаться. — Знаешь, мой английский — это в каком-то смысле самозащита. У меня ощущение, что до меня доходит слишком много информации: телевидение, радио, реклама. Все чего-то от меня хотят. Ну так пусть я хотя бы песенки не буду понимать.

— Отлично все складывается. Еще пива? Я как раз перевел этот стишок, и похоже, не так уж плохо. «Я точную имею руку, / Смогу стишок вам сочинить…» Черт, дальше забыл…

Он сгорбился над столом, впился взглядом в подставку с салфетками; ощущение было, будто провал в памяти поверг его в безбрежное отчаяние. Еще минуту назад он был неестественно оживленный, а сейчас его словно отключили от сети. Я взял сигареты. Он так резко выпрямился, что пачка вырвалась у меня из руки и упала между стульями.

— Вспомнил! «Я точную имею руку, / Смогу стишок вам сочинить, / Мгновенно разгоню вам скуку, / Извольте только попросить».

Мы оба одновременно засмеялись, хоть я, смеясь, чувствовал, что мне его жаль. Я вдруг представил его себе: оторванный от сцены, от прославленных оркестров, от звукозаписывающих фирм, убивающий свое время на молодежь, которая хоть и слушает чуть ли не без перерыва музыку, но, оглушенная однообразным грохотом, в сущности, глуха к ней и одну вещь от другой отличает по тексту, он, похоже, находит успокоение в придумывании разных историй, в игре воображения, переводе стишков; черт его знает, чем он еще занимается, — вышивает крестиком? Расставляет книжки по цвету корешков? Смотрит необычные сны? Несостоявшийся артист. Чуть больше, чем учитель пения. Меньше, чем виртуоз, выступающий в знаменитейших филармониях мира. Что-то посередке. «И кто кому, в конце концов, помогает пережить это воскресенье, — думал я, продолжая смеяться (смеяться вместе с ним и для него), — он мне или я ему?»

— Ну а эти куклы сохранились или нет? — поинтересовался я. — Точно было известно, что это не мистификации, что никто внутри них не

сидел?

— Некоторые сохранились. Возможно, даже больше десятка. Притом самые маленькие. Миниатюры. По большей части с демонтированными механизмами, так как последующие владельцы были чрезвычайно ревнивы и предпочитали испортить механизм, лишь бы кто-то другой не получал от него удовольствия или не скопировал устройство. Потому-то моя мечта о коллекции, — Адам изобразил какую-то кривую гримасу; улыбкой в любом случае это нельзя было назвать, — типичная неисполнимая мечта. Нужно быть миллиардером, чтобы, к примеру, выкупить какой-нибудь экспонат из Парижского музея искусств и ремесел. Кстати сказать, мистификации случались, как, например, знаменитый шахматист Клемпелена. Да, бывало, кто-то в них сидел… — Он нахмурил брови и замолчал.

Троица бугаев продефилировала мимо нашего столика. Тот, с подтяжками для кобуры, вдруг остановился и наклонился ко мне.

— Охеренно громкий у тебя кореш, — прохрипел он. — Вся пивнуха будто для вас одних. Невозможно выдержать.

— Извини, — пробормотал я. Пиджак у него был застегнут на обе пуговицы.

— Чего теперь, мудак, извиняешься? — повысил он голос.

— Да не троясь ты их, — вмешался один из его дружков. — Не будешь же ты с пидорами заводиться?

— И то верно, — издевательски бросил бугай, отпустил мое плечо и двинулся вслед за остальными к раздевалке. Я глянул на Адама. Он неподвижно сидел, словно бы погруженный в задумчивость, однако задумчивая мина стремительно высвобождалась от мысли, и он лишь стрелял глазами то на меня, то в спину удаляющемуся бугаю. Вероятно, точно так же вела себя органистка, у которой в спинном хребте шли струны к глазным яблокам и векам.

— Ну как? — спросил я, когда за спиной у меня хлопнула дверь. — Понравилось тебе быть пидором?

Он с облегчением вздохнул:

— Знаешь, пожалуй, я предпочел бы быть пидором, чем трупом. Выглядело это все не слишком обещающе. Мы с тобой должны выпить за то, что не получили по морде. Как минимум. Две водки, пожалуйста! — крикнул он официантке.

Она взглянула на нас благожелательнее.

— Это я вам ставлю, — объявила она. — А то я

уже подумала, что понадобится хирург. Или, — хихикнула, — гробовщик.

Мы чокнулись и выпили.

10

Пиво во мне рвалось наружу, и я отправился в уборную; снегопад за окнами стал еще гуще, и оттого «Доротка», когда я пробирался между столиками, стала казаться мне уютной и почти домашней. На улице белая тьма, а мы тут в тепле, и настроение с каждым выпитым пивом повышается, особенно после того, как мы подкрепились полета граммами водки в честь того, что по-прежнему живы. Все-таки живы. «Все-таки живой», — триумфально буркнул я над писсуаром и, наверное, в первый раз после ухода Беаты ощутил переполняющее меня удовлетворение: да, я живой, и еще многое может произойти. Я, не глядя, сунул гардеробщику купюру и не стал дожидаться сдачи — пусть тоже порадуется тому, что я живой; однако, продвигаясь к столику, подумал мимоходом, а не слишком ли много я ему дал, потому как он мне такой отвесил поклон, но сейчас уже неловко да и поздно было проверять, двести там было злотых или больше. Пока

я отсутствовал, в кафе укрылись от снегопада несколько человек: симпатичного вида пара — девушка смотрела на парня таким взглядом, что в других обстоятельствах, я почувствовал бы укол зависти, но сейчас меня согрело его счастье, а у самых дверей уселись три типа, точная копия той троицы («Надо будет попросить Адама говорить потише», — мелькнуло у меня в голове). Я представил себе, что у бандюганов существует график, они всегда сидят здесь по трое, каждая тройка по часу. После чего смена. А рядом с нашим столиком уселся толстяк, перед которым уже вырос бокал виньяка; он единственный не поддавался общему — а может, только моему — настроению и смотрел в пространство с унынием во взоре, а на его мокрой лысине уныло сох грязно-бурый клок волос, зачесанный от уха; *не стану таким, никогда не стану таким.* Клещевский демонстративно, с каким-то даже напряжением рассматривал его, бармен поставил кассету со старыми шлягерами Сантаны; «Ну вот мы и умираем от наслаждения», — шепнул я про себя. Когда я сел за стол, встал Адам.

— Теперь я, кузен. И закажи что-нибудь, твоя очередь.

Ну что ж, место в мочевом пузыре освободи-

лось, так что:

— Еще, пожалуйста, два пива!

Официантка совершенно явственно улыбнулась; какая приятная перемена, у меня даже возникла мысль, что, вполне возможно, она наконец заметила, какие мы с Клещевским красавцы. Потому что он, что ни говори, красив и притом похож на меня. Славный силлогизм. Но, вернее всего, она мысленно прикинула счет, который вручит нам. Адам вернулся из туалета. Нет, я бы не сказал, что он был в отличном настроении.

— Не люблю, когда кто-то сидит так близко, — объявил он, не обращая внимания на то, что тип с виньяком может его услышать. — Столько свободных столиков…

— Выпей еще, и у тебя пройдет. Может, ему хочется погреться рядом с нами.

— А мы, значит, с тобой печки, да? Кстати знаешь, раньше ведь роботы были на пружинах, наподобие часовых, а вот в девятнадцатом веке сделали одного на угле и даже воткнули ему в рот трубку, чтобы как-то оправдать клубы дыма, что бухали из него, но он оказался слишком тяжелый… весил несколько сот кило…

В этом возврате к теме автоматов было что-то от тупого пьяного упрямства, но что мне меша-

ет быть вежливым с Адамом? Уж это я точно умею…

— А что, разве с ними не покончили в девятнадцатом веке?

— Да вроде нет. Хотя они уже перестали быть такими безумно модными, но маньяков хватает в каждом столетии, поэтому существующие экземпляры воровали друг у друга, делали копии, ломали и портили у соперников, ремонтировали. Специалистами по ремонту были немцы, они и головы делали, когда старые стали выходить из строя. В девятнадцатом же веке в большое турне по Европе отправилась очередная механическая пианистка, она побывала в Женеве, Берлине, Вене; давала нормальные концерты, и на эстраде при свете ламп, издалека, иллюзия, наверное, была стопроцентной… О ней услышал царь, ее привезли в Санкт-Петербург, и там кто-то ее похитил. До сих пор неизвестно, что с ней случилось, — сейчас Клещевский говорил тише, может, опасаясь очередного конфликта, а может, ему мешал наш сосед. — Она все равно что «Летучий голландец» среди автоматов, все время кто-нибудь верит, что вот-вот найдет ее… Правда, это зависит от того, кто ее похитил и зачем. Называлась она Белокурая Роксана, — Адам

внезапно сгорбился, и лицо его исказила какая-то судорога.

— Что с тобой? — встревожился я.

Он молчал, не отрывая глаз от стакана. Я с тревогой обнаружил, что у него остекленели глаза. Но он вдруг встряхнулся и протянул руку.

— Дай сигарету.

— А я думал, ты не куришь.

— Да, не курю. Но сигарету все равно дай.

Из репродуктора тихо лилась «Black Magic Woman», и я даже легонько притопывал под стулом ногой, но сейчас мне это почему-то показалось неуместным, и я замер; Адам, пыхавший сигаретой, как трубкой, и потому окруженный густыми клубами табачного дыма, почесал бороду и усмехнулся:

— Какой-то мудрец сказал, что реальность — это система ран. Так что уж прости. Человек что-нибудь говорит и натыкается на прошлое. Всюду, куда ни ткнись, прошлое. А рассказывал я про эти автоматы вместо того… чтобы… Ведь нам с тобой, кузен, обоим нечего вспоминать?

Я закурил.

— Временами лучше говорить, верно?

Он испытующе смотрел на меня. Хорошо, что в руке у меня была сигарета, а не то я мог бы

почувствовать себя, как на экзамене. Или еще хуже: как на конкурсе красоты. Смотрел с этакой раздуминкой. Я что, должен изобразить, что мне интересна его история? Или, напротив, что мне все равно, продолжит он ее или нет? Как ни глупо, но и то, и то соответствовало истине.

— Знаешь «Песню Роксаны»?

Я отрицательно помотал головой.

— Может быть. Хотя не уверен. Нет, пожалуй, не знаю. Чье это?

— Из «Короля Рогера».

— Шимановского?[27]

Адам небрежно буркнул «да», хотя мог бы сказать что-нибудь приятное насчет моих знаний музыки, но, видно, знание автора «Короля Рогера» почиталось им само собой разумеющимся. А может, он думал о чем-то другом. Он уставился на столик, словно ему на нем показывали кино.

— Коханьский[28] когда-то переложил «Песню Роксаны» для скрипки и фортепьяно. И я как-то разучивал ее с одной моей знакомой. Кажется,

---

[27] Примечания: 27

Шимановский Кароль (1882–1937) — польский композитор, пианист; опера «Король Рогер» была поставлена в 1926 г. в Варшаве.

[28] Примечания: 28

Коханьский Павел (1887–1934) — польский скрипач и педагог, в 1914–1920 гг. концертировал и преподавал в России.

ее звали Барбарой. Давно это было. Я еще школу не закончил.

Это «кажется» прозвучало не слишком искренне. Столбик пепла отломился от сигареты и упал на скатерть. Адам вздрогнул.

— Было это году в семьдесят восьмом. Может, в семьдесят седьмом. Мы с родителями поехали на море. И с ней. Она уже училась в консерватории. — Адам говорил неспешно, разделяя фразы паузами, иногда затягивающимися до бесконечности. — Я был совершенный сопляк, но играл уже хорошо. Она готовила партию скрипки в «Песне Роксаны», и я был рад, что могу ей немножко помочь. Так продолжалось несколько дней. В пансионате было пианино. А потом к ней приехал гость. Такой, знаешь, гость… Он мне сразу не понравился. Длинные волосы. Широкие плечи. Викинг. — Адам неожиданно рассмеялся. — Сам понимаешь, семнадцатилетний мальчишка, двадцатилетняя скрипачка с длинными волосами, хорошенькая, стройная, и вдруг появляется этот викинг… Я его ненавидел, а он воспринимал меня как приложение к фортепьяно. В сущности, так оно тогда и было.

Он погасил окурок.

— Наверное, я не вполне нормальный, раз

рассказываю тебе эту историю. А может, узы крови?... — Адам критически оглядел меня. — Да нет, наверно, ты — первый человек, который впервые за много лет не кажется мне опасным.

— Не знаю, считать ли это комплиментом или надо обидеться.

— Ни то ни другое. Нет, правда, я и в мыслях не держал тебя обидеть. Просто когда тебе ничего не хочется... Когда живешь по инерции, а не ради чего-то, начинаешь видеть мир равномерно. Таким, какой он есть, без искушений, без соблазнов, без всего того, что мае ошеломляет, лишает способности объективной оценки. Ничего тебя не привлекает, нет в тебе никаких желаний, никаких вожделений, никакой ненависти. Чистая вещественность. Если это затягивается на долгий срок, то становится в каком-то смысле невыносимым. И тогда видишь, что все достаточно жутковато, а люди еще вдобавок уродуются, потому что им кажется, будто это для чего-то пригодится. Будто есть, за что сражаться. А ты производишь впечатление человека, который получил такого пинка под жопу, что больше не желает ни в чем участвовать. Разумеется, через какое-то время это пройдет. К сожалению.

Я чувствовал, что он не прав, но в то же время

не мог придумать никакого другого аргумента, кроме удовлетворения, оттого что мы сидим в теплой «До-ротке», а за окнами валит снег и жуткая холодрыга. Но что это за аргумент? К тому же мы были после пива с водкой. То есть слегка под мухой. Поэтому я вернул его к тому рассказу.

— Ну и что было с той скрипачкой?

— Ничего. Жирная точка. Понимаешь, такая игра вдвоем сближает, а в этом произведении было что-то… сексуальное. Скрипки играют на верхнем пределе своего диапазона, в этом есть такое оргиастическое, оргазмическое рыдание, такой любовный стон, что я едва сдерживался: семнадцать лет, а она и впрямь была очень хороша. И вот как-то вечером, — Адам усмехнулся, — я зашел к ней в комнату, мы там все жили по-соседски. Что-то я там замысливал. Но она все не возвращалась. Было уже поздно. Ну, я отправился поискать ее. К морю. И нашел. Точнее сказать, я уже возвращался по тропинке через сосновый лес, что рос за дюнами, и заметил что-то белое между деревьями. Она стояла лицом к дереву, ухватившись за ствол, обнимала его длинными ладонями скрипачки, а ее гость со спущенными до колен штанами стоял позади нее; их ягодицы, а может, бедра, потому что я подходил к ним сбоку,

светились; до этого я никогда не видел, как люди делают это, впрочем, и тогда я больше вообразил, чем увидел в темноте; например, я и до сих пор в подробностях вижу ее полуоткрытые губы и как ее пальцы вжимаются в сосновую кору, но ведь не может быть, чтобы я заметил все это при таком освещении. Но дело даже не в этом. Понимаешь, ее нежное, хрупкое, ее тоненькое тело, которым я мысленно любовался и восхищался, теперь, обнаженное, стало объектом грубого вторжения этого ее гостя… Могучего. Лишенного… нежности, так мне тогда казалось. И потом еще такой вот комплекс чувств: чудовищная печаль, чудовищная ревность, чудовищное отвращение и в то же время жуткое возбуждение, я даже обманывать-то себя не мог. Тогда я себе сказал: никогда больше никакого Шимановского. — Адам принужденно рассмеялся. — Вот так вот. Ранним утром гость уехал, и это, наверное, было у них прощанием. А репетиции наши прекратились. Не помню уж, под каким предлогом.

Я со злостью почувствовал, что во рту у меня пересохло. Нет, я вовсе не собирался представлять себе эту сцену. Поскольку знал, что увижу совсем другое лицо. И потом… не может же быть, чтобы Адам до сих пор переживал это. Но я по-

давил сомнения: эпизод был поведан весьма впечатляюще.

— А почему ты все время говоришь «гость»? Наверно, у него было какое-то имя? — спросил я, чтобы хоть что-то сказать.

— Не знаю. Я всегда так говорю. А ты всегда говоришь «тип», — пожал он плечами. — Все мы здесь гости. Посетили этот мир, и один черт ведает, кто откуда пришел.

— Это и была женщина, которая потом исчезла?

Он расхохотался.

— Нет, это произошло на много лет раньше. Ты уж извини, просто меня повело на воспоминания из-за этой Роксаны. Ну и к тому же выпил. Понимаешь, я уже столько лет пью в одиночестве. Чтобы не досаждать ближним такими вот историями. А что, была другая тема? Ты ведь помалкиваешь, ничего не рассказываешь.

Я пожал плечами, вытащил из пачки очередную сигарету и долго прикуривал ее. Чувствовал я себя как шахматист: ход делать я не хотел, так как понимал, что сейчас легко совершить ошибку, но и молчание тоже было не выход. Я загадочно улыбнулся.

— У меня нет таких красочных воспоминаний.

— Ох, ты еще ничего не знаешь, — сказал Адам и поднес ко рту стакан, хотя он был пуст. — Думаешь, уже стоишь на ногах? Нет. Если бы стоял, то не сидел бы здесь.

— Кто знает… Я не понимаю тебя, но сидится тут клёво. Когда-то я прочел такую фразу: «Если бы я знал, что все это значит, я испытывал бы гораздо большее удовольствие».

— Как-нибудь я тебе объясню.

Я изумленно взглянул на него:

— Все мне объяснишь?

— Нет, — рассмеялся он, — я думал, ты говоришь обо мне. А вообще, извини, нет. Все объяснить не смогу. А может, и объяснять нечего? Может, это была не та женщина, которая нужна?

Я кивнул.

— Иногда мне такое приходит в голову. Знаешь, — я рискнул пойти на откровенность, — произошедшее причиняет боль, но, с другой стороны, иногда что-то во мне шепчет: «Какое комфортное несчастье!» Ведь как-никак брак требовал от меня некоторых усилий и разрушился не по моей вине. Какое облегчение, а? Свободный и безвинный.

Он слушал меня. Действительно, слушал. И может, именно поэтому я вдруг ощутил стыд.

— Нет, не желаю об этом говорить. Еще не

сейчас.

— О'кей. Ну что, пошли отсюда?

— Сперва надо расплатиться.

— Да, правда. — Адам позвал официантку. Заплатили мы пополам. — Подобный опыт, — ни с того ни с сего произнес он, — смахивает на инъекцию в сосуды какой-то пластиковой субстанции: чуть-чуть побаливает, но тело от этого делается тверже. Так что не дай себя раздавить, кузен. Не дай себя раздавить. В дверях «Доротки» он снова остановился.

— Да, вот еще что, — произнес он. — Ты когда закончил эту школу?

Я задумался.

— В восемьдесят шестом.

— Между прочим, подумай, кто бы это мог быть: он уже тогда тут преподавал, живет где-то неподалеку, умеет хранить тайну, и ему можно поручить следить за чем-нибудь или кем-нибудь. Политические симпатии… скорее, коммуноид, но такой, не бросающийся в глаза. И вообще он не бросается в глаза. Кто-нибудь из учителей, по-твоему, подходит под такой портретец?

Я попытался сосредоточиться. Земля слегка раскачивалась, я ощущал голод, а между тем, когда я встал, во мне с удвоенной силой зазвучал

старый вопрос: понимает ли он, что говорит? А если да, потому что по всему так оно и выходило, почему время от времени не пытается проконтролировать, что я о нем думаю? Эта дурацкая история со скрипачкой, а перед этим лекция об автоматах — как это понимать: он нашел себе безотказного слушателя или же, как, между прочим, признался сам в определенный момент, говорил что-то *вместо?* А если так, то вместо чего? Я пожал плечами.

— Когда я учился, в партии были, насколько мне известно, военрук, физрук, директор… но он уже не преподавал. И кажется, Флоркевич, биологичка.

— Ему вовсе не обязательно быть членом партии.

— А что тебя вообще интересует?

Он недовольно поморщился.

— Так ты можешь назвать или нет?

— Мне нужно знать чуть побольше. А так никто мне в голову не приходит.

Адам извиняюще улыбнулся.

— В сущности, все это неважно. Пока. — И неожиданно он произнес нечто, отчего *я,* прямо скажем, остолбенел: — Спасибо, что потратил на меня столько времени.

И он двинулся в свою сторону, прежде чем я успел хоть что-то вякнуть.

11

«Итак, после нашей встречи я поразительно много знаю об Адаме, — думал я. — Итак, после нашей встречи я все так же ничего о нем не знаю. Итак, после нашей встречи я, по крайней мере, знаю, что у него есть некая тайна. Или же он изображает ее. Сраный лицедей. Алкоголь плюс нереализовавшиеся артистические склонности равняются разгулу фантазии». Та скрипачка под деревом так и стояла у меня перед глазами. И к тому же вопросы об учителях и — неожиданно вспомнилось мне — туманное упоминание про то, что Адам боится, что кто-то, кроме него, бывает вечерами в школе. Что он там сторожит? Кого? «Но хотя бы ко мне он относится как к другу, которому можно довериться, — подумал я. — Да при чем здесь доверие? Он попросту проверяет. Экспериментирует. Только зачем? Со скуки. Мстит родственникам». Я предположил, что в глазах Адама несу ответственность за тетю Люсю, и мне захотелось смеяться.

Утром мне пришла в голову еще одна горькая

гипотеза. Я пришел в школу и с места в карьер наткнулся на Пуэллу, которая, проходя мимо меня, мимоходом бросила:

— Ну и как там с паном Клещевским? Все в порядке?

Выходит, наша воскресная встреча вполне могла быть разработкой этакого алиби для себя. Потому что я ответил: «В полном порядке», — да еще с самой лучезарной улыбкой, на какую только был способен, а вот если бы он не позвонил, если бы оставил меня в моем субботнем раздражении, то я вполне мог бы оказаться не на его стороне. Мог бы наплести про него все, что угодно. «Так что пианолой и рассказом об автоматах он сделал меня своим союзником», — не без удивления думал я, глядя на удаляющуюся спину Пуэллы. Значит, вот почему он захотел увидеться со мной уже вчера. Чтобы предупредить ее вопрос. Однако, поднимаясь по лестнице в учительскую, я снова впал в сомнения: а нужно ему это? Так ли уж важна для него эта работа? Ведь он не любит учить. И сидит он здесь совсем по другой причине. Из-за какой-то тайны. Или по инерции. «Когда тебе ничего не хочется, — припомнилось мне, — начинаешь видеть мир равномерно, без искушений, без соблазнов, и нет

в тебе никаких желаний, никаких вожделений, никакой ненависти».

Когда я забирал классный журнал, меня задержала Флора. Она встала так близко, что я почувствовал ее духи, какой-то цветочный аромат, как будто она и вправду была молоденькой девушкой, а не уже несколько отцветшей дамой; с запахом духов сочетались ее улыбка и жест, каким она погладила меня по щеке.

— Очень хорошо, что ты занялся в субботу паном. Клещевским, но всем нам было ужасно жаль, что потом ты не вернулся.

Воображение вдруг подсунуло мне картинку: Флора вытаскивает из бронированного бюстгальтера огромных размеров грудь и кокетливо подсовывает мне, чтобы я ее поцеловал; видимо, на лице у меня появилось идиотическое выражение, потому как она вдруг отступила на более приличное расстояние и уже официальным голосом добавила:

— У меня к тебе огромная просьба. На прошлой неделе я забыла тебе сказать, что на тринадцать часов у меня в Музее техники заказана демонстрация Стеклянной Девушки четвертому классу, так не мог бы ты их освободить от занятий? Потом я тебе как-нибудь компенсирую.

Я машинально, с дурацкой готовностью кивнул головой. «Опомнись, — подумал я, но она так смотрела мне в глаза, что мне становилось все жарче и жарче, — она могла бы быть твоей матерью», — мысленно приструнил я себя. «Почти», — кто-то внес во мне поправку, а еще какой-то голос внутри меня, здорово смахивающий на дьявольский, шепнул: «Дорогуша, пан Драбчик отправлен в отставку. Yes, my sweet prince».[29] Похоже, я покраснел, машинально взял журнал второго «а», в котором у меня не было уроков, поставил на место и, чтобы скрыть замешательство, поинтересовался:

— А что такое Стеклянная Девушка?

Флора обольстительно улыбнулась и каким-то низким, словно бы нутряным, утробным голосом ответила:

— Модель обнаженной женщины, на которой показано, что у нее внутри.

К счастью, нас разделил историк, торопившийся на контрольную к первоклассникам.

— Вам что, обязательно нужно загородить проход? — буркнул он.

Флора, видимо, раздражала его, и меня тоже,

---

[29] Примечания: 29

«Да, мой милый принц» *(англ.).*

вспомнил я, меня тоже. Идя на урок, я уже был способен посмеяться над этим происшествием. Более всего смущало меня то, что кто-то мог это заметить. Близкий контакт третьей степени: одинокий молодой человек *vis-a-vis* огромного бюста. Ладно, проехали. А теперь «Бездомные».[30] Как это там? «Юдым почувствовал, как в него вонзаются холодные клыки наслаждения». Но это при виде лодыжки семнадцатилетней девушки, а не от лицезрения застегнутой до самого горла пятидесятилетней дамы. Я рассмеялся, нажав, как обычно, на дверную ручку классным журналом: температура тела у меня, похоже, возвращалась к норме.

— Когда читаешь «Бездомных», — начал я урок, — следует помнить, что роман этот написан эзоповым языком. Вы помните, что такое эзопов язык? — утомленные кивки нескольких голов, утомленные до такой степени, что при взгляде на них меня непреодолимо потянуло в сон. — Ожешко была чемпионом мира в обходе цензуры, а вот Жеромский переусердствовал. И в результате никто, кроме первых читателей этой книги, не в состоянии сразу сориентироваться,

---

[30] Примечания: 30
Роман (1900) польского писателя Стефана Жеромского (1864–1925).

когда автор подмигивает ему. Он изъясняется как-то не вполне вразумительно, что-то важное зашифровывает. Начнем сразу с самого главного вопроса: как погиб инженер Кожецкий?

Тишина. А чего еще было ждать? Может, следовало бы сначала полистать книгу, напомнить содержание. Совершенно неосознанно я вперился взглядом в Яцека с первой парты (он напоминает мне Джона Леннона); тот испуганно дернулся, чем привлек уже вполне осознанное мое внимание, и наконец пробормотал:

— Ну-у… это… самоубийство совершил.

— Вы уверены?

Наконец-то ученики зашуршали. Значит, все-таки живы, и я не один в этом чертовом классе.

— А как же? Ясное дело, самоубийство. Он покончил с собой.

— Пальнул себе в лоб, — перекричал всех Филипп, скейтбордист.

— В таком случае проверьте, — сказал я. — Где тексты?

У меня было несколько минут передышки, так как ученички полезли под парты в сумки и портфели, и у некоторых оказались с собой книжки; Филипп побежал за экземпляром в библиотеку, кто-то сокрушался, что забыл книгу дома, а Алина

принялась жаловаться, какие тяжести им приходится таскать на себе, короче (как я уже не раз имел возможность убедиться), всё по стандарту. Затем начались поиски нужного фрагмента, и, прежде чем Яцек выкрикнул: «Это где-то в конце», — я мог составить представление, кто из класса заглядывал в роман, потому что несколько человек принялись листать бедного Жеромского с первой страницы.

— Вот, — объявил Филипп. — «Юдым бросился к телу, но в тот же миг понял, что перед ним труп».

— Так… Я ведь не говорил, что Кожецкий не погиб, я сказал только, что самоубийства он не совершал. Прошу прощения за кровавый вопрос, но людей, которые смотрят боевики, он не должен шокировать: если имеются входное и выходное отверстия пули, то которое из них больше?

— Выходное. — Филипп, похоже, заинтересовался. — Входное — это такая маленькая дырочка.

— Если только не стреляли пулями «дум-дум», — раздался чей-то голос. Но я его проигнорировал.

— «Вместо левой части лба и всей левой щеки…» Все ясно, он выстрелил себе в правый висок.

— Не на левом виске. — Я прикоснулся к голове. — А здесь, на левой части лба. Кстати, далее Жеромский, чтобы не было сомнений, пишет, что в Анатомическом атласе…

Хихиканье.

— А вы знаете, что четвертый «с» идет сегодня смотреть модель голой женщины?

— Знаю. Так вот, в Анатомическом атласе «от нижней части черепа к передней в направлении левого глаза шла толстая, нарисованная красным карандашом линия». От задней части черепа к передней, а не спереди к задней части. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то совершил самоубийство, выстрелив в себя вот здесь? — я постучал пальцем чуть ниже темени.

— Его кто-то убил, — с удивлением констатировал Филипп.

— А кто? Как выглядела квартира Кожецкого?

— Сейчас, — включился в расследование Яцек. — «Вся мебель была раскрыта настежь, и одежда оттуда выброшена…» Господи, так у него же в хате был шмон!

— Да, Кожецкого убила политическая полиция после совершенного у него обыска. Но почему?

— Погодите, погодите… — Филипп лихорадочно рылся в памяти. По правде сказать, он был

последним человеком в этом классе, которого я заподозрил бы в знакомстве с содержанием «Бездомных». — Что-то там было связано с отрезом на костюм… Он что-то провез контрабандой?

— Ну да. Социалистические брошюрки. Первым читателям помогло то, что очень скоро стало известно, с кого был списан этот персонаж. Потому что Кожецкий действительно существовал, правда, умер он естественной смертью. Его звали Эдвард Абрамовский. Кто знает, кем был Абрамовский?

— Социалистом каким-нибудь, — сделал логичный вывод Филипп.

Я стал рассказывать им и уже после первых фраз понял, что буду так говорить о нем до звонка, который, естественно, прервет меня в самый неподходящий момент, буду говорить не для них, потому что на кой им знать про этого мечтателя столетней давности, идейные ориентиры которого для них ассоциируются в лучшем случае с Юзефом Олексы и СДРП,[31] а в худшем — с коммуняками, Сталиным и лагерями, буду говорить для себя. Я отнюдь не был уверен, что когда-нибудь вернусь к этой теме, задавленный контрольными

---

[31] Примечания: 31

СДРП — Социал-демократическая республиканская партия.

работами и тетрадками, а главное, чувством вины, так что получалось, что брак свой я прозевал абсолютно бесцельно, ни за что ни про что, раз уж мне не суждено написать *эту диссертацию, пан магистр, да, да, диссертацию,* или, вернее, чувством самооправдания, поскольку именно по этой причине я вдруг стал для нее таким чужим. Но Абрамовский был важен для меня, и, говоря о нем, я чувствовал себя уверенно, как никогда, и я для собственного удовольствия рассказывал всякие о нем истории, цитировал словесный портрет, составленный для российской полиции: «Рост 167 см, сложения щуплого, волосы и брови светло-рыжие, глаза голубые, борода рыжая, волосы вечно взлохмачены, походка порывистая, голос тягучий, слегка заикается», — и рассказал о трагедии 1892 года, когда Мотзувна умерла родами, а Абрамовский неоднократно пытался покончить с собой, впрочем, это было не впервые, так как еще десятилетним мальчиком он после смерти матери хотел совершить самоубийство; я возбуждал аудиторию двусмысленными историями о нравах в создававшихся им коммунах с участием женевских студенток, да вот только все время у меня перед глазами стояло кресло с улицы Барской, и, возможно поэтому, я не проци-

тировал ни единой строфы из «Поэмы смерти», а может, вовсе и не поэтому, просто я хотел быть порядочным по отношению к Абрамовскому, а уж эту его последнюю публикацию удачной никак не назовешь: что нет, то нет. Порядочность по отношению к Абрамовскому. Порядочность по отношению к Адаму. И вот наконец я извлек из сумки козырного туза: репринт «Общественных идей кооперации».

— Вот послушайте, — сказал я. — Трудно поверить, но это было написано им почти сто лет назад: «Мы привыкли почитать себя неким материалом, из которого кто-то другой создает разнообразные формы; при любой возможности мы приносили себя в жертву: „…сделайте из нас конституционное, демократическое или социально-демократическое общество; реформируйте нам школы и больницы; защитите нас от бедности и эксплуатации"… — Я пропустил кусок текста и, подобно проповеднику, поднял указательный палец. — Вследствие такой политики могло возникнуть все что угодно, но только не демократия. Демократия требует прежде всего сильно развитого чувства и инстинкта общественной взаимопомощи. Она требует людей, умеющих не только ждать от государства реформ,

но и проводить эти самые реформы с помощью собственных своих организаций. Требует умения самодеятельной организации общественных интересов». Чем вы там занимаетесь?

Четыре головы, плотно сдвинувшиеся над чем-то, пока я читал, мгновенно разъединились. Я подошел взглянуть: ну да, крестики и нолики. Мне вспомнилось, как я впервые наткнулся на этот текст Абрамовского; произошло это на втором курсе, во время майской студенческой забастовки, и для меня он стал откровением, открытием того, что — я это чувствовал интуитивно — ушло от нас, когда я был еще мальчишкой и Ярузельский вводил военное положение; ну а сейчас мне было почти тридцать, и в глазах учеников я сам превратился в ветерана, что-то там талдычащего про великую войну, приходящего в возбуждение от вещей, в корне оторванных от скейтборда, новой ролевой игры и перспектив сшибить в этой жизни малость *башлей, пан учитель, башлей,* — да и вообще, как можно серьезно воспринимать всех этих мудозвонов в сейме и этого Валенсу или какого-то там Цимошевича? Впрочем, возможно, я и ошибался, возможно,

под этим стаффажем[32] в учениках жил какой-то иной мир, какие-то недоступные мне иные миры с отсроченным существованием, дожидающиеся мига, назначенного им, чтобы открыться. Кажется, в самом начале моей трудовой деятельности в школе кто-то — уж не Драбчик ли? — изложил мне в учительской типологию учителей: учитель-холерик выгоняет недисциплинированного ученика из класса, учитель-флегматик гоняет его по темам последних тридцати уроков, а учитель-меланхолик никаких гадостей ему не делает, но при этом думает: «Я для тебя из шкуры вон вылезаю, а ты бедного меня совершенно не ценишь»; слишком часто у меня бывали шансы играть меланхолика, чтобы спускать в подобных случаях, и потому я влепил четыре единицы за «невнимательность и занятие посторонними делами», и тут как раз зазвенел звонок. Так закончился урок, посвященный «Бездомным» Стефана Жеромского.

---

[32] Примечания: 32

Стаффаж — в пейзажной и архитектурной живописи небольшие группы людей и животных, введенные для оживления картины и не составляющие главного ее мотива.

12

Четвертый класс отправился в Музей техники, и в двенадцать у меня неожиданно появилось «окно». Поначалу я подумал, а не провести ли его в кабинете музыки, но вспомнил рассказы учеников об Адаме и решил: нет, не стоит. Не хотелось еще больше разочаровываться в нем. К тому же вполне возможно, он попросту вышвырнул бы меня — более или менее деликатно — за дверь; кстати, это было бы очень похоже на него. И потому я направился в учительскую, где сидели военрук и Драбчик.

— Вы поглядите, какая красота, — промолвил военрук. Я впервые услышал такую сладостность в его голосе, никогда бы не поверил, что он вообще способен достичь подобных регистров. — Ну просто прелесть!

Я заглянул ему через плечо. Поперек всей страницы вытянулось изображение подводного корабля странной формы, как бы удлиненной слезы с двумя рядами вытянутых черных щупальцев, по шесть на каждом борту; я догадался, что это пусковые ракетные установки. Рядом помещалось описание и несколько нерезких,

смазанных снимков. Военрук перевернул страницу. Еще корабль, но уже явно более угловатый, с нелепым горбом ближе корме. На следующей странице то же самое, но только с утолщением на носу; казалось, будто у него там образовалась опухоль.

— А вот посмотрите, — военрук перелистнул несколько страниц назад, — что за чудовище. Сто метров длины. Двадцать ширины. Под водой может находиться сколь угодно долго. Сколько выдержит экипаж. Эксплуатировать можно без остановок. Вот это техника, доложу я вам.

Из всех возможных глупых вопросов я, надо полагать, задал ему самый глупый, но мне просто не приходило в голову ничего, что бы можно сказать, а после стодневки я принял решение быть с ним максимально предупредительным. Я ляпнул:

— Это что, плавает в Балтике?

Он посмотрел на меня так, словно я поинтересовался, с какой стороны вылетает пуля из винтовки.

— Да вы что! Балтика — это мелкий прудик. Да и русские не пропустили бы такого монстра через датские проливы. Шарах! — и лодка накрылась. А потом объявили бы, что произошел несчаст-

ный случай. Это американская подводная лодка, океанская. Крутится в районе Владивостока, и русские ничего не могут с ней сделать.

Мне смутно припомнилось, как военрук читал нам на уроке лекцию о психологической войне и объяснял, что американцы намеренно вовсю рекламируют свою технику, чтобы подорвать моральный дух военнослужащих стран Варшавского Договора. Но в отношении Адама он вел себя более чем прилично. И под газом за руль не садится. То есть какие-никакие положительные качества у него имеются.

— Но на Балтике есть подводные лодки?

Он принялся листать альбом. Заметив, что я пытаюсь взглянуть на титульную страницу, он прямо расцвел:

— «Современные подводные корабли» Миллера и Джордана. В пятницу купил. Вот оно. — Он нашел то, что искал, и постучал пальцем по странице. — У нас в Польше есть такие. Класс «Фокстрот». Так их называют американцы. Старая конструкция, ей лет сорок. Семьдесят восемь человек экипажа, спят, наверно, между торпедами, потому что на подводных лодках мало места. Низко, тесно. Каждый сантиметр должен быть использован.

— Клаустрофобию можно заработать, — промолвил я с интонацией вежливого удивления и сел на стул. До звонка оставалось еще с полчаса, и разглядывание с Сухецким альбома было времяпрепровождением не хуже любого другого. — Духотища там, наверное…

— Верите, а я вот хотел служить на подлодках, — мечтательно произнес военрук. — Но слишком у меня рост большой. И потому меня взяли в службу порта. В связь.

— Вам бы там пришлось вдвое переламываться, — неожиданно отозвался Драбчик, читающий «Жечь посполиту». Я с любопытством подумал, знает ли он прозвище Сухостоя. Наверное, знает.

— Но зато представляете, какая там интересная работа? Самая современная техника. То есть должна быть, потому что у нас-то такие гробы плавают, что русские хотели даже их пустить на металлолом. На подлодке темно, чтобы не тратить энергию. Светят только шкалы инструментов — красноватым, синеватым светом. Для прослушивания существует специальный человек, и слух у него, как у певицы… ну, этой, как ее… Вильяс. Главный инструмент там ухо, эхозонды не включишь, потому что противник тебя тут же засечет и потопит. А потом, когда в строй вошли

атомные лодки, все переменилось. Прямо как по волшебству. Это целые плавающие города, самодостаточные, потому что атомный двигатель обеспечивает лодку практически вечной энергией, вода в замкнутом контуре, продовольствие…

— Вода в замкнутом контуре? Значит, они мочу пьют, — засмеялся Драбчик.

— Какую мочу? Что вы несете? — возмутился военрук.

Химик оторвался от газеты.

— Ну, если вода находится в замкнутом контуре, то это значит, что мочу не выпускают в океан, а лишь осаждают мочевину, а оставшееся обеззараживают и подают обратно в краны. Химически вещество это чистое, но, когда знаешь, что пьешь, в сущности, мочу, наверно, противно.

— А у нас есть атомные подлодки? — поспешил я врезаться с вопросом.

— У нас нет, — объяснил мне военрук, все еще неприязненно глядя на Драбчика, который вновь погрузился в газету, — а у русских есть. И даже на Балтике, можете себе представить. Сейчас я вам покажу. Вот, класс «Альфа», подводная лодка с атомным двигателем. Небольшая, восемьдесят метров. Испытания в Балтийском море в тысяча девятьсот семьдесят втором году… ага, но в рейс

не вышла из-за появления трещин в обшивке корпуса, — дочитал Сухецкий и недовольно покачал головой. — Нет, это непонятно, они вообще выдерживают невероятно высокое давление. Самые лучшие лодки сейчас опускаются на глубину в полтора километра. При этом выдерживает не только корпус, но и насосы, подающие сжатый воздух, чтобы вытеснить воду из балластных цистерн. Понимаете, если насосы не справятся, то лодке уже не подняться с глубины наверх. А как только она опустится ниже порога плавучести, тут сразу же — хлоп! Как взрыв в кинескопе. — Он хлопнул в ладоши, издав при этом какой-то квакающий звук. — И тогда извольте заказывать «Умер мой дядя» Шопена.

— Я видел «Охоту за "Красным Октябрем"», — вспомнил я.

— Американские подводные лодки вообще фантастика, — словно не слыша меня, не унимался Сухецкий, — «Лос-Анджелес», «Огайо», «Тайфун». Экипаж сменяется каждые полгода, потому что у матросов шарики за ролики начинают заходить. Хотя у них там обеспечена (я как-то смотрел программу по спутниковой тарелке) просто невероятная социальная база: есть корабельная газета, кино, даже какие-то спортивные залы, не

представляю даже, где они у них там умещаются. Если взорвется бомба, мы все к такой-то матери, а они выживут. Вода не пропускает излучения, вся радиоактивная зараза остается на поверхности. И они еще будут в состоянии нанести ответный удар, причем неизвестно откуда, потому что они могут плавать где угодно. В сущности, в экстерриториальных водах постоянно идет война, даже сейчас, так как они все время друг друга преследуют, пеленгуют, перегоняют с места на место. Точь-в-точь как футболисты перед угловым. Такая вот толкотня, война всухую. В воде, — захохотал он над собственной шуткой.

И я вдруг осознал, что подобные разговоры ведутся тут издавна, с тех времен, когда я ходил в этот лицей, и еще раньше. Поблекший Драбчик и видный Сухецкий, а иногда также Флора, Иола, Ромек-историк и Пуэлла перебрасываются в учительской теми же самыми шуточками, говорят друг другу те же самые колкости, взаимно бросают иронические взгляды, повторяют одни и те же истории об учениках, у которых только меняются фамилии, потому что число ученических типов ограничено, что я заметил уже после трех недель трудовой деятельности. Полнейшая ритуализация, организация с огромным числом

светских обрядов, которые теперь и меня втянули в свою орбиту, поскольку и я — в этом у меня не было и тени сомнения — влез в многократно уже использованную шкуру: молодой учитель, еще робеющий во взаимоотношениях со старшими коллегами, пытающийся быть хорошим со всеми до тех пор, пока не займет заранее предназначенного ему места в одной из противоборствующих фракций. Первое время привлекательный, так как создает приятное обманчивое впечатление, что что-то может перемениться. Как мне однажды на перемене успела объяснить Иола, пользующаяся особой симпатией, о чем я ей тогда сообщил, у учеников: «Да, дорогуша, для них мы страшно важны и полностью заменимы».

— А кто кроме пани Флоркевич пошел с ними в музей? — спросил я Драбчика.

— Не знаю. Она просила пойти меня, но у меня во второй половине еще факультативы, и мне не захотелось. Наверно, кто-то из англичанок с нею пошел. С меня хватит. — Драбчик неожиданно сложил газету. — Ученики просто смеются над этим. Я ей столько раз втолковывал: Галина, кончай. То, что в ней светятся все эти органы, пятнадцать лет назад еще было педагогически увлекательно… Ты знаешь, как это выглядит?

— По правде сказать, нет.

— Стоит девушка натуральной величины, из плексигласа, с поднятыми руками, и поворачивается на постаменте, а по репродуктору звучит лекция по анатомии, совершенно элементарные вещи, Галина, кстати, на уроке сама это прекрасно делает, и сидит дежурная, которая нажимает кнопки. Рассказывают про селезенку, она зажигает селезенку, про кишечник — зажигает кишечник…

— А про это рассказывают? — заинтересовался военрук.

— Про что про это?

— Ну, про *это.* Как там у женщин устроено, — заржал Сухостой. Драбчик посмотрел на него долгим взглядом и в молчании вновь развернул газету.

А я решил все-таки выпить кофе, хотя тут, в учительской, он мне всегда казался невкусным.

13

То был четверг перед каникулами, то есть мой свободный день, но мне пришлось прийти в школу, причем во второй половине дня, на педагогический совет, посвященный окончанию

семестра. Естественно, писать протокол выпало мне; тщетно я отбрыкивался, говоря, что еще не со всеми знаком, а это было явным враньем, так как большинство учителей я знал еще со времен учебы, а несколько новеньких не представляли никакой проблемы. Абсолютно безрезультатным оказался также аргумент, что я ни разу в жизни не писал протокола; «Когда-нибудь надо начинать», — сказала Пуэлла, а военрук, плотоядно облизнувшись, добавил, что «пани директор совершенно права, у всех всегда бывает первый раз». Намордовался я с этой писаниной, как мопс, а потом еще пришлось ненадолго остаться, чтобы получить подробную инструкцию, как должен выглядеть чистовик, так что из школы я выходил чуть ли не последним. Если честно, я чувствовал себя несколько разочарованным, оттого что Адам не подождал меня; с понедельника он был со мной исключительно вежлив, но сухо-официален, словно тот разговор в кафе и впрямь имел исключительно корыстный характер. А может, это была просто моя болезненная реакция; оценивая все, я пришел к выводу, что как это ни парадоксально, настроение мое со временем ухудшилось, как будто шок от ухода Беаты придал мне поначалу некие витальные силы,

произведя что-то вроде инъекции адреналина, а теперь пустота вокруг меня постепенно и потихоньку начала делать свое дело. Она не спеша втягивала меня, как ловкий шулер, который без излишней ажитации выигрывает свою партию. Короче говоря, я ощущал себя полным хлюпиком и мысленно видел, как моя духовная рожа (а я верил в существование духовной рожи, скрытой под маской официального лица) сморщилась от страданий, словно прошлогодний помидор. Мне безумно необходимо было общество, но не такое ничего не значащее, как в учительской. Я несколько секунд стоял у входа в школу и принял решение навестить маму; потому, вместо того чтобы пойти направо, к трамваю, я направился в противоположную сторону. Улочка, на которой стоял лицей, вела к широкой, двухполосной трассе на Познань; на нескольких десятках метров, слабо освещенных старенькими фонарями, желто сверкала вселенная мчащихся машин; там ревели тяжелые грузовики, с визгом проносились «тойоты» и «мерседесы»; одним словом, там стремительно катили люди, у которых, в отличие от меня, было безумно много энергии. По крайней мере механической. Я не испытывал к ним особой симпатии, что, насколько могу

догадываться, ничуть не мешало им радоваться жизни. Но именно там, через остановку после виадука, жила моя мама, которой в последнее время я оказывал не слишком много внимания, отчего почувствовал недавно угрызения совести.

Я шел под тусклыми фонарями и вдруг понял, что вижу нечто странное. В желтоватом полумраке вырисовалась фигура Адама, который не больше и не меньше как прятался за деревом. Выглядело это, прямо как сцена из фильма про шпионов. Нет, он и впрямь за кем-то следил. Отлипнув от ствола, он рысцой добежал до углового дома, в котором когда-то был бар, где наша лицейская компания устраивала встречи, на которых предвкушалось и возвещалось великое будущее каждого из нас. Сейчас там помещался мясной магазин, что я счел удачной метафорой наших гениальных биографий: сперва много мычания, а потом котлетка или фрикаделька. Себя в этот момент я ощущал рубленой котлетой. И как раз по этой причине я с ликующим злорадством решил испортить игру родственничку. Подойдя поближе, я на всю улицу заорал:

— Привет, мистер Бонд! Кого выслеживаем?

Он повернулся и посмотрел на меня таким взглядом, что я решил: сейчас убьет. Однако он

сменил гнев на милость и как-то криво улыбнулся.

— Ты знаешь, что он живет здесь, на углу?

— Кто?

— Драбчик.

Я задушил в себе вопрос: «И что из того?» и произнес вместо него неопределенное, но как бы подстрекающее к дальнейшему развитию темы:

— Да?

Но Адам не стал развивать ее. Он вытер локоть, испачкавшийся о стенку дома, и иронически взглянул на меня:

— А ты куда идешь?

— К матери. Она живет тут, недалеко, через квартал. Объясни наконец, в чем дело?

— Как-нибудь потом. Если ничего не имеешь против, я провожу тебя.

— Мне будет очень приятно.

Он расхохотался:

— Экий Версаль!

И мы молча зашагали плечо к плечу. Я закурил сигарету, а когда протянул пачку Адаму, он замотал головой.

— Может, зайдешь вместе со мной?

— Да ты что! Ведь твоя мамаша относится ко мне, как остальные родственники. Я же — пар-

шивая овца в стаде. Она знает, что мы вместе работаем?

Я задумался.

— Знаешь, а я ведь даже забыл сказать ей об этом.

— Ну видишь! Это, кажется, называется вытеснением по Фрейду, да?

Я не знал, что ответить, потому что, ежели по правде, я сказал маме про Адама, но она поморщилась и перевела разговор на другое. Мы остановились, дожидаясь зеленого сигнала. И тут я вспомнил.

— Слушай, а почему ты не поселился в родительской квартире, а ютишься в этой клетушке?

— Это было связано с муниципальным жилищным отделом. Администрация занялась там. Я ничего не хотел. Надо было массу бумаг оформлять… а я ведь действительно бросил их. Люся там все ликвидировала.

— Разрыв с родителями, наверно, тяжело переносится?

— Да уж нелегко. Но для этого были причины. Пошли, — зеленый.

Он рванул, не дожидаясь меня. Через несколько шагов я нагнал его. Дальше был откос, и лестница на нем вела к жилмассиву; я подумал, что

поднимаемся мы по ней, как двое стариков, — медленно, с трудом. Мне ничего не хотелось, я с удовольствием свернулся бы клубочком где-нибудь в уголке, и вдруг я совершенно ясно осознал, что и Адам тоже едва бредет. Совершенно неожиданно меня это развеселило, я рассмеялся и, когда отвечал на удивленный взгляд кузена, не заметил еще одной ступеньки. Ну и споткнулся. Вне всяких сомнений, я растянулся бы — было скользко, но Адам успел ухватить меня за локоть. Секунды две-три он внимательно смотрел на меня, а потом внезапно спрятал лицо в ладонях.

— Что-то в глаз попало, — бросил он. — Помоги.

«И все-таки он педик», — мелькнула у меня мысль. Но я послушно подошел к нему и вывернул ему веко. При свете уличного фонаря я, право, немного сумел бы увидеть. Он резко отодвинулся от меня:

— Спасибо. Видимо, вышло само. Ты сдал экзамен. Как самаритянин, имеется в виду, — и, видимо, чтобы перевести разговор, спросил: — А как выбирается тема диссертации?

Я не врубился.

— Как выбирается? Обычно…

— Ты это решаешь или тебе предлагают?

— По-разному бывает. Я сам выбрал.

— А почему именно этого… который про кресло писал?

Я вздохнул:

— Знаешь, я долго могу о нем говорить… Но вот вкратце: с его текстами я столкнулся на втором курсе. И когда начал читать, оказалось, что это какой-то совершенно отлетный тип, который думает не об экономике, как все нормальные социалисты, а об этике, о психологии, а потом и о реинкарнации. Он был основоположником кооперативного движения и одновременно писал такие трактаты, как «Душа и тело» или «Экспериментальная метафизика». За полвека до возникновения контркультуры он экспериментировал с наркотиками. Утверждал, что в человеке заключено только добро, и одновременно его точила непрекращающаяся депрессия, некий демон, велевший ему снова и снова пытаться покончить с собой…

— «Душа и тело»? О чем это?

Я пребывал в нерешительности. Именно этот текст я начал читать в тот вечер. Очень трудный для понимания. Мне страшно хотелось пораньше вернуться домой, собственно, я и пообещал Беате прийти не поздно, но мне казалось, что я

не должен уходить, пока не вгрызусь в книгу так глубоко, чтобы на следующий день продолжить чтение без всякого напряжения. Час за часом убегали. Я хорошо помню, как пустел читальный зал, а я сидел усталый и раздраженный, оттого что ничего не понимаю и все время возвращаюсь к нескольким первым страницам, не делая даже заметок. Сдался я, только когда зазвонил звонок, возвещающий о закрытии библиотеки. Долго не было трамвая. Я прекрасно сознавал, что все это иррационально, глупо, однако до сих пор не мог избавиться от мысли, что, если бы в тот вечер махнул рукой, возможно, что-то и удалось бы спасти. Как будто моего соперника не существовало. Но я даже не знал, как он выглядит, и потому он *как бы не существовал.*

Я решил быть откровенным.

— Понимаешь, я только-только начал читать, и тут ушла жена, так что больше за этот текст я не брался. Потому ничего не могу сказать. Вероятнее всего, это о связях того, что физиологично, с тем, что духовно. Что это некое целое. Но взгляды его выходят за пределы материалистической концепции, концепции человека-машины.

Адам молчал. Мы стояли около маминого дома.

— У тебя есть эта вещь?

— Она есть в Национальной библиотеке.

— А что такое концепция человека-машины?

— Ла Меттри.[33] Такой… наверное, сумасшедший эпохи Просвещения. Он верил в партеногенез, но в исполнении мужчин. Считал, что сперматозоиды — это крохотные плоды, которые могут развиться только в женской утробе.

Адам пренебрежительно махнул рукой.

Я спросил:

— Может, все-таки зайдешь?

— Нет. Я дам тебе свой телефон. — Он достал записную книжку, вырвал страничку и что-то торопливо записал. — Если я тебе понадоблюсь или просто захочешь поговорить, позвони. Только никому его не давай. — Видно, в моем взгляде было что-то, так как Адам добавил: — Да, да, ты считаешь меня несимпатичным и ненормальным. Но я знаю, что делаю. Можешь мне поверить.

Он на прощание кивнул, и я вошел в дом.

---

[33] Примечания: 33

Ла Меттри Жюльен де (1709–1751) — французский врач и философ материалистического направления.

14

Я позвонил, мама открыла дверь и, как обычно, поцеловала в лоб, после чего повела в свои папоротниковые джунгли, которые после смерти отца распространились на всю квартиру. Над зеленой чащобой кое-где высились фикусы и рододендроны; протискиваться между ними надо было очень осторожно, поскольку подставки под цветочными горшками опасно шатались, стоило неосторожно коснуться их, не говоря уже о шатких полочках и этажерках, истекающих в буквальном смысле слова зеленью. Мама, одетая в традиционно бежевое платье, посадила меня за большой стол и пошла в кухню, чтобы — как она выражалась — *приготовить* кофе. Седая (она поседела, когда осталась здесь одна, хотя я подозреваю, что мама просто перестала краситься), одетая неизменно в бежевое и коричневое — было в ней что-то от зимней белки: хрупкость, нервность и аккуратность движений. Мне показалось, что она стала еще меньше, хотя перевалила на шестой десяток совсем недавно. На столе, как всегда, лежали последние номера «Политики» и «Тыгодника Повшехнего», но так-

же и какая-то неведомая мне приходская газетка. Из радиоприемника негромко звучал Бах. Мама вернулась с фарфоровыми чашками, снова исчезла в кухне и пришла, неся тарелку бутербродов. Отношения у нас были теплые, но какие-то по-особенному ритуальные. Впрочем, так было всегда, сколько я себя помню. Это был такой *genre de vivre*[34] моей мамы, который спервa приводил в восторг, а потом жутко раздражал Беату. Что поделать, такой стиль может нравиться, а может не нравиться. Мне — нравился, хотя для меня это был уже чужой язык. На котором говорили только в праздники. Или здесь.

Мама села напротив и смотрела на меня, пока я размешивал сахар в кофе. У нее были большие карие глаза, такие же, пожалуй, как у меня.

— Я чуть было не пришел к тебе с Адамом, — сообщил я.

— С кем?

— Мама, не изображай неведения, я же тебе говорил. С Адамом Клещевским.

Мама чуть-чуть поджала губы. Не знай я, куда надо смотреть, я мог бы и не заметить.

— Я не вижу для него оснований делать мне

---

[34] Примечания: 34
Образ жизни *(фр.)*.

визиты. Это напоминание всем матерям, чтобы не любили слишком своих сыновей. Не любили слишком глупо, — исправилась мама. — И ты можешь с ним… дружить?

— Он славный человек, — сказал я, беря бутерброд. Голоден я был как волк. — Если узнать его поближе. И к тому же я ведь не знаю, в чем там было дело.

— Понимаешь, если говорить вообще, сексуальность делает мужчин рабами женщин. — Я поперхнулся. — И наверно, дело только в этом. Или, если угодно, как раз в этом. Тем не менее с родителями так не поступают. Я к Янеку, с тех пор как отец ввел меня в свою семью, относилась очень хорошо. И только не понимала, почему он женился на Рене, то есть почему, я знаю… Она помогла ему выйти из Варшавы, хотя была еще, в сущности, ребенком… но все равно я не думаю, что он был с нею счастлив. В том смысле, в каком это понимается в жизни. И я задним числом догадываюсь, что Адам должен был взбунтоваться против матери. И взбунтовавшись, уйти в голубую даль с какой-нибудь…

— Мама!

— Но уйти с подобной особой и полезно, и приятно. Жаль только, что заодно он себе жизнь

сломал. А также им. О них он говорил?

Я помотал головой (трудно отвечать с набитым ртом).

— Но ты-то справляешься? — совершенно неожиданно спросила она.

— Угум.

— Хоть что-то ешь?

— Угум.

— Болит?

— Угум, — проглотил я. — Болит.

— А ты задумывался, как поведешь себя, когда она захочет вернуться?

Рука моя замерла над тарелкой. Кажется, мы разговаривали уже на эту тему по телефону. Но мама у меня упрямая. Я тоже.

— Я ведь тебе говорил уже: она не захочет.

— А если захочет? Я не верю, чтобы женщина не захотела вернуться домой.

Дом — вот основная категория в системе мышления моей мамы. Я устал. И отрицательно покачал головой.

— Нет, мама. Это, — я на несколько секунд умолк, пытаясь сформулировать, — это вопрос верности.

— Да, *это вопрос верности,* — повторила она с нажимом. — Твоей. Ты не должен переоценивать

роли секса в жизни. Измена, сынок, страшна, но это рана, которая способна затянуться. Ведь с человеком сочетаешься на всю жизнь.

Я неодобрительно кашлянул. Со стен на меня смотрели Иисусы и Мадонны, и было их безумно много; после смерти отца мама стала заменять ими его рисунки, нереализованные градостроительные решения, проекты, которые в процессе строительства дешевели, так что под конец их уже и узнать невозможно было. Я помню даже несколько процессов, которые отец возбудил по этому поводу. Святые образки немножко раздражали меня; мне не верилось, будто мама не видит, насколько они в большинстве своем уродливы. Она, которая прививала мне хороший вкус. Но когда я заикнулся было на эту тему, то услышал, что перед смертью человек обязан навести внутри себя порядок, и это меня жутко разозлило, потому что мама была еще вовсе не старая, а кроме того, я что-то не припоминал, что когда-либо ее можно было заподозрить во внутренней беспорядочности.

— Жаль, что ты перестал ходить в церковь, — неожиданно заметила она, словно угадывая мои мысли. — Но я не это хотела сказать. Знаешь… Ты знаешь, что отец хотел уйти от нас?

— Прости, не понял…

Она разгладила ладонью салфетку, поправила серебряную ложечку, уложив ее идеально параллельно кромке стола.

— В бюро, где мы работали, однажды появилась новая сотрудница. Действительно, тут уж я спорить не буду, очень эффектная. Этакий, я бы сказала, «фоб повапленный». А душа черная как ночь. Но внешне очень привлекательная. И она загнула на отца пароль. Женщина, она ведь, как клещ, способна мужчине причинить страшный вред, но предварительно производит анестезию. Такую местную анестезию. Было это в семьдесят пятом году. Помнишь, мы тогда поехали в отпуск вдвоем с тобой?

М-да, пожалуй, количество неожиданных и абсолютно излишних открытий в моей жизни увеличилось еще на одно. Если бы речь шла не об отце, я решил бы, что мама придумывает, чтобы убедить меня. Я совершенно инстинктивно ухватился за столешницу, как будто опасался куда-то выпасть. За какой-нибудь борт. Все чудней и чудней, как говорила Алиса в Стране чудес.

— Да, помню, я учился еще в начальной школе, — пробормотал я. Я был не уверен, на какую мелодию должен это произнести. Не уверен, на

какую хочу это произнести. — Мне-то казалось, что у папы был какой-то срочный проект.

— Никакого проекта не было. Просто ему нужно было все обдумать. Я попросила его не действовать поспешно. Настроена я была решительно, но из отпуска писала ему такие письма, что сейчас мне за них стыдно, — чуть заметно улыбнулась мама. — Безумно чувственные. С клятвами и обещаниями. К счастью, недавно я их нашла и уничтожила. А потом отец встретил нас на вокзале с таким огромным букетом роз, и я уже знала: он остается с нами. Я его не то что простила. Я просто забыла. И мы никогда не упоминали про этот эпизод. Но тогда я сделала все, чтобы спасти его. Чтобы сохранить дом. За любовь, Войтусь, нужно бороться. А ты разве борешься?

«Нет, я больше не выдержу», — подумал я. В этом-то и была причина, почему я так редко, а если говорить честно, безобразно редко навещал маму. Я ничуть не сомневался, что она желает мне только добра, однако ее реакции, то, что и как она думала обо мне и моей жизни, представлялись мне такими лунными, как, впрочем, и всё вокруг нее — квартира, превращенная в амазонские джунгли, совершенно несовременная манера говорить, интонация, перенятая мною от

нее, интонация, с которой я боролся в последних классах начальной школы, чтобы ребята (дети рабочих, как из марксистских учебников) не смеялись надо мной, и, наконец, покрой ее платьев. Иногда, правда, у меня вдруг мелькала страшная гипотеза, что она, может быть, права, ну, пусть даже всего немножко права, всего процентов на десять — и тогда окажется, что во многих случаях я делал дурацкий, более того кретинский, выбор. «Однако в этот брак втравила меня она», — со злостью подумал я, потому что мы с Беатой собирались пожить, как это называется, «без оформления наших отношений», у нас уже и квартира была, и тут именно она, а вовсе не будущая теща, сказала «нет». И я ей поддался. А сейчас я думал, что мы с Беатой действительно совершили катастрофическую ошибку, и дело было вовсе не в том, жить нам или не жить друг с другом до брака, а скорее в том, чтобы не жить друг с другом, пока между нами не возникнут неразрывные узы, и брак тут не имел никакого значения. Мы могли бы, думал я, и дальше не состоять в нем, но, если бы все развивалось медленнее, произошло бы позже, я сейчас, возможно, находился бы в другой ситуации. Но после педсовета и очередного разговора с Ада-

мом, который в определенной мере психически эксплуатировал меня, во мне уже не срабатывали все те барьеры, какими я обычно отгораживался от ментальных маминых вторжений, и я опять стал подумывать, а может, она и впрямь дает хороший совет. Бороться за любовь? Вот только я даже адреса Беаты не знаю; она, правда, оставила мне номер телефона, но даже сама мысль, что на том конце линии может отозваться мужской голос, доводила меня до белого каления. Так что оставалось лишь ждать… А между тем я, скорее, старался свыкнуться с моей новой жизненной дорогой, принять катастрофу к сведению, найти в ней приятные стороны, собрать их вместе и смириться с ними. Я отодвинул пустую тарелку, и, поскольку прошло достаточно много времени, чтобы создать впечатление, будто я в полной мере обдумал мамин вопрос — что в какой-то степени было правдой, — я решил сменить тему. Одним из самых больших маминых достоинств было то, что она уважала мое молчание, мое право не отвечать на вопросы.

— А как ты живешь?

— Ну, как обычно: сметные стоимости… Скандал с новым зданием для немцев, потому что субподрядчик что-то нахимичил… Ничего такого,

что подошло бы для рассказа в долгий зимний вечер. Ксендз у нас в приходе сменился. Пришел какой-то молоденький, но мне он не нравится. Произносил проповедь. — Мама провела рукой по лицу, как бы пытаясь стереть с него выражения неодобрения. — В семинарии должны бы научить их говорить лучше. Сделать тебе чаю?

— Нет, спасибо.

— Завтра ты к которому часу идешь на работу?

— Завтра к восьми. Она взглянула на часы.

— Так, может, у меня переночуешь?

— Нет, мне еще нужно к урокам подготовиться.

— А с утра не мог подготовиться? У тебя же сегодня свободный день, а теперь придется сидеть ночью.

— С послезавтра буду отсыпаться. Начинаются каникулы.

— По-прежнему не хочешь жить у меня?

Я помотал головой.

— Может, это и лучше. Ты — сильный человек, а в таких обстоятельствах одному, наверно, пожить неплохо. Ну а если вдруг начнешь тонуть, тогда, я знаю, ты придешь. Ладно, ступай.

С определенным облегчением я двинулся через зеленый лабиринт в сторону прихожей. Мама

шла следом. А когда я надевал пальто, то услышал еще один — и в нем была вся моя мама — текст, так сказать, на прощание:

— Только прошу тебя, сынок: нормально питайся. Ешь побольше. Вообще есть надо много. В сущности, я должна была бы тебе сказать: молись. Но раз уж ты не молишься, то хотя бы ешь. Это тоже своего рода молитва.

Я подумал, а почему бы не сказать ей, что хоть я и не хожу в церковь, но у кровати у меня лежат «Псалмы» Чеслава Милоша и я часто читаю себе «Из бездны взываю к Тебе, Господи», но читаю именно *себе*, потому что не знаю, а кому еще? Может, мама, несмотря ни на что, обрадовалась бы? Но только нужно ли все рассказывать матери? И я не сказал; подставил лоб для поцелуя и вышел. Мне, правда, надо было подготовиться к урокам.

15

Я вполне обоснованно мог взывать из бездны, так как страх перед каникулами был у меня такой, что ни словом сказать ни пером описать. Школа помогла мне пережить первый месяц после ухода Беаты, а теперь вот бросала меня на две недели без панциря ежедневных занятий посре-

ди расстилающейся на все четыре стороны белой четырнадцатидневной равнины. Девственно белой заснеженной равнины. В пятницу Адама не было, он начинал этот наводящий ужас период на день раньше меня, что соответствовало расписанию его уроков (в понедельник, вторник, четверг). И вот со сжимающимся сердцем я прощался с очередными классами, и выглядело это, наверное, так, словно я сжился с ними, как с младшими своими братьями, а то и собственными детьми; прямо-таки, черт побери, чувствительный Войтусь; «Но я ведь и вправду, — в панике думал я, — не знаю, как обойдусь без вас, но вовсе не потому, что вы так важны были для меня, а потому, что вы просто были». И еще тот разговор с мамой, которая с несравненной легкостью превратила меня из жертвы (роль, надо сказать, вполне комфортная) в потенциального палача, в том случае если Беата изъявит желание вернуться, а я ей отвечу «нет». А я действительно отвечу ей «нет». «Мама токсична, — думал я. — Она не должна была так поступать со мной»; из всех людей в целом мире именно она могла бы во время каникул быть со мной каждый вечер, да и днем тоже, если бы недели две назад я воспользовался ее предложением и переехал к ней, но

этого-то как раз я и не хотел. «Вопрос верности. Я бы взбесился». И хоть я уже много лет не ходил в костел, после уроков я достал свою Библию и не без удовлетворения убедился, что я был прав: в Евангелии от Матфея Иисус ясно говорит, что брачные узы неразрывны, *за исключением случая прелюбодеяния.* «Сколько раз надо изменить, чтобы быть зачисленной в прелюбодейки, — думал я, — сколько раз Беата должна перепихнуться с тем хмырем, чтобы навсегда стать прелюбодейкой и утратить на меня права, — с омерзением думал я, — сколько раз должна она ему дать, — с растущей яростью думал я, — сколько раз лечь под него…», — чуть не плакал я от злости, а потом вдруг — ничего, как будто меня кто-то выключил, и я стал разглядывать красную накидку на кресле под торшером, на ней были какие-то странные узелки, как будто ее кошка когтями драла, но откуда здесь могла взяться кошка? Никогда у нас не было кошки. Я встал, заглянул в кухню; в раковине меня восхитила конструкция из грязной посуды, искусно складывавшаяся в течение многих дней. «И как это еще держится?» — удивился я. «Может, музыку какую-нибудь поставить?» — подумал я, стал рыться в кассетах, вспомнил про Адама, и вот, пожалуйста, тут же зазвонил

телефон.

— Привет, — услышал я. — Это ты?

— Привет, Адам. Очень мило, что ты позвонил. Он рассмеялся:

— Ах, какие выражения, кузен. Ты случайно не сентиментален? Слишком ты сильно привязываешься к людям. Послушай, эти две недели тебе здорово встанут поперек горла. Ты об этом знаешь?

Я помолчал, потом ответил:

— Знаю.

— Это всё. Просто я хотел проверить, знаешь ли ты. Похоже, я тоже становлюсь сентиментальным, потому что мне очень хочется, чтобы тебе удалось… — пауза, — …не скатиться в алкоголизм. Ты все еще продолжаешь ее ждать?

И этот туда же. Я чувствовал нарастающую злость; мне не хотелось его обидеть, но я был космически далек от исповедального настроения.

— Нет, — сухо ответил я.

— А вообще чего-нибудь ждешь?

Я задумался.

— Пожалуй, да.

— Это хорошо. Надежда есть результат действия инстинкта самосохранения. Между нами говоря, смысла в нем никакого нет, но он позволяет жить.

Поскольку, само собой разумеется, что-то иногда кому-то удается. Что-то иногда кому-то. ЧИК. И теоретически отнюдь не исключено, что именно тебе. И пока мысленно повторяешь «ЧИК», метаболизм действует, работают легкие, печень и прочее. Только вот печень лучше не перегружай, а если захочется выпить, позвони. Это и мне на пользу пойдет. Потому как пить с зеркалом хуже всего. А может, она вернется?

— Да перестань ты! — не выдержал я. — Сперва мама, теперь ты. Заладили: «вернется», «вернется». Она уже месяц с тем типом живет.

— Ну знаешь, мне-то это безразлично, — сказал он. — Я только хотел сказать, что из Варшавы не уезжаю. Как только почувствуешь, что тебе невмоготу, позвони. Вот, правда, к говению я не приспособлен и вообще не знаю, что в таких случаях делается. Моя, как ты знаешь, не вернулась. Может, поэтому я и спрашиваю. Впрочем, от нас зависит куда меньше, чем нам представляется. Если ты от нее зависишь, то и оглянуться не успеешь, как вы опять будете вместе, стоит ей только попросить. — На какой-то миг он умолк. — А я зависел.

Из меня вышел воздух.

— Прости. Мать вчера мне плешь проедала, что

я должен простить и все такое прочее. Секс, видишь ли, не в счет, измена не в счет, всё вообще не в счет, главное, чтобы быть с другим человеком.

— Ну, матери, такие уж они есть. («Пока есть», — досказал я за него.) Что еще тебе сказать? ЧИК, кузен. Что-то иногда кому-то… Это такой вот… основной сигнал. Знаешь, когда русские запустили первый спутник, он летал вокруг Земли и пищал. Пищи, кузен.

Ему все-таки удалось рассмешить меня.

— А ты пищишь?

— Наверно, да. Особенно по утрам. Потому что вечером отдаешь себе отчет, что если что-то иногда кому-то, то это вовсе не означает, что именно мне. И что если смотреть на вещи рационально, то разумнее всего было бы перестать валять дурака. Выписаться отсюда. Ведь это достаточно унизительно — без конца принимать участие в лотерее, ежели все билеты пустые. Ну, — он умолк в нерешительности, — один мне все-таки достался выигрышный. Но ни один азартный игрок после такого выигрыша не отходит от стола. А вот у тебя, если я верно понял… верно догадался, выигрыш был в изрядной мере символический. Брак, который был способен распасться… и к тому же через месяц ты уже говоришь о комфортной

катастрофе…

Я молчал. Он тоже умолк.

— Прости, — снова заговорил он, — наверно, я лезу не в свои дела. Одним словом, я в Варшаве, если тебе захочется выпить, послушать музыку, поговорить… дать кому-нибудь в морду… позвони. Я буду бывать и в школе, не сегодня-завтра надо будет устанавливать двигатель на пианоле. Ну, не будет у тебя такого желания, не позвонишь. Я, как тебе известно, удобный знакомец. Никаких обид ни при каких обстоятельствах. Держись, — и без всякого предупреждения Адам повесил трубку.

Я полночи думал обо всем этом. О маме, которая простила отцу роман с «гробом повапленным», об Адаме, который зависел от женщины, но она не вернулась, — в поисках ее он даже обращался в милицию, может, ее убили? — о Беате. Около трех меня разбудил страх, вызванный каким-то идиотским сном про очередь к дантисту, в которой мы стоим с Беатой, потому что у нее выпадали зубы, и я чувствовал, что это из-за меня; она становилась все уродливей и все больше моей, и я все сильней не хотел ее, хоть и испытывал все более явственное чувство вины. Все более расцветающее. После пробуждения стало ненамного

легче: неявная боль, блуждающая вдоль челюсти, открыла мне глаза на то, что зубной врач вскоре может понадобиться мне, причем не во сне, а наяву, хотя это будет финансовая катастрофа. Я встал, включил радио, заварил чай, но потом пересластил его. Боль проявлялась вроде в левой нижней четверке, я нащупал языком какую-то противную неровность, вероятно дырку. И по-прежнему этот страх. «А если, — подумал я, — это и есть тот сигнал, о котором говорил Адам, непрекращающийся писк? Чувство, которое остается?» И никакого забвения, никакого загробного блаженства, только этот голый сигнал передатчика: страх существования, хотя уже нет ни тела, которое можно утратить, ни души, которую можно погубить («И то и другое уж точно случится, — подумал я, — если не сумею простить Беату, ждет меня вечная погибель»), а кроме того, страх, от которого сводит астральные кишки.

— Бойся, Войтек, бойся, — вполголоса уговаривал я себя, — продолжай бояться, быть может, от этого легче заснешь.

Плечи у меня затекли, оттого что я весь был на нервах, на глаза наворачивались, но высыхали, так и не успевая пролиться, слезы, и — нигде никого, к кому можно прижаться в поисках

утешения; «Ты сам это все старательно устроил, — мысленно обвинял я себя, — когда там, в Национальной библиотеке, предпочел жене рыжего покойника тысяча девятьсот восемнадцатого года смерти». И был я раздавлен страхом и осужден даже в собственных глазах. «Это вовсе не чувство вины, — думал я, свернувшись под одеялом в позе эмбриона, — это всего лишь импульсы потусторонних электродов». И я резко распрямился. Животное, распластанное под дланью Небесного Хирурга.

Не помню, как я пережил субботу.

А в воскресенье утром я услышал звяканье ключей и звук открываемого замка.

16

Меня разбудило звяканье ключей и звук отпираемого замка; я взглянул на часы, было без нескольких минут одиннадцать. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — услышал я неуверенный голос Беаты. Я сел на кровати. Она стояла, прислонясь к косяку, в дверях комнаты. Чуть ли не с минуту мы молча смотрели друг на друга. Я машинально пригладил волосы, ночью они, как обычно, встали ирокезским коком плюс несколько гори-

зонтальных антенн над ушами. Я являл собой персонаж из «Маппет-шоу», а передо мной стояла красивая женщина в расстегнутом черном пальто с меховым воротником; под пальто белый блейзер в синюю полоску, а под ним груди, которые я столько раз ласкал и которых мне так недоставало; «Мне все приснилось, — мелькнуло у меня в голове, — она просто выходила за булочками». Однако лицо у нее было очень серьезное, серое, и, когда она прикусила губу, я понял, что ничего приятного не услышу. Во всяком случае булочками тут и не пахло.

— Извини, что пришла, но мне нужно забрать кое-какие вещи, — сказала она. — Я тебя разбудила?

— Нет, — машинально ответил я.

Она чуть заметно улыбнулась.

— Ну я же вижу. Я сниму на минутку пальто. — И она исчезла в прихожей.

Я вскочил и галопом помчался в ванную за халатом; на бегу у меня мелькнула мысль: как быстро возвращается стыд, ведь мы с ней прекрасно знали тела друг друга, сколько раз расхаживали по квартире нагишом, а теперь — месяц-то всего прошел, меньше, чем она пробыла два года назад в Соединенных Штатах, — и я уже не желаю,

чтобы она видела меня в пижаме, причем вовсе не из-за себя, а из-за нее, так как мне показалось, что это ее будет стеснять. Я поставил воду для кофе, принялся искать сигареты, которые вчера вечером куда-то швырнул, потому что у кровати их не было. Беата в это время шуровала по полкам в другой комнате; она принесла с собой большую туристскую сумку и что-то туда бросала; я демонстративно не смотрел в ту сторону, «Можешь все вынести», — подумал я с презрением. Она что-то произнесла.

— Прости, что ты сказала?

— Сказала, что Анка приглашает на обмывание диплома, наконец-то она защитилась. Приглашает нас обоих, то есть и тебя тоже, даже тебя прежде всего, вот что я хотела сказать. Ей очень важно, чтобы ты пришел. Если мое присутствие тебе будет мешать, я могу не прийти, тем более что у меня и объяснение найдется: Богдан как раз в это время уезжает на конференцию в Вену и заказал два места в гостинице, так что никакого *кви про кво* не будет. А можем прийти оба, это я оставляю на твое решение. — Она выпрямилась, взяв что-то с нижней полки. — Извини, я, наверное, должна была предупредить тебя, что приду. Сегодня я уже отдам тебе ключи.

Я так и не нашел початой пачки сигарет, потому достал из буфета новую. Залил кипятком кофе, закурил.

— Чего-нибудь будешь пить?

— Если сделаешь, с удовольствием. — Она посмотрела на меня странным взглядом, я мог бы даже сказать, с благодарностью. Растроганно. Вид у нее был усталый; жаль мне ее стало, а она стояла передо мной, сжимая в руке шорты, которые брала в отпуск; я вспомнил, что, когда она надела их в первый раз, в июле прошлого года, и закружилась по комнате, спрашивая, идут ли они ей, я вместо ответа схватил ее в объятия, повалил на ковер и сорвал эти шорты, торопясь как можно скорее войти в нее, чтобы она как можно скорее обхватила меня своими стройными ногами.

Она поймала мой взгляд, бросила шорты в сумку и покачала головой. Обошла меня и прошла в кухню. Я поплелся за ней, ощущая страшную усталость.

— Кофе или чаю? — уточнил я, потом насыпал «Нескафе» ровно столько, сколько она любила, и налил кипятка. Мы оба молчали.

— Боюсь, что прозвучит это как страшное нахальство, — произнесла она наконец, — но не могли бы мы написать совместную налоговую

декларацию за этот год? Я заплачу разницу. Понимаешь, если мы будем подавать декларации по отдельности, мне придется платить гораздо больше.

— Ясно, — кивнул я, завернулся в халат (подарок Беаты) и отпил глоток кофе. Беату раздражало, что я никогда не дожидаюсь, чтобы кофе остыл, и поэтому с шумом хлебаю. К чертовой матери! А вот буду хлебать. Теперь уже имею право.

— Когда хочешь подать заявление на развод? — спросила она.

Я пожал плечами.

— Мне не горит.

— Мне тоже, — сказала она, но как-то слишком поспешно, отчего я внимательно взглянул на нее. Она повернулась ко мне спиной, не вставая, открыла холодильник и достала пакет молока. Потом вдруг замерла в нерешительности. — Можно налить?

— Что за вопрос? — ответил я и с недоумением услышал следующие свои слова: — Это твой дом.

Она бросила на меня быстрый взгляд. У нее были такие печальные глаза, и под глазами тени, а от носа к уголкам рта шли как бы тонюсенькие линии. Она чуть изменила позу на стуле.

— Не вполне так, но все равно спасибо, —

достаточно официальным тоном произнесла она. — Страшно холодно.

Опять настала тишина, нарушаемая только моим шумным питьем кофе; еще месяц назад Беата высказалась бы по этому поводу, но сейчас страдала молча, а поскольку это стало уже смахивать на демонстрацию с моей стороны, я поставил кружку на стол. Пусть еще чуток остынет. А что дальше? Не обязан ли я сделать нечто большее и чуть более неординарное? Мне вспомнился взгляд, каким несколько минут назад она посмотрела на эти свои шорты, и я подумал, что она считает меня типом, которого возбуждает только ее тело, и я принял решение вырваться из этой роли, сорвать с себя эту личину, потому что я по-настоящему любил ее. Все эти годы она так много значила для меня. Я посмотрел в окно, наверное, в первый раз сегодня: там спокойно — так спокойно! — шел снег, и я ощутил какой-то внутренний покой и наиспокойнейшим тоном на свете поинтересовался:

— Можно задать тебе один вопрос? Как ты сейчас оцениваешь свое решение?

Она обняла себя руками, словно ей стало еще холоднее. С минуту у меня было ощущение, что она сейчас встанет и уйдет. Нет, не резко, не

внезапно, а совершенно естественно, словно она просто идет по своим делам, или как видение, покидающее чужой сон. Потом она взяла кружку с кофе и слегка поморщилась.

— Так себе.

— А что это значит? — слишком, пожалуй, быстро спросил я.

— Ну что я могу сказать тебе? Именно тебе?... Я ищу квартиру.

— Что?!

Она взглянула на меня враждебно, откровенно враждебно, как будто, задав этот вопрос, я совершил нечто скверное, нечто гораздо худшее, чем когда-либо прежде. Последний раз она так посмотрела на меня, когда я отказался идти с нею на какое-то торжество, которое устраивал ее шеф; я тогда в спешке писал доклад, и все говорило за то, что, если я пойду этим вечером с ней, доклад останется без ударного завершения, а тут был вопрос престижа, польско-французская конференция в Академии наук, так что действительно в последний момент и, естественно, штреки обещаниям я сказал ей «нет», и она вот точно так же посмотрела на меня и вышла, а ведь там же, только сейчас дошло до меня, был этот Богдан; Господи, какой же я все-таки был дурак; но ведь

сейчас, у меня всего-навсего вырвалось «Что?», в конце концов, это так естественно — воскликнуть «Что?», узнав, что жена через месяц уходит от любовника, который разрушил мой брак.

— Что «Что»? — со злостью бросила она. — Я переезжаю от Богдана, хочу жить одна. Вот вы где все у меня! Как любовник, если хочешь знать, он великолепен, ну а как мужчина для обыденной жизни невыносим. Ты думаешь, это так просто уйти от одного к другому? Думаешь, я ничего не чувствую? Так что все, к твоему сведению, полетело в задницу. Извини, — неожиданно сказала она. — Но у тебя нет оснований радоваться. Это вовсе не твоя вина.

Сейчас у меня было несколько секунд на размышление. Я откашлялся и тихо спросил:

— Так может, ты хочешь вернуться?

Естественно, я тут же понял, что совершил ошибку: в глубине души я считал историю нашего брака завершенной, ситуацию — тягостной, но однозначной, и в этой ее однозначности захотел сыграть идеального сына собственной матери, исправить собственное мнение о себе, утвердиться в спокойствии, избавиться от ночных страхов, будто я что-то упустил. И вдруг кошмар возвратился, возвратилась неуверенность, что же будет

дальше, — а как удобно, комфортно было думать, что ничего, — и я уже не мог притворяться, будто способен простить, потому что не был я на это способен. Плевать мне было, что ей тяжело, потому что мне было не легче, и, в конце концов, не я привел нас к этой ситуации (и куда-то вдруг дематериализовалась библиотека из того последнего вечера, и никогда мне уже больше не услышать тот звонок, призывавший сдавать книги, при звуке которого я вдруг понял, что опять подвел ее, так как должен был вернуться раньше). Нет, прощения не было, однако я задал некий вопрос и теперь должен был ждать ответа как приговора.

— Извини, нет, — услышал я по истечении бесконечно длинной минуты *(о Господи, какое облегчение).* — Теперь мне будет легче. Мне бы хотелось, чтобы ты знал: независимо от того, что я тебе сказала… и что сделала, — уже тише добавила она, — я знала, что ты великодушен. Может быть, когда-нибудь, — я обнаружил, что она плачет, — ты захочешь меня. Такую, какая я на самом деле, а не такую, какой ты меня вообразил. Такую, какая я буду тогда. Извини. — Она достала из сумочки пачку гигиенических носовых платков и принялась нервно сражаться с оберткой. На кончике носа у нее висела слеза.

Что я должен был сейчас сказать? Потому что сейчас я должен был что-то сказать, тут никаких сомнений быть не могло. И одновременно я вдруг почувствовал себя ввергнутым в ту ситуацию месячной давности, в тот ночной разговор, и опять, как тогда, ощутил уязвленность и ярость, оттого что она обвиняет меня в том, будто я вижу ее воображаемую, а не такую, какая она на самом деле. Я был почти на сто процентов уверен, что любил ее такую, какая она есть. И все эти словеса, будто я влюбился в несуществующую женщину, по моему глубокому убеждению, были результатом действия защитного механизма, хитрой софистикой, чтобы уменьшить чувство вины и представить наш брак ошибкой с самого начала. И одновременно я не был в состоянии перейти от тихого вопроса: «Так, может, ты хочешь вернуться?» к поспешному: «Ах нет? Вот и замечательно», и потому я понес какую-то чушь насчет того, что я вовсе не отказываюсь от того, что она назвала великодушием, но я тоже говорил о далеком будущем и вовсе не обещал ей вот так, сразу, простить и забыть, а только пытался подсказать ей, что, несмотря ни на что, неплохо будет проверить, что я чувствую, одним словом, чтобы она не решала за меня, а пришла и открыто спросила, что про-

исходит со мной. У меня. Я нес все это и ощущал себя законченной свиньей. Я врал, и в этом не было ни малейшего сомнения. В конце концов я встал и спрятался в комнате, объяснив себе это тем, что я уязвлен гораздо сильнее, чем мне казалось, так что пусть забирает все, что хочет, и скорее уходит. «Ну почему я не удержался от всего этого?» — размышлял я, упершись взглядом в стену, и тут услышал ее голос:

— Ключи я оставила около телефона.

— Кретин несчастный! — вслух обратился я к себе, но тут представил стоящую передо мной маму и добавил: — В хорошенькое же говно ты меня втравила (на самом деле я никогда бы при ней не произнес ничего подобного).

И почувствовал, что лопну, если немедленно кому-нибудь об этом не расскажу, если не выговорюсь, не отомщу себе, Беате, моей чертовой католичке-мамочке и даже отцу, у которого был роман с какой-то бабой и у которого не хватило отваги пойти в нем до конца. Или вообще не начинать. Я поспешно стал одеваться, руки у меня тряслись, и я проклинал вывернутую штанину кальсон, потом ремень, который я с такой силой выдергивал из синих джинсов, что пряжка осталась у меня в руке. Я должен был перед кем-то

выговориться. Должен был выговориться перед кем-то. Но когда захлопнул дверь и побежал к трамваю, я совершенно ясно осознал: выговориться я должен перед Адамом.

17

Выскочив из трамвая, я представил, какая у меня будет физиономия, если Адама не окажется в школе, и тут же ускорил шаг. А потом побежал. «Почему сперва было не позвонить ему, — корил я себя, входя в школу, — почему я всегда делаю не то, что нужно?» Лестница скрипела подо мной, словно собираясь провалиться, дабы прикончить мою никчемную жизнь, потому что, если по правде, я был о себе слишком высокого мнения, всегда слишком высокого, а теперь открылось, что я играю в какой-то издевательской комедии: вроде бы больно, а надо смеяться. Если только взглянуть со стороны. Извне. *«Его бросила жена, появился „третий“»*. «Господи, — думал я, — да это же тема для телесериала». Начать жить внутри телесериала: приключение для идиота. Настоящего идиота, который даже в телесериале не способен порядочно сыграть, потому что само предложение «может, все-таки вернешься» (я

злобно взвыл) — это даже не тот уровень, это какой-то глуповатый ужастик, окончательная демонстрация собственного ничтожества себе и ей, ибо если Беата разгадала мою игру, то считает меня кретином, а если не разгадала и верит в это якобы великодушие, то заблуждается по части меня куда сильней, чем я заблуждался насчет нее. Тогда, когда я думал, что она никогда меня не бросит… Ну разве что только она чудовище, демоническая мастерица манипуляций. Я утешаю ее. Потом соблазняю и тем самым аннулирую зло, которое произошло, ей нет нужды просить прощения, каяться, потому что инициативу беру на себя я, а она опять только уступила мне… Она? Беата?

На втором этаже я услышал звуки пианино. «Господи, — подумал я, — хоть тут мне повезло».

Адам, уткнувшись в ноты, очень медленно играл что-то, звучавшее, как Бах; видимо, это его здорово захватило, потому что он только бросил взгляд на меня, хрипло дышащего и окруженного клубами потного тумана — прямо тебе конь в осеннем пальто, — и снова склонился над клавиатурой. Даже сгорбился. Я, стараясь привести дыхание в норму, хрипел и кашлял, как старый чахоточник, а он сыграл мотив еще раз, но быст-

рее, потом еще раз, значительно быстрее, после чего откинулся и вполоборота смотрел на меня с иронической, как мне показалось, усмешкой. «Ну и выбрал я себе наперсника», — с негодованием подумал я, но ведь кому-нибудь другому пришлось бы слишком многое объяснять, а вот ему — куда как меньше, все уложится в несколько предложений. Я снял пальто, бросил на парту, вытер шарфом лоб. Тишина обескураживающе подействовала на меня; я понял, что не могу прокричать ему, что Беата была у меня и я… — не та манера, не та атмосфера, сама собой создающаяся вокруг него. Я открыл окно и закурил. С улицы ворвалось хрипение «трабанта», которого кто-то отчаянно пытался завести; с лязгом проехал трамвай; женщина из двухэтажного домика напротив кричала что-то переходящему улицу мужчине. Холодный воздух несколько отрезвил меня. Я долго так стоял, не произнося ни слова. Еще давился дымом, но уже ловил нужную форму — образ Рика: сигарета между средним и большим пальцами левой руки, глаза прищурены, кривоватая ухмылка. Адам опять проиграл тот же фрагмент мелодии.

— Давно я к этому не возвращался, — сообщил он, — очень интересно задумано. Мелодическая

линия состоит из двух пассажей, которые связывает только последнее трезвучие. На волосок от фальши. Композиторская лихость.

Я пропустил его слова мимо ушей. Мне было не до выслушивания восторженных оценок Баха или еще какого-нибудь там Телемана.[35] Я затянулся еще раза два. «Трабант» наконец отъехал, испуская клубы синего дыма. Я щелчком выбросил окурок на улицу и закрыл окно.

И все равно я не мог начать исповедываться ему.

— Послушай-ка, — произнес я. Надо сказать, играть он тут же прекратил. — У тебя не бывает иногда впечатления, что в детстве нас учат принципам, а потом, когда мы пытаемся воплотить их в жизнь, то часто приносим очень много вреда? Потому как мы пытаемся реализовать эти принципы, а страдают от наших неудачных попыток не мы, а наши ближние.

Он по-прежнему сидел ко мне спиной, как будто меня вообще здесь не было. Как будто он меня не слышал. Но в конце концов он отозвался:

— Ты в детстве был церковной служкой?

— Был.

---

[35] Примечания: 35

Телеман Георг Филипп (1681–1727) — немецкий композитор.

— Чувствуется.

После такого я потянулся к пальто. Я долго надевал его, потом накручивал шарф, вышел из класса и медленно стал спускаться на первый этаж. «Неплохой получился разговор с братской душой». Я попытался жалеть себя, но потом мне расхотелось. Вернее сказать, мне хотелось блевать. И я представил себе, как меня выворачивает, как я выблевываю себя, так что в конце от меня остается пустая оболочка, как в мультфильме, кожаный мешок, который кто-то потом сминает в ком. Кто угодно, да хотя бы Адам. Только на улице я совершенно неожиданно обнаружил, что он выскочил следом за мной и теперь молча шагает рядом. Поэтому я не повернул к трамваю, а двинулся по трассе, которую мы протоптали на прошлой неделе, к «Доротке». Мы шли и молчали.

— Ты извини, — наконец промолвил он, — но я скверно реагирую на такие тексты. Неестественные.

— Вот я и хотел поговорить о неестественности. — Это должно было прозвучать иронически, но, похоже, не получилось. — Я тут как раз совершил нечто неестественное.

— Лучшего эксперта, чем я, тебе не найти. Толь-

ко вот одна беда с тобой: ты все время говоришь так, словно по книжке читаешь. — Адам некоторое время помолчал. — Ну позлись, позлись на меня, и тебе станет легче.

— Нет сил.

— Тогда позлись на нее. Наверно, это ее вина.

Я остановился и взглянул ему в лицо. Ну да, ему не пришлось долго напрягать мозги, чтобы догадаться. Он прикрыл лицо, как боксер, кулаками. Я со злостью фыркнул: шут. Он опустил руки. Мы пошли дальше.

— Знаешь, чья это вина? — спросил я. — Моей матушки. Я в очередной раз сыграл роль послушного сына. Надеюсь, в последний. С одной стороны, я отвергаю ее образ мышления, ее стиль жизни, а с другой… Я сейчас действительно не знаю, что делать, так как никогда не предвидел подобной ситуации, поэтому меня очень легко направлять. А она католичка больше, чем примас и Папа, вместе взятые, — я схватился за голову. — Школа лицемерия, курва. Школа принципов, которые где-то высоко над нашими головами: начни только притворяться, и все у тебя тогда будет сходиться.

— Я знал пару-другую славных католиков, если речь об этом.

— Я тоже. И что из того? Они, полагаю, были бы ничуть не хуже, если бы их хоть как-то воспитывали. А для большинства этот образ мышления… — я умолк, так как осознал, что несу чушь. Когда ты зол, лучше уж швыряться «курвами», тогда хотя бы никому не покажется, что в твоих словах заключено некое сообщение, кроме сообщения о состоянии тела. Напряженного, возбужденного. Это все равно что лай.

— А знаешь, — произнес Адам через несколько шагов, — принципы, наверно, неплохи, если они формируют то, что исходит из тебя. По крайней мере, я это себе так объясняю. Понимаешь, что-то вроде фильтров, которые служат не для индуцирования сигнала, а для его формирования. Если сигнал исходит из тебя, ты можешь его сформировать, а можешь вообще не выпустить наружу. Задержать. А вот если ты внутри пустой или заполнен чем-то, чего вообще не принимаешь, и принципы начинают создавать вокруг тебя дымовую завесу… Ну, тогда ты становишься сукиным сыном. Тем большим, чем более благородную видимость удалось тебе создать. Сукиным сыном, приводящим в движение марионетку, изображающую ангела.

«Я просил тебя читать мне лекцию?…» Я чуть

было не сказал этого ему. А может, и сказал, уверенности тут у меня никакой нет.

— Как раз сегодня со мной такое и произошло, — буркнул я.

— А что, собственно?

— Да все из-за моей бывшей. Моей бывшей, бывшей у меня сегодня утром. «Мудак, даже в такую минуту не можешь удержаться, чтобы не скаламбурить», — подумал я, но ведь совсем еще недавно, несколько минут назад, мне хотелось оказаться где-нибудь *вовне*, снаружи, обрести дистанцию. Ну вот, дистанцию я обрел. — И теперь она уверена, что может вернуться, когда захочет. Знаешь, этакая минута декламации. С минуту я стоял на сцене. Потом начал отступать, выкручиваться, правда, в настоящее время она не намерена возвращаться… — кажется, я оправдывался. — Но я боюсь, что обидел ее.

Адам молчал. Мы уже были у кафе; через минуту опять закажем по пиву, и все будет, как неделю назад, только неделю назад я был стопроцентно несчастен, а сейчас ворошил свою вину, возможно, воображаемую, возможно, не такую уж и большую, — утешал я себя, — но все-таки вину, которая обременяла меня и которую следовало залить. И тут Адам задал мне вопрос, который,

как мне показалось, я не расслышал.

— Не понял.

— Я спрашиваю: и что из того?

— Как это, что из того? Ты что, не понимаешь, что нельзя, не полагается, невозможно, — я так разнервничался, что начал заикаться, — перебрасываться бедой, как горячей картофелиной? Сперва она мне, теперь я ей.

— Ну а если кого-то картофелина эта не обжигает?

— Не заводи меня.

— Отлично.

— Адам, я на пределе.

— Ну давай. Что, врежешь мне?

Мы стояли перед входом в кафе лицом к лицу, как два петуха перед дракой. «Ментальный реслинг, — мелькнуло у меня в голове. — Ведь он не хочет причинить мне зла. И я ему тоже». Я сделал глубокий вдох, потом еще один.

— Дурака из меня делаешь? — устало промолвил я.

— Да нет, — ответил он, — просто хочу, чтобы ты наконец понял. Ты что, не понимаешь, в чем дело с этим сочувствием? В чем состоит трюк?

— Какой трюк?

— А такой трюк, дурачина, что ты сочувству-

ешь кому-то, поскольку думаешь, будто его лицо реагирует точно так же, как твое. А если оно вообще ничего не чувствует? Или сморщивается, как перед плачем, когда весело, и смеется, когда больно? — В голосе Адама вдруг зазвучала некая безуминка, он смотрел на меня, как в тот первый раз, когда я застал его за пианино. — А если это лицо только видимость, что тогда?

(«Как это не чувствует? Женщина плачет при мне, говорит что-то о великодушии, а я мечтаю только о том, чтобы поскорее она ушла…»)

— Я хорошо знаю это лицо.

Возможно, я произнес это слишком тихо. Возможно, он не услышал.

— А если я точно знаю, что это видимость? — Голос его поднялся еще выше. Он огляделся. Неподалеку остановилась женщина с маленьким ребенком, наверное с внуком, и внимательно присматривалась к нам. — Ну, в чем дело? — бросил он ей. Она быстро отошла. Он повернулся ко мне и уже спокойнее продолжил: — А если я знаю, что это может быть видимостью?

— Лицо моей жены?

— Видимость лица. Видимость твоей жены. Представь себе на минутку, что ты совершенно один. Никого у тебя не было. Ты говорил сам с

собой… У тебя по-прежнему угрызения?

— К чему ты ведешь?

И тогда он начал мне рассказывать. Сейчас мне кажется, будто он говорил целую неделю, почти без перерыва. Мы зашли в «Доротку», мы неоднократно заходили в нее или ехали к нему либо ко мне; пили, и трезвели, и снова пили, а даты хаотически менялись, потому что мы перестали различать дни и ночи. Я добирался до дома, бросался в постель, потом просыпался, делал крепкий кофе и записывал — сперва для интереса, потом, чтобы не запутаться, и, наконец, чтобы не забыть. Некоторые сцены он пересказывал мне по нескольку раз, другие умалчивал, и мне приходилось самому домысливать продолжение, связывать узелки. Некоторые фразы я запомнил в точности — вместе с мелодией его голоса, мимикой, жестами. И как раз благодаря им до меня стало доходить нечто совершенно идиотское, нечто, с чем я никак не мог согласиться: что Адам говорит правду.

Часть вторая

Ибо не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю.

Послание к римлянам Святого апостола Павла, 7:15

1

Адаму было тогда двадцать пять лет, он только что закончил Музыкальную академию по классу фортепьяно. О нем говорили как об одном из лучших пианистов нескольких последних выпусков, его высоко ценил профессор Ц., прославленный музыкальный педагог, и все считали, что уж если у кого и есть шансы на шопеновском конкурсе, который должен был состояться в следующем году, то только у Адама. В июле планировался отбор в польскую группу участников конкурса, и Адам уже с прошлого сезона упражнялся в обязательном репертуаре: восемь ноктюрнов из сочинения 48, три этюда (в том числе и «Революционный», позволяющий ему продемон-

стрировать мощное туше), полонез ля-бемоль, фа-минорную фантазию и скерцо си-минор, знаменитый мотив колядки в котором в исполнении Адама когда-то растрогал его мать до слез, соната с траурным маршем и Первый концерт. Мать подчинила ритм жизни всего дома распорядку его репетиций, выхватывала у него чашки после кофе, чтобы ему не пришло в голову помыть их за собой, взяла на себя — прежде чем он сумел это осознать — исполнение его распорядка дня и в одиннадцать загоняла в постель. Иногда, сидя за роялем, он слышал, как она отказывает позвонившим друзьям позвать его к телефону, и, когда ему наконец удавалось с ними поговорить, он иронически называл ее «мой *coach*»,[36] хотя на самом деле она была нечто больше: мать в одном лице исполняла роли импресарио, тренера, надзирателя и служанки. Все это вызывало у Адама довольно неясные чувства; с тех пор как перед окончанием школы мать устроила ему аудиенцию у профессора Ц. и тот подтвердил исключительный талант мальчика, жизнь Адама стала неслыханно легкой, но зато и чудовищно однообразной. Когда он слышал от друга-скри-

[36] Примечания: 36
Тренер *(англ.).*

пача, что ему не на что жить в Варшаве, когда игрались свадьбы между однокурсниками и однокурсницами, когда Ева, лирическое сопрано, потеряла голос в результате — как рассказывали в коридорах — нервной реакции на обыск в доме, Адам отдавал себе отчет, что пребывает как бы в комфортабельной камере-одиночке «со столом и стиркой», в сравнении с которой ритм жизни в Давосе из любимой отцовской книги Манна[37] выглядел лихорадочной суетой.

«Кому много дано, с того много и спросится, — говорила ему мать, — и ничто не оправдает тебя, если ты не разовьешь талант, дарованный тебе Богом, если на Его безмерную милость не ответишь бесконечным трудом. Адась, обед. Адась, упражнения. Адась, полчаса отдыха. Адась, я достала на радио запись, о которой ты просил, можно, я послушаю ее с тобой? — И наконец скупо отмеренная похвала, которой она с детства мобилизовала его: — Это красиво, Адась. Но помни, ты никогда не смеешь сказать себе, что это невозможно сыграть еще красивей».

Тетя Реня была низенькая и пузатая. У меня никак не получалось увидеть в ней ту девочку,

[37] Примечания: 37

Имеется в виду роман «Волшебная гора» (1924) Томаса Манна (1875–1955).

которая через площадь Нарутовича вывела из Варшавы едва держащегося на ногах повстанца, уверяя останавливавших их немцев, что это ее больной кузен, страдающий катаром кишечника. Ее родители еще до войны шутили, что их дочка приглядела себе Янека в мужья; ей было тогда десять лет, и она ежедневно стояла, приникнув лицом к прутьям решетчатой ограды их виллы, чтобы с ней поздоровался соседский мальчик, возвращающийся после уроков из гимназии. Они жили по соседству в поселке Сташица — группе домов, построенных вдоль границы бывшего аэродрома, между зелеными Мокотовскими полями и зелеными Фильтрами — жили в буколической атмосфере заслуженного благосостояния. Во вторую неделю восстания — родители Янека уехали на все лето под Варшаву и не успели вернуться, — когда уже было известно, что немцы выселяют из города гражданское население, Реня увидела, как он, грязный и окровавленный, стоит, привалясь к их воротам. Его отряд разбили где-то в районе площади Политехники. Рене было пятнадцать лет, выглядела она совершенной девочкой, великолепно говорила по-немецки; они с матерью (отца она уже потеряла, в сорок третьем его заключили в Освенцим,

где он и погиб) пришли к выводу, что у Янека есть шанс, только если он будет выходить с ней. Расплакалась она только в вагоне поезда, который отходил от станции Раковец. И так было уже до конца жизни: Янек оставался под ее опекой, кротко соглашался с ее мнением, особенно после того как в пятьдесят шестом году вышел на свободу с тяжелой болезнью почек, которая каждый очередной год жизни заставляла воспринимать как дар небес. Естественным образом и ребенок, которого она родила в тридцать лет, — кажется, тогда и утратив стройность фигуры, — подпал под ее нежную авторитарную власть. «Мир стал слишком омерзителен, чтобы участвовать в его строительстве, — говорила тетя Реня, — можно лишь дать униженным людям немножко красоты». И потому они воспитали сына пианистом; вернее, она его воспитала, потому что дядя Янек только молча кивал и доброжелательно улыбался за очками с толстыми стеклами. Чтобы быть рядом с Адамом, тетя Реня устраивалась на службу в его школы — секретаршей в общеобразовательной, помощницей библиотекарши в лицее; ей удалось даже найти работу в деканате Музыкальной академии. «Ты всем пожертвовала ради своих мужчин», — говорила Люся, двоюродная

сестра Рени. «Просто я воспитываю сына, — отвечала та, — а Янек… Я еще в начальной школе решила, что выйду за него».

Адам, вне всяких сомнений, взбунтовался бы, но он действительно любил играть; он отдавал себе отчет, что мать открыла перед ним трудную дорогу, но зато благородно отделенную от той беспроблемной серости, в которой пребывали его ровесники. Уже в детстве миг, когда он начинал выступление, поднимал его в собственных глазах, сосредоточивал на нем всеобщее внимание, придавал уверенности, которой ему так недоставало в обыденных условиях. Рояль казался ему диким, капризным животным, которого взрослым не удалось укротить, но которое Адаму — в отличие от них — виделось предсказуемым, смирным, если отсиживать за клавиатурой определенное количество часов упражнений. Уже в начале учебы в лицее он понял, что талант его выходит за мерки посредственности, и два года прожил, преисполненный эйфорической гордыней, которая отделила его от одноклассников. Тогда-то на книжной полке у родителей он высмотрел «Дневник» Гомбровича[38] в обложке с мелким

[38] Примечания: 38

Гомбрович Витольд (1904–1969) — выдающийся польский писатель, с 1939 г. жил в эмиграции в Аргентине, а затем во Франции.

серым узором, имитирующим переплетение ниток холстины, и слова, которые он увидел на первой странице (остальное он прочитал много лет спустя): «Понедельник: я. Вторник: я. Среда: я.», — показались ему идеальным девизом его жизни. Присмирел он благодаря девочкам, которые как ни странно были не способны оценить его исключительность и выбирали других — глупых, не таких талантливых, раздражающих своей ленью и шумливостью; правда, мать поначалу поддерживала Адама в его печалях, говорила, что если женщина не может его оценить, то, наверно, она недостойна его внимания, но отец раскричался на нее — эту сцену невозможно было не запомнить, Адам никогда ни до, ни после не слышал, чтобы отец кричал на мать; он призывал ее опомниться, потому что она воспитывает монстра, и Адам остался один на один со своей проблемой. Он не утратил веры в свою особость, но начал понимать, что следует скрывать это, нужно давать ближним время распознать, с кем они имеют дело, ибо люди любят чувствовать себя открывателями таланта, любят испытывать изумление, оттого что непримечательный, скромный мальчик способен заставить их сосредоточить внимание, возбудить в них чувства,

к которым без него они не были бы способны. Скромный…

Если бы они только знали, какие бездны самомнения он старательно скрывает, если бы слышали все те интервью, которые он дает себе в ванной, рецензии, которые произносит перед зеркалом, воплощаясь в репортеров крупнейших мировых телекомпаний, то, наверное, убежали бы, прежде чем раздались первые звуки, рожденные ударами его пальцев по клавишам. Он метался между гордыней и неуверенностью, в каком-то смысле презирал людей, которые начали принимать за чистую монету его немногословие, и в то же время отдавал себе отчет, что зависит от их мнения и что, если бы они равнодушно воспринимали его игру, это его ранило бы и, возможно, ранило бы смертельно. Однако симуляция неведения о собственных способностях стала приносить плоды. К нему опять стали нормально относиться, и даже — в тот период жизни это событие представлялось ему переломным — соученица по музыкальной школе позволила ему себя поцеловать, словно в награду за труд укрощения своего любимого «я». А потом наступили каникулы и те несколько дней, проведенных над «Песней Роксаны», когда гибкая Барбара пробе-

гала пальцами по грифу скрипки над самой его головой, и Адам верил, что она одарит его собой, подтвердит их музыкальное взаимопонимание нежным прикосновением, допущением к тайне своих благоуханных стройных бедер; но когда он увидел ее вечером под деревом с тем мужчиной, для него это стало потрясением, и он решил, что отныне навсегда останется один, раз даже столь совершенное и впечатлительное существо предпочло длинноволосого и, вне всяких сомнений, глупого викинга, с пренебрежением отнеслась к его грустному, как у таксы, взгляду и дрожащему голосу. Он так страстно жаждал женщину, хотя даже не знал, какую именно. И как раз тогда мать отвела его к профессору Ц., который заявил, что лично займется Адамом, потому что у мальчика исключительный лирический талант. «И одновременно неслыханная динамика при фортиссимо. Редкая шкала возможностей, можете мне поверить». И Адам подумал, что существует, видно, принцип компенсации и искусство, очевидно, бывает благосклонно только к отринутым. В отношениях с девушками он стал холоден и сдержан, маскируя тем самым неверие в себя. О себе он тогда думал как о переодетом в мирскую одежду монахе, а меж тем пресловутая жертва

состояла всего-навсего в выборе состязания, которое сулило ему успех, и в отказе от того, где он, как ему представлялось, был обречен на неудачу. «Вот если бы кто-нибудь меня подстрелил, если бы я был несчастным и моя жизнь была в опасности…» — с горечью думал он, глядя на добродушного и спокойного отца. В глазах женщин он не видел поощрения, а если и видел, то воспринимал за отраженный отблеск собственного восхищения. Но чем более одиноким чувствовал он себя, тем больше похвал слышал от своего обычно строгого преподавателя. Теперь уже профессор Ц. повторял: «Прекрасно, коллега. Но прошу запомнить: никогда нельзя говорить себе, что сыграть это еще прекраснее не удастся».

Именно в квартире профессора Ц. во время консультации Адам в марте 1984 года и познакомился с тем журналистом. От него приятно пахло «Олд Спайсом», волосы у него были с проседью и зубы подозрительно блестящие; прямо сказать, он вызывал раздражение своей светскостью, вернее, вызывал бы, если бы педагог не относился к нему с явной симпатией, и это изрядно ослабило заряд отрицательных эмоций моего кузена. Как объяснил журналист, он в предвидении «Prix Italia» будущего года готовит радиорепортаж о

пути польских пианистов к успеху. Адам почувствовал себя разоблаченным в своей вере в себя и потому фыркнул:

— Какой успех? Я еще не знаю даже, войду ли в группу участников конкурса.

Сгорбившийся профессор опустил голову еще ниже и с минуту покачивал ею; выглядело это так, словно в затылке у него что-то внезапно порвалось.

— Слушай, слушай, Адам, у пана редактора крайне интересный замысел.

А тот объяснил, что сознательно начинает записывать нескольких человек, часть из которых несомненно отпадет и, возможно, довольно скоро, но один или двое поднимутся достаточно высоко.

— И вот когда я буду знать, кто именно, я ликвидирую остальные записи, а вот эта единственная будет у меня задокументирована, как будто я был пифией, с самого начала знал. Короче говоря, не согласились бы вы, чтобы я время от времени вас сопровождал? Во время репетиций, встреч с друзьями, выступлений? Иногда я вас о чем-нибудь спрошу, возьму этакое небольшое интервью на ходу. Потому что этим человеком можете быть вы.

Последнюю фразу журналист произнес с нажимом. У Адама было ощущение, что сейчас любое слово может его выдать. И он инстинктивно взглянул на профессора.

— Я поступлю так, как сочтет нужным пан профессор.

Ц. опять задергал головой, на сей раз с удовлетворением.

— Договорились, пан Владек. Раз коллега Клещевский настолько любезен, что доверяет принятие решения мне, то вот вам мое согласие.

С Владеком уже на следующий день они перешли на «ты», тем паче что при близком знакомстве, как убедился Адам, журналист изрядно выигрывал. Он не был навязчив, прилично знал Шопена, ну а если в его высказываниях на темы пианистики недоставало пафоса, к каковому Адама приучила мать, то он компенсировал его недостаток обаянием. Клещевскому запомнилось, как Владек весьма иронически отозвался насчет «Революционного этюда» и того, что он звучит по нескольку раз в год в телевизионных новостях — и это было правда — каждое семнадцатое января, первое августа, первое сентября, и как его возмутил этот отзыв, а также как несколько часов спустя он увидел неподдельное волнение

в глазах журналиста, когда с неистовой силой сыграл ему этот осмеянный этюд. Так что когда в середине мая Владек пригласил Адама в Лесную Подкову, где он жил и где — как он объяснил — устраивал встречу друзей по случаю своего дня рождения («Адам, помоги мне это пережить, дата такая, что наполняет скорее меланхолией, нежели радостью»), мой кузен почти не колебался. Мать была недовольна, через две недели должен был состояться отбор. Но оба они прекрасно понимали, что Адам, по сути дела, полностью готов. И потому она только развела руками.

— Если хочешь, сынок, то поезжай, как-никак ты уже взрослый человек. И, надеюсь, ответственный.

И он поехал.

2

Итак, в середине мая 1984 года Адам, неожиданно освобожденный от каторги репетиций, от монастырского устава, за строгим соблюдением которого следила *coach,* ехал в вагоне пригородного поезда и не мог прийти в себя от удивления, что это действительно произошло. Иногда он бывал на каких-нибудь сборищах, его внутрен-

нее одиночество вовсе не означало полного выключения из жизни студентов, но чаще всего он принимал их у себя дома, где стараниями матери уже несколько лет существовало нечто вроде салона, перенесенного машиной времени из эпохи столетней давности. Но сейчас он был совершенно один, ехал на встречу, где никого не знал, кроме хозяина, к тому же за город — правда, всего в часе пути от дома, — и не мог припомнить, когда в последний раз выбирался с территории, ограниченной улицей Тувима, где он жил, Смольной, где давал ему консультации профессор, и Окольником, где находилась Академия. Нет, иногда ему случалось выезжать на выступления, и порой в места весьма экзотические, — не далее как два месяца назад он принял предложение дать концерт в кафе одного провинциального Дома культуры, которое оказалось заполнено наполовину любителями Шопена, наполовину людьми, которые не могли дождаться, когда он исчерпает свой репертуар, — но сегодняшняя поездка не имела ничего общего с его привычными занятиями, со всем тем, с чем он привык отождествлять себя. Он безучастно посматривал на отблески послеполуденного солнца на грязном стекле, слушал фальшиво звучащие звонки на

переездах, вдыхал резкий запах пропотевших тел. Наконец он вышел из поезда; после стольких лет он уже не помнил наверное, была ли это еще Подкова, — одна-две остановки от станции, вблизи которой находился знаменитый костел, куда время от времени он приезжал с родителями, когда учился в средней школе. Держа листок, на котором Владек нарисовал план, Адам пошел по широкой грунтовой дороге на север и, только когда его обогнала третья машина, догадался, что это подъезжают другие участники празднования дня рождения. Через несколько сотен метров машины сворачивали налево и останавливались перед воротами кирпичного дома, стоящего на невысоком пригорке; к нему вела каменная лестница между двумя маленькими прудами, откос был выложен дерном, тут и там торчали купы каких-то мелких растений, которые невежественному в садоводстве Адаму в первый момент показались микроскопическими кактусами. Между аккуратно подстриженными туями прогуливались незнакомые люди, в углу дымил мангал; в те времена все это выглядело просто роскошно. Смущенный Адам остановился у калитки. На него бросали взгляды, он машинально несколько раз наклонил голову и подумал, что

ведет себя как управляющий, который не вовремя пришел к пану помещику. Недоставало только мять в руках шапку. Тут из-за чьих-то голов взметнулась рука Владека.

— Привет, Адам! Как я рад, что ты приехал. Легко нашел?

И вот представленный таким образом обществу журналистом, чьи манеры вдруг, как и при первой встрече, стали выглядеть раздражительно совершенными, Адам вскоре прогуливался с какими-то людьми по саду, попивая коктейль — водку с колой и лимоном в пропорции, дающей надежду, что через некоторое время он почувствует себя совершенно непринужденно; кто-то угостил его красным «Мальборо», и Адам взял сигарету — для компании, а также и для того, чтобы не задумываться, а что делать со второй рукой (хотя клубы дыма, которые он выпускал, яснее ясного свидетельствовали, что он не курит). Разумеется, он не запоминал имена и профессии гостей, однако очень скоро сориентировался, что попал в тот круг, который его мать восприняла бы в лучшем случае с презрительной холодностью: бывший консул, возвратившийся с Кубы, заведующий отделом в «Орбисе», молодая супружеская пара, занимающая — если только он

правильно понял — весьма высокие должности в Главном управлении по физической культуре и спорту, болтливая дамочка, рассказывающая сплетни из отдела культуры ЦК и с оттенком материнской симпатии, лишь слегка пронизанной иронией, вспоминающая про какого-то Владека, которого лишь через добрых двадцать минут Адам идентифицировал как известного ему по газетам партийного бонзу товарища Сьвиргоня. Мать научила его относиться к политике презрительно-отчужденно, представителей власти воспринимала как оккупантов, однако утверждала, что поляки не слишком внимательно прочитали «Конрада Валенрода»[39] и отнюдь не она повинна в непреходящей актуальности слов: «Ты — раб, а у рабов оружие — коварство». С веселым возмущением восприняла она то, что отец после введения военного положения стал демонстративно покупать в газетном киоске «Жолнежа Вольности».[40] «Это может продлиться сто лет,

[39] Примечания: 39

«Конрад Валенрод» (1828) — поэма Адама Мицкевича. Ее герой Конрад Валенрод, великий магистр крестоносцев, на самом деле является литвином и во время похода крестоносцев на Литву способствует разгрому орденского войска.

[40] Примечания: 40

«Жолнеж Вольности» («Солдат Свободы») — в ПНР газета Министерства обороны, на первом этапе после введения военного положения стала своего рода официозом.

и я пытаюсь свыкнуться», — объяснял он всем подряд, не исключая и киоскера, — но сама, если не считать ежемесячных поездок в костел св. Станислава Костки на молебен за Отчизну, старалась не демонстрировать свою оппозиционность. Сына же она умоляла не подвергать ради красивого жеста свою карьеру угрозе. «Музыка Шопена помогла Фу-Цзуну вырваться из Китая, — объясняла она Адаму. — Орфом[41] мы восхищаемся вне зависимости от того, к чему принуждали его гитлеровцы. Кто сейчас вспоминает, что Кароян для них дирижировал? А здесь все-таки обстановка получше. Искусство существует дольше, чем то гуано, с которым нас пытаются смешать. В конце концов речь идет о духовности, за которую ты можешь сражаться, сидя за роялем, а не на улице». Так что, когда первый приступ отвращения прошел, Адам резонно решил, что раз уж он попал в зоопарк, есть смысл посмотреть на собранные здесь экспонаты, и он с вежливой улыбкой выслушивал собеседников, быть может даже тем охотнее, чем омерзительней они ему казались. То, что он многие годы скрывал веру в

[41] Примечания: 41

Орф Карл (1895–1982) — немецкий композитор, после прихода к власти Гитлера остался в Германии, его обвиняли в сотрудничестве с нацистским режимом.

свой талант, принесло неожиданные проценты: сейчас он просто-напросто скрывал немножко больше.

— Избрали Клеменса, — разглагольствовал под сенью туи старик, которого, как смутно припомнил Адам, ему представили как профессора Варшавского университета, — поскольку всем известно, что это великий ум, и в другое время он был бы превосходным ректором, но политического смысла в этом нет ни на грош. Министр просто не может согласиться с этим выбором. Такое взаимное накручивание и есть припирание власти к стенке, и опять никаких условий для работы не будет. А студенты только этого и ждут.

— Так вы считаете, будет наложено вето? — прервала его девушка. Она была изумительно стройная, одета в тонкий мохеровый свитерок цвета слоновой кости и белые брюки, причудливо контрастировавшие с ее длинными черными волосами, такими черными, что по ним постоянно пробегали фиолетовые отблески. У Адама возник мысленный образ клавиатуры рояля, дожидающейся первого прикосновения, готовой покориться пальцам, которые будут пробегать по ней в поисках звуков. Она мимолетно взглянула на него, и он увидел в ее зеленых глазах гнев; на

какую-то долю секунды взгляд ее смягчился, но она тут же отвернулась. — Вы же сами разрешили им выбирать, кого они хотят. Это должны были быть свободные выборы.

— Вы студентка?

— Нет. Но что это меняет?

— Я уважаю критицизм молодых. Однако, милая девушка, вся беда в том, что существует еще и реализм старых. Но самое худшее, что мои коллеги, а каждый из них, увы, годится, подобно мне, вам в деды, начинают поддаваться эмоциям, им не подобающим. Я вовсе не чувствую себя, вопреки вашим намекам, человеком, стоящим на стороне властей. Этот этап жизни мной уже пройден. Я лишь отказываю себе в праве не уважать реалии. Договоренность основывается отнюдь не на том, чтобы не принимать к сведению условия другой стороны… — Адам направился на террасу, где на столике стояли бутылки и можно было налить себе выпить. О девушке он подумал с симпатией. Видимо, она тут кого-то еще знала; тем не менее вызывало уважение то, что она была способна высказать собственное мнение, а вот Адам на это решиться не мог. Он предпочел послушать еще консула, который совсем недавно признался ему, что в октябре пятьдесят шестого

был в охране Гомулки,[42] когда тот через подвалы Дворца культуры шел на трибуну на площади Дефиляд. И он решил поподробнее выспросить про эти подвалы, так как по крайней мере до этого дня считал, что все рассказы о них высосаны из пальца. Однако консула он нигде не мог найти и подумал, что с террасы ему будут видны все гости, а заодно можно будет подлить себе. Когда он наполнил бокал, к нему подошел Владек.

— Ну как тебе, не скучаешь?

— Некоторые гости у тебя довольно странные, — вырвалось у Адама. И чтобы сгладить оплошность, он спросил: — А кто эта брюнетка, вон там?

— Лилька. Дочь моих старых друзей. Красивая девушка. Языкатая. Со своим мнением. Познакомить вас?

Адам, ставя бутылку, слегка улыбнулся.

— Может, чуть попозже… Шикарно у тебя тут.

— У тебя все это впереди. Я верю, что ты высоко пойдешь. Высоко и далеко, именно это я имею в виду. Карьера имеет значение тогда, когда

---

[42] Примечания: 42

В октябре 1956 г. после рабочих демонстраций и беспорядков в крупных польских городах Владислав Гомулка (1905–1982), до того сидевший в лагере, был назначен первым секретарем ЦК ПОРП; пробыл на этом посту до 1970 г., когда был смещен в результате выступлений рабочих в Гданьске.

делаешь то, во что веришь. И с этой точки зрения большинство из них, — журналист повел подбородком в сторону гостей, — жертвы фрустрации. Люди они как-никак интеллигентные и понимают, что все это не может не рухнуть. Я не участвую в «Солидарности», смолоду терпеть не могу революционных баб, а их там полным-полно, по крайней мере у нас на радио. Но уж коль нам столько лет долбят о логике истории и о том, что побеждает только экономически эффективная система, то сегодня трудно не сделать из этого соответствующие выводы. Я, впрочем, стараюсь быть в добрых отношениях со всеми. Знаешь, самое важное происходит, когда мы разговариваем или когда ты играешь. То есть в общении между людьми.

— Зачем ты мне это говоришь?

Журналист с усмешкой посмотрел на него.

— А ты не это хотел услышать? Ну да, ты — человек профессора, и потому, наверное, воспринимаешь эту компанию как паноптикум. Забавно, но временами я тоже так думаю. Ладно, держись, я спускаюсь вниз, кто-то еще приехал, — бросил журналист и сбежал по ступенькам, преувеличенно радостно распахивая объятия.

Адам остался один. От калитки к хозяину шла

женщина в меховой накидке; Адам с удивлением узнал в ней знаменитую пианистку Т.; следом за ней с достоинством шествовал ее муж, музыкальный критик. Клещевский инстинктивно попятился, словно ему было неприятно видеть знакомых, хотя он не сумел бы объяснить причину этого. К счастью, Владек повел их в сторону мангала. Консула по-прежнему не было видно, но, по правде, искал Адам вовсе не его; стройная девушка в светлом тем временем отошла от своего собеседника и одиноко бродила по саду. Что-то было в ней необыкновенно захватывающее, она шла, точно кралась, держа в длинных пальцах высокий бокал («Вино, наверно, пьет», — подумал Адам). Ему вспомнилось, как у нее изменилось выражение глаз, когда она бросила на него взгляд; у него создалось впечатление, что темно-зеленая радужная оболочка внезапно посветлела, почти до белизны, хотя он понимал, что это невозможно, разве что солнце осветило ее как-то по-особенному. Лицо, которое сразу запоминается: что-то от опереточной звезды, что-то от парикмахерши, надменность с примесью какой-то неопределенной испорченности. Сейчас она направилась в сторону лестницы и, когда Адама уже охватило жаром, неожиданно

свернула и присела на низкой оградке, окаймляющей прудик. Она сидела и гладила ладошкой поверхность воды, всецело предавшись этому занятию, как будто ничего более интересного на свете нет. И тем не менее — это внутренне угадал Адам — она словно бы знала, что кто-то смотрит на нее. В свете солнца, которое начало уже скрываться за вершинами деревьев, что-то блеснуло у нее на лодыжке, наверно цепочка. На ногах у нее были черные туфли на высоком каблуке; при облегающих белых брюках это выглядело вызывающе, возможно, даже в дурном вкусе; «Она словно русская княжна, деклассировавшаяся в эмиграции», — внезапно подумал Адам. И когда с высоты он поглядывал на ее ягодицы, круглящиеся над каменным обрамлением водоема, то чувствовал себя так, словно он подглядывает; девушка изменила позу — как будто хотела, чтобы ею восхищались, — и отклонилась назад, демонстрируя маленькие груди, вызывающе вырисовывающиеся под свитером. Адам поставил бокал, полуосознанно относя охватившее его возбуждение на счет спиртного, но нет, ему хотелось, чтобы оно длилось, поэтому он снова взял его и допил все, что в нем оставалось. Краем глаза он увидел, что пани Т. стоит у подножия лестницы и

смотрит в его сторону. И она была причиной, да, разумеется, лишь она была причиной того, что он стал медленно спускаться, но только откуда эта внезапная грусть, что способна только красиво переливаться, откуда эта грусть, что способна переливаться так красиво?

— И вы здесь! — воскликнула, глядя на него, пани Т. — Как мило, что вы вышли в свет, надо, надо, пан Збышек, бывать среди людей.

— Пан Адам, — машинально поправил он ее и, чтобы не видеть ее смущения, с глубоким поклоном подхватил ее протянутую руку.

— Ах, извините, пан Адам. Здравствуйте еще раз. — И Адам с веселым удивлением почувствовал, что она целует его в лоб. — Вот видите, к чему приводит то, что мы так редко видимся. Кстати, место в группе уже за вами или пока еще нет?

Черноволосая девушка смотрела на эту сцену со стороны; Адам, ведя какой-то необязательный разговор, все время помнил об этом. Сперва он надеялся, что пианистка скажет что-нибудь такое, чтобы девушка заинтересовалась им, например, вспомнит о его выдающихся способностях, одним словом, косвенно представит его. Но они с пани Т. прекрасно знали, чем оба занимаются, и трудно было ожидать, что он, как в скверном

фильме, услышит что-нибудь вроде: «А ведь вы, пан Клещевский, подаете большие надежды как исполнитель Шопена». Так что ничего подобного не произошло, только подошел Владек.

— А, так вы знакомы, — бросил он и уже уходил с пани Т., чтобы представить ей кого-то, кто хотел, как выразился он, «выразить свое восхищение», но вдруг та девушка, по-прежнему сидящая, на оградке, бросила:

— Владек, а кто этот красавчик?

Адам почувствовал, что ему становится еще жарче, так как она явно смотрела на него.

3

— И вот мы стоим напротив друг друга, и Владек точно так, как мне и хотелось, рассказывает обо мне, и из его слов следует, что я являюсь наследником Малцужиньского, Рубинштейна и Падеревского,[43] вместе взятых. Я машинально пробормотал текст, какой обычно говорю в таких случаях, и Владек отвалил. Она протянула мне руку, в ее жесте поначалу была какая-то

[43] Примечания: 43

Малцужиньский Витольд (1914–1977), Рубинштейн Артур (1887–1982), Падеревский Игнацы Ян (1860–1941) — выдающиеся пианисты польского происхождения.

хищность, которая смягчалась, по мере того как ее ладонь сближалась с моей, и в конце, когда они соприкоснулись, превратилась в кошачью мягкость. Думаю, если бы не алкоголь, который в тот момент как-то немного успокоил меня, я не смог бы и двух слов связать, потому что вблизи она была еще более возбуждающей, чем мне показалось сначала; возможно, причина была в аромате, а был он очень сильный; вернее, то была целая комбинация запахов, я даже не могу тебе ее описать; сейчас мне кажется, что там среди прочих был и запах ванили, хотя нет, ваниль была позже; в любом случае эффект был такой, как если бы в детскую комнату внезапно вошла фея из «Пентхауза»: нечто небывало мягкое и в то же время страшно непристойное. «Лавана на смерть инфанты»,[44] перемешанная с каким-то бордельным мотивчиком. У нее были резкие черты, маленький, чуточку птичий нос, и вообще она производила впечатление красивой волшебницы, чтобы не сказать — красивой ведьмы, вот только мягкость, с которой она говорила со мной, я воспринимал как милость. Она расспрашивала меня о работе, о музыке; было видно, что музыки

[44] Примечания: 44

Фортепьянная пьеса французского композитора Мориса Равеля (1875–1937).

она не знает, однако слушала она меня безумно внимательно; а с глазами ее происходило что-то вообще невероятное: чуткий взгляд, зрачки, пульсирующие после каждого слова, и изменение цвета радужной оболочки — понимаешь, я знал, что это невозможно, и потому был убежден, что мне это чудится.

Адам умолк на несколько секунд.

— У людей иногда появлялось что-то подобное в глазах, когда я играл, но не когда говорил, к тому же я тебе уже упоминал, что в тот период говорить я старался как можно меньше. А вот она, как мне казалось, заранее была на моей стороне, я не боялся, что наткнусь на ее несогласие, поскольку она была со мной согласна с первой минуты. Мы прогуливались с ней по саду, зашли на зады дома, где начиналось что-то наподобие рощицы; там, среди деревьев, я, когда прошел уже, наверное, добрый час, заикнулся, переламывая себя, что не хотел бы отрывать ее от знакомых, но она лишь улыбнулась и буквально на минуту молча взяла меня под руку. Сейчас-то я вспоминаю, что она все время стремилась к контакту, прикасалась ко мне буквально на долю секунды, я постоянно чувствовал ее руку то на запястье, то на плече, она брала меня за локоть, и эффект был совершенно

потрясающий, впрочем, не только в тот, первый, раз, но и вообще — ее прикосновение открывало мне глаза, что с незапамятных времен я был напряжен, наэлектризован, а она словно снимала с меня излишний заряд. Сейчас, когда я рассказываю, звучит это, наверно, как страшная дешевка, но и тогда в этом было что-то низкопробное, но такое, какое людям нравится; видишь ли, ежели честно, мне нравится играть вальс «Франсуаза», хотя это не Брамс, не Лист и даже не Иоганн Штраус, и тут я ничего не могу поделать; порой мне кажется, что у каждого имеется своя разновидность кича, от которой невозможно отказаться, хотя ты вполне можешь понимать, что это кич, предавать его, объявляя в обществе, что это чудовищно, но потом закрываешься в четырех стенах, и кич этот на тебя действует — действует! — как бы ты себя ни обманывал. Так вот, это был, наверно, тот самый случай. Челка у нее была зачесана на левую сторону, волосы длинные, до плеч и смешно неровно подстрижены, цвет их казался неестественным, и мне пришло в голову, что это, наверно, краска, хотя в ту пору, не знаю, помнишь ли ты, все пользовались только хной; тогда появилось страшно много рыжих девушек, потому что никакого другого цвета достать было

невозможно, разве что в «Певексе»,[45] и если такой эффект производит краска, то это означало, что денег у девушки навалом. Богатые родители или что-нибудь в этом роде. Когда я спросил ее, не хочет ли она вернуться к знакомым, я очень испугался, что она действительно пойдет к какой-нибудь компании, потому что мне хотелось как можно дольше разговаривать с нею, но она принялась говорить о других гостях со смешной, но весьма едкой издевкой; это не было аристократическое презрение, которым, несомненно, угостила бы меня мать, и даже не отвращение, какое испытывал я, нет, она сразу перенесла это все в атмосферу снижающего гротеска, однако в ее глазах я опять заметил гнев, радужная оболочка у нее снова потемнела, но, поскольку мы стояли под деревьями, я подумал, что мне просто показалось. «Тогда пошли еще выпьем», — предложил я, потому что мы уже давно держали пустые бокалы. «Правильно, — ответила она, — пошли. Без выпивки жизнь в иные минуты становится невыносимой. У тебя хотя бы есть твоя музыка, а вот я порой просто не знаю, куда бежать».

Мы двинулись к дому, было уже довольно позд-

[45] Примечания: 45

В ПНР система магазинов, торговавших за валюту, аналог советских «Березок».

но, стали уходить первые гости, и, помню, я в панике подумал, что все это сейчас кончится, если я не наберусь духа попросить у нее телефон, но, насколько я себя знал, вряд ли у меня будет ее номер; мне так необходимо было ее общество, все дело, видимо, было в успокоении, которое приносило мне прикосновение ее руки; в то же время я вдруг понял — да, именно тогда это и произошло, — что она выше, чем мне казалось издалека, потому что когда я шел за ней, пропустив ее вперед на узкой тропинке, которая бежала вдоль стены виллы, макушка ее была на уровне моих глаз, и тут что-то там мелькнуло, словно след седины, хотя это мог быть просто отсвет из окна, и это заставило меня задуматься, а сколько ей может быть лет. Собственно, она ведь мне ничего о себе не рассказала. Как насчет мужа? Жениха? Друга? Ведь не может же быть, подумал я, чтобы она дожидалась меня, потому что я уже тогда видел все в такой перспективе, а ведь еще минуту назад мы пили на террасе, и вдруг оба умолкли, лишь посматривали друг на друга поверх бокалов; никто на меня еще так не смотрел — у той скрипачки Барбары взгляд был отсутствующий, беспомощный при столкновении со всем, что не есть музыка, — а теперь передо мной стояло

хищное животное, радостное и агрессивное, и, что уж тут говорить, мне безумно хотелось стать его жертвой.

Мы молчали. Владек зажег в саду фонари, а мы стояли на возвышении, никто к нам не подходил, люди прохаживались внизу как тени, и, если бы не отголоски разговоров, могло бы показаться, что все они — привидения. «Ты кто?» — спросил наконец я, но не получил ответа, она продолжала смотреть на меня, хотя при моей тогдашней несмелости мне представлялось, что одним этим вопросом я сказал многократно больше, чем когда-либо говорил какой-нибудь женщине, — действовал алкоголь, — сбоку из приоткрытой двери дома сочился свет, и в этом свете ее груди отбрасывали нежные тени, два тонких полумесяца на поверхности свитера, на переплетении шерстинок, и я подумал, а как эти шерстинки ощущаются ладонью, но не посмел протянуть руку, особенно когда мне пришло в голову, что вязка этого свитерка, в сущности, страшно редкая, почти ажурная и что совсем недалеко, всего в нескольких сантиметрах от меня, кроется нагое тело. Ее губы увлажнились от вина; у нее была очень светлая помада, почти сливающаяся с цветом кожи, а может, даже еще и светлее, так что

они не притягивали к себе внимания, но сейчас, когда она смачивала их в бокале, внезапно стало видно, какие они полные, возбуждающие.

Мы с Адамом снова открыли по бутылке пива. Было, наверное, уже около двух ночи, на проигрывателе звучал какой-то Бах, и мне вдруг захотелось поинтересоваться у Адама, есть ли у него тут вальс «Франсуаза», но, несмотря на недавнее признание, он, несомненно, разозлился бы — ведь он же ясно сказал: только в четырех стенах, только в одиночестве.

— Все это странно, — заметил я, — то, что ты рассказываешь, определенно нельзя назвать описанием красивой женщины. Знаешь, этакой классической красавицы.

Он на миг задумался.

— Я описываю тебе самую притягательную женщину, которую я когда-либо видел; возможно, тебе нужно добавить что-то от себя, чтобы расшифровать это, — то, что я говорю, самое большее — нотная запись, мертвая, молчащая, если ты ее не сыграешь. Действительно, в желании, которое она возбуждала, физическая красота, красота в традиционном понимании, не играла определяющей роли, но у тебя, кстати, нет ощущения, что классическая красота холодна? Она

существует для созерцания, в нее невозможно войти, она не нуждается в тебе. Ты, надеюсь, знаешь, что величайшее исполнение ля-мажорного полонеза Рубинштейном, вершина мировой пианистики, полно помарок? Старик просто-напросто не попадал по клавишам, ему уже было, наверно, лет восемьдесят, но кто знает, не потому ли это и производит такое ошеломляющее впечатление. Невероятное. Совершенство, понимаешь, тебе безразлично. Совершенство, оно как бы бесчеловечно. А она стояла передо мной на этой террасе, теплая, благоуханная, ей могло быть и семнадцать, и тридцать семь, и, знаешь, голос у нее был чуть хрипловатый. Да, в нем была отчетливая хрипотца, как бы чуть дребезжащий голос, и этот голос вдруг — ни с того ни с сего — произносит: «Ты самый возбуждающий мужчина из всех, кого я знаю», — и это в общем-то могло быть иронией, но, знаешь, — характерная деталь — я тогда об этом даже не подумал, — после чего она внезапно поставила бокал и спустилась в сад, а я остался стоять как дурак, горло у меня перехватило, ты можешь смеяться, я понимаю, что двадцатипятилетний девственник, специалист по перебиранию пальцами по клавишам — фигура изрядно комическая, да, именно так

я это ощущал: раз уж, услыхав такие слова, я не способен ее задержать, значит, все то, чем я занимаюсь, ничего не стоит, а является лишь орнаментом, кружавчиками, нашитыми на чем-то, чего не существует, — и я с ужасом осознал, нет, то был даже не ужас, а всего лишь безграничная чуждость к тому, что происходило во мне, так вот, я осознал, что если бы она согласилась провести со мной несколько дней, то я отдал бы за них пятнадцать шопеновских конкурсов, а не только этот единственный. Знаешь, ощущение было такое, словно осыпалась штукатурка и из-под нее вылезла корявая, чудовищно растрескавшаяся стена; вот точно так же передо мной предстало все, чем в течение долгих лет я занимался под материнским надзором, и казалось оно таким несущественным, а единственной реальностью была эта женщина, которая снова разговаривала с кем-то внизу. Мне хотелось выть. Если бы тут появился тот самый викинг, который у меня на глазах трахал под деревом Барбару, то я, наверное, набросился бы на него с кулаками, потому что это было очень схожее переживание, хотя сейчас, несомненно, в версии *пиано.* У меня кружилась голова, я схватил несколько тминных палочек, которые сиротливо торчали среди пустых по

большей части бутылок, и с яростью стал жевать их; они хрустели у меня на зубах, как кости, да, как кости моей матери, потому что, чего уж тут скрывать, вся эта ситуация внезапно вызвала во мне прямо-таки приступ ненависти к ней за то, что она воспитала-таки сына-монстра: были же у меня по-настоящему способные коллеги и в то же время живые люди — ведь, чтобы быть артистом, вовсе не надо полностью оторваться от жизни, пребывать в постоянном напряжении, на верхнем регистре, на предельной границе своих возможностей, без личной жизни, не зная, что значит бездельничать, скучать, флиртовать, расхохотаться от какой-нибудь дурацкой шутки, быть собой. Собой, а не воспроизводителем чужого гения. Наверное, я был пьян; неверным шагом я двинулся к калитке, однако остановился, видно, подействовало вбитое с детства воспитание: невежливо было бы уйти, не попрощавшись с Владеком, — как видишь, я был непоследователен, так как уж коль я захотел уйти, не прощаясь, то мне и надо было так уходить, раз в жизни я мог позволить себе действовать рефлекторно, совершить нечто крошечно скандальное, однако дрессировка была слишком длительной, слишком эффективной, хотя — сейчас это звучит

смешно, — если бы я тогда позволил себе это маленькое нарушение правил хорошего тона, то, наверное, сыграл бы на конкурсе и, позволю уж себе быть самонадеянным, очень даже возможно, победил бы в нем. Ну, скажем, оказался бы в шестерке лауреатов. Я действительно был хороший пианист. Так вот, я притормозил, повернул и едва прошел несколько шагов, она вновь выросла передо мной. «Уходишь?» — спросила она, я кивнул, и она, словно не было той сцены на террасе, абсолютно естественным тоном произнесла: «Меня подвозит Петрек. Ты знаком с Петреком? А, да какое это имеет значение, поедем вместе». Возможно, мне нужно было спросить, откуда ей известно, что у меня нет машины и ни одна из тачек, стоящих у ворот, не принадлежит мне, но меня охватило ощущение такого дурацкого счастья, что я, ни с того ни с сего почувствовав себя примиренным со всем миром, лишь кивнул, и уже через минуту мы сидели на заднем сиденье «форда», который вел тот самый Петрек с фуляром на шее и в красных брюках: просто удивительно, что я раньше не обратил на него внимания. Может быть, он пришел, когда мы уже разговаривали с Лилей. Увидев меня, он так обрадовался, что, даже если бы ее не было, я на всякий случай

все равно сел бы сзади; он все время оборачивался ко мне, заговаривал, так что Лиля в конце концов шикнула на него: «Ты лучше смотри, куда едешь», — и была права, потому что мы как раз выехали на Прушковское шоссе и он вполне мог разбить нас; после этого он вел машину, глядя па дорогу, и тут она неожиданно положила ладонь на мою руку, которую я держал на сиденье не без мысли, что, может, хотя бы кончиком мизинца, как бы случайно, дотронусь до ее бедра. И так мы ехали до Варшавы, слишком быстро, если говорить обо мне; я всего раз взглянул на нее, но она, отвернувшись, смотрела в окно, я стал шевелить пальцами, однако она не приняла эту игру, хотя руку не отняла, поэтому я в растерянности замер и просидел как мумия до угла Гжибовской и Желязной; Петрек остановил машину, и я автоматически вылез вместе с ней. Было уже за полночь, но никто ни о чем не спрашивал. Петрек попрощался с нами и уехал. А мы вошли в дом; я, кажется, пробормотал, что провожу ее до дверей, потому как тут страшно; что-то в этом роде я сказал, мы уже не держались за руки; лестничная клетка была жутко обшарпанная, выглядело это, как декорация к фильму про времена оккупации; на пятом этаже, под самой крышей, она достала

ключи, я, видимо, ляпнул какую-то глупость, уж не помню что, так как в глазах ее вдруг появилась враждебность, и я услышал: «Кажется, мы неправильно поняли друг друга. Спасибо, что проводил меня. До свидания». Я пробормотал: «Извини», — и почувствовал себя страшно глупо, поскольку в этот вечер ни на что больше не рассчитывал, возможно, мне просто было любопытно, как она живет, возможно, я хотел выпить с ней чаю: этакая буколическая сцена в кухне с неспешным, ленивым разговором вполголоса в резком свете лампочки; понимаешь, никаких там эксцессов; да нет, разумеется, она безумно возбуждала меня, но, даже если бы она уделила мне получасовую аудиенцию на самом жестком стуле, я счел бы это праздником; так что я вполне понимал: стараясь не показаться неопытным девственником, я сыграл какого-то дурацкого донжуана, одного из моих соучеников, которые всегда раздражали меня бесцеремонным обращением с девушками; и вот я медленно спускался по лестнице, стараясь вообще не думать о том, что случилось, и только на первом этаже до меня дошло, что я не слышал, как наверху захлопнулась дверь и все время было относительно тихо; как раз тогда, когда я это подумал, раздались торопливые шаги. Я

оглянулся: она спускалась следом. Свет погас, она потянулась к выключателю, и в ту долю секунды, пока еще не воцарилась темнота, я заметил, что она опять смотрит на меня с улыбкой, в которой была, по меньшей мере, благожелательность. В руке у нее были вырванный из календаря листок и авторучка, и она протянула мне его — на нем был написан номер телефона — со словами: «Я ведь не сказала, что больше не хочу тебя видеть. Береги себя». И прежде чем я смог как-то отреагировать, она повернулась и побежала вверх, а меня еще ждала дорога до улицы Тувима, куда я добрался, когда уже шел второй час; мать, естественно, ждала меня: едва я вошел, она тут же скрылась в своей комнате, бросив лишь: «Я считала тебя ответственным человеком», — и раньше я ужасно переживал бы, но сейчас меня переполняло счастье, и главное было то, что завтра я позвоню Лиле и как-нибудь выкрою время, в крайнем случае, меньше буду играть, сейчас я, правда, толком не знал, как это сделать, потому что существовал еще и *coach*, которой такое мое поведение могло не понравиться, но я все равно выкрою время и, если Лилька только выразит желание встретиться со мной, помчусь к ней на свидание.

4

На следующий день Адама разбудила прямотаки парализующая радость: с минуту он не мог вспомнить, что, собственно, произошло, не мог шевельнуться, лишь смотрел на солнце в щели между тяжелыми зелеными оконными шторами, а потом перед глазами его вдруг возникла Лилиана, и он вскочил в панике, потому что не помнил, куда положил листок с телефоном, но он лежал на ночном столике около лампы. В комнату вошла мать, неся, как обычно, ромашковый чай, — она всегда безошибочно угадывала момент, когда он открывал глаза, а если иногда ему удавалось тихонько дойти до ванной, то прежде чем он успевал закрыть дверь, в комнате матери скрипела кровать и раздавался ее огорченный голос: «Почему ты меня не разбудил?» Но сегодня хорошего настроения не было и в помине, губы у матери были поджаты, она безразличным взглядом скользнула по ночному столику, поставила поднос с кружкой на листок и, не произнеся ни слова, вышла. Таков был ее метод выражать неодобрение. Адаму он был известен с давних времен: никакого крика, скорее, суровое молча-

ние, которое в детстве доводило его до слез, а уж если и произносились какие-то слова, то только тихим, чуть-чуть свистящим голосом, как будто она напоминала ему, что здоровье у нее слабое, родила она его поздно и в любую минуту может умереть. Адам сел на кровати и взял кружку; он столько раз слышал, что артист, чья жизнь неотделима от волнения, должен следить за своими нервами и ромашковый отвар, с которого он уже многие годы начинал день, должен был оказать терапевтическое, успокаивающее воздействие, но сейчас с каждым глотком он ощущал растущее напряжение, а не спокойствие. Действительно ли он так ранил мать? Адам направился в ванную, прошел мимо отца, который уже год как был на пенсии и передвигался по квартире по стенке, словно собственная тень; сегодня отец был печален, на сына посмотрел с укором и прошел в кухню — обычно в это время оттуда доносились разговоры родителей, но сегодня в доме стояла глухая тишина. Под душем к Адаму вернулась уверенность в себе; он торопливо вернулся в свою комнату, оделся — было без нескольких минут девять, и, значит, мать дала ему сегодня поспать подольше (подумал он с благодарностью). Адам сел завтракать. Мать искала в сумке ключи, гото-

вая уже отправиться в Академию.

— Ты меня очень огорчил, — внезапно произнесла она.

— Мамуся, ну в чем дело? — Адам попытался рассмеяться. — Мне уже двадцать пять лет.

— И я вижу, что сейчас ты пытаешься все эти двадцать пять лет загубить. Через двенадцать дней ты должен быть в наилучшей форме. Ты думаешь, такие ночи не отзываются на организме?

Адам опустил голову над тарелкой с овсянкой.

— Какие «ночи»? — пробормотал он. — Просто один раз я вернулся чуть позже.

— Ты даже не предупредил меня. — Она ладонью прикрыла глаза. — Ушел днем, и я даже не знала, где ты. — Отец, который сидел в углу и читал газету, вскочил и скрылся в своей комнате. — Бедному отцу пришлось успокаивать меня. Ты хочешь нас убить? Я тебе уже больше не нужна? Ой сынок, сынок. — Мать закрыла сумку и вышла, не дожидаясь ответа.

Адам отодвинул тарелку. Все это было так примитивно, так прозрачно: пробудить чувство вины, сказать о смерти — он столько уже лет слышал это, и столько же лет это действовало; он отдавал себе отчет, что отец тяжело болен, что мать посвятила им всю жизнь («Хотя, в сущно-

сти, — теперь уже цинично подумал он, — кем еще она могла бы быть? Значит, цинизм, сразу же выныривает отвратительный цинизм», — тотчас же укорил он себя). Когда он исполнял ее желания, она отвечала ему сердечной, почти истеричной ласковостью, к которой он привык, и, наверное поэтому, когда мать отказывала ему в ней, это причиняло ему страдания гораздо большие, чем что-либо другое. Обида матери, ее надменная холодность, несколько минут или часов обращения с ним как с пустым местом — он вспоминал это как самый страшный кошмар детства. Как-то — он учился еще в восьмилетке — в семнадцать часов по телевизору транслировали футбольный матч, о котором говорил весь класс, но это было время его упражнений; усаженный за рояль, который тогда появился в их квартире вместо пианино, он чувствовал себя униженным, стал намеренно ошибаться и злился. «Сегодня она единственный раз могла бы уступить», — думал он, и это было словно мания, и Адам уже не знал, нарочно он не попадает по клавишам или руки у него окостенели от злости; тут мать неожиданно встала, молча включила телевизор и вышла, а он эти полтора часа проплакал, убежденный, что она уже больше никогда не вернется. Да, он был

послушным ребенком, хотя годы шли, и только теперь он понял, что прозевал какой-то момент, после которого уже не должна была продолжаться эта странная, основанная на любви и страхе связь. Он встал из-за стола и заглянул в отцовскую комнату.

— Тебе не кажется, что мама несколько преувеличивает? — спросил он с порога.

Отец сидел в высоком кресле, обитом зеленым бархатом. Он положил газету на колени и сдвинул очки к кончику носа.

— Входи, сынок. Сядь. — И уже заранее было понятно, что отец так не считает. Но отступить уже было невозможно. — Жизнь со стариками, а мы оба с мамой старые, — произнес отец усталым голосом, — наверное, требует самоотречения. И в то же время мы оба с тобой обязаны отдавать себе отчет, что никогда и нигде не встретим никого, кто бы так желал нам добра, как Реня. Ты не должен ранить ее.

Адам раздраженно дернулся на стуле.

— Но я пришел в начале второго. Что в этом страшного? Я уже не ребенок.

— Возможно, все дело в этих нескольких минутах. И кстати то, что ты так на это упираешь, наилучший довод за то, что ты не чувствуешь

себя вполне взрослым. Моих родителей уже давно нет в живых, но мне бы так хотелось сказать: да, я ребенок. — У отца дрогнул голос. — Знаешь, иди лучше поиграй. Я скажу маме, что ты сел за рояль сразу же после ее ухода. Так мы лучше всего ликвидируем последствия того, что произошло. — Отец снова взял газету: знак, что аудиенция закончена.

Следующие часа два Адам просидел над клавиатурой и хоть убеждал себя, что все это смешно и не заслуживает внимания, чувствовал, что играет хуже, — может, и впрямь одна недоспанная ночь способна так повлиять? Даже *остинато* в скерцо прозвучало как-то неуверенно; злой на себя, он поставил, как бы в унижение, перед носом метроном, но нет, темп был верный, это с утонченностью его *пианиссимо* было что-то не так; потом ко всему прочему он нажал на *соль* вместо *фа* и даже рассмеялся от этого, и отец, как раз направлявшийся в кухню за очередной бутылкой минеральной воды, заглянул к нему в комнату, но тут же без единого слова вышел. То был, наверное, переломный момент, смех помог ему; Адам вспомнил анекдот про Иоанна XXIII, рассказанный ему перед каким-то экзаменом профессором Ц.: «Джованни, — сказала Папе

Пресвятая Дева, явившись ему в бессонную ночь перед инаугурацией на Соборе, — ну не воспринимай ты это так серьезно», — и теперь он уже играл без ошибок, словно до той поры ему просто снился кошмар перед выступлением. А тут как раз вернулась мать: услышав, что он играет, она встала у него за спиной и ласково погладила по голове — прощение получено, все возвращалось на круги своя. Вот только в этот момент Адам подумал о листке с номером Лильки, и до него дошло, что он совершил ошибку, что должен был позвонить раньше, когда они были только вдвоем с отцом. Чтобы сделать матери приятное, он сыграл «Танец невылупившихся цыплят» из «Картинок с выставки» Мусоргского, а потом еще раз, но уже явно дурачась, в манере тапера в кабаке. Мать заглянула в комнату и рассмеялась: «Обед». И тем не менее ему нужно было позвонить.

Наверное, никогда прежде и никогда после мать не приглядывалась во время обеда к нему с таким напряженным вниманием. Адам видел, что она нервничает, что следит за тем, как он режет котлету, внимательно регистрирует, как подносит вилку ко рту, — не быстрее ли, чем обычно, без труда ли глотает. Не отводит ли глаз.

«Как будто я больной, — мелькнуло у него в голове, — тяжелобольной». Уж не чувствовала ли она, что на этот раз мир установился хрупкий и иллюзорный, что незначительное происшествие, тот факт, что он забыл — а он действительно забыл — предупредить, что вернется позже, привело их любовь, такую, какую они знали столько лет, на грань исчезновения? Мать рассказывала какие-то истории, принесенные из деканата, спрашивала, не хочет ли кто добавки, — как обычно, — и тут вдруг выяснилось, что она принесла пончики. «Смирилась», — понял Адам. Теперь уже ничто не было таким, как прежде.

Не говоря ни слова, он встал из-за стола и набрал номер. Но на том конце провода трубку никто не поднимал.

Адам вернулся, мать разливала чай. За столом стояла тишина, только отец позвякивал ложечкой в чашке, «чтобы лучше разошелся цвет», поскольку уже многие годы чай он пил без сахара. Мать смотрела на Адама вопросительно, почти умоляюще, и он вдруг ощутил в себе дух противоречия, какую-то невозможную свободу; как ни в чем не бывало он съел второй пончик и с неким гадким удовольствием облизывал с пальцев сахарную глазурь — чего, как он неодно-

кратно слышал, делать не полагалось, — а мать тем временем молча встала и принялась мыть посуду, хотя должна была произнести сакраментальное: «Адась, полчаса отдыха». Он ушел к себе в комнату, лег, как обычно, на тахту. Почему Лили нет дома? Чем она в это время занимается? Она не студентка, вспомнил он, значит, где-нибудь, наверно, работает. Какое-то мгновение ему казалось, что когда он вдыхает воздух ртом, а потом выдыхает через нос, то ощущает слабое, тонкое эхо того запаха, который ошеломил его на ступенях виллы. Но это, скорее всего, было иллюзией, потому что после нескольких вдохов и выдохов он чувствовал уже только лаванду, мешочки с которой мать хитроумно разложила по всей квартире. Ведь он был знаком с красивыми девушками, но даже Барбару он не хотел так неистово; она была мечтой подростка, столь же яркой, сколь и нереальной, с самого начала лишенной веры в исполнение, даже тогда, когда они перебрасывались шутками в течение двух дней до приезда «викинга»; но теперь он услышал нечто совсем иное: «Ты самый волнующий мужчина, какого я знаю», — приглашение к игре, признание права на реальную жизнь, и опять, как вчера, его обдало жаром. Ему вспомнилась

округлая линия ягодиц, на которые он поглядывал с террасы, очертания грудей, стекающие на шею волосы, когда она шла перед ним, и он — так ему теперь казалось — едва удержался, чтобы не погладить их. Его охватило возбуждение, он провел вспотевшими ладонями вдоль бедер, и тут раздался стук. Он замер, поднял голову: мать.

— Ты звонил профессору?

Адам снова опустился на подушку.

— Нет.

— Так позвони.

— Зачем? Послезавтра консультация.

— Я встретила его в Академии, он попросил тебя позвонить.

«Врет», — подумал он со стопроцентной убежденностью, как будто она сама призналась: «По правде сказать, это я ему звонила; он чувствует: что-то происходит, но откуда у него это чувство, и вообще, что происходит?» Да ничего не происходит, во всяком случае, ничего такого, что могло бы заинтересовать Ц. Адам медленно потянулся.

— После, мама. Сейчас я пойду опять играть. Что-то у меня сегодня скерцо не получалось, — вырвалось у него, но она никак не прореагировала, бесшумно вышла и только уже из-за двери повторила:

— Но все равно после позвони.

Он встал и собрался было отправиться в комнату с роялем, но, проходя мимо телефона, набрал номер. После третьего гудка прозвучал голос Лили:

— Да, слушаю.

— Это я, Адам, — произнес он и с беспокойством понял: это, собственно, все, что он может ей сообщить.

— Как здорово, что ты позвонил! Заглянешь ко мне?

— Когда?

— Лучше прямо сейчас. А впрочем, когда хочешь. Можешь?

Колебание было недолгим. Ведь именно об этом он мечтал с самого утра.

— О'кей. Скоро буду.

Адам завязывал шнурки, когда в прихожую вошла мать; он встал, чмокнул ее в щеку и направился к двери.

— Я скоро вернусь. Самое позднее, после ужина.

— Ты шутишь?

Адам остановился, держа руку на дверной ручке. Он ощутил досаду.

— Мамусь, ну не переживай. Я немножко устал

от игры. Профессор предупреждал, что такое может случиться, и говорил, чтобы я не переутомлялся, — соврал он. — Все будет отлично.

Но она, когда он выходил, недвижно стояла с непроницаемым лицом.

5

По дороге он купил Лиле букетик фрезий, и, когда она отворила ему дверь, в прихожей сперва появились фрезий, а потом уже он сам. Она взяла цветы, сказала: «Какие красивые!» — но даже не взглянула на них, а смотрела только на него. На ней были черные обтягивающие брючки и черная облегающая блузка с длинным и глубоким декольте, не оставлявшим и тени сомнения в том, что лифчика она не носит. И опять, как вчера, он ощутил распространяющуюся между плечами и желудком судорогу мышц, острое желание прижать ее к себе, почувствовать ладонями ее плечи, проследовать губами туда, к соскам, пухло вырисовывающимся под черной тканью, но он только совершенно бессмысленно произнес: «Это тебе», — как будто и так не было ясно, кому он принес цветы, и после молча стоял, глотая слюну, мальчишка-переросток. Она пошла первая в

глубь квартиры, и на каждом шагу ниже блузки поблескивала тоненькая полоска нагого тела. Адам шел следом как загипнотизированный, стараясь поймать голоса возможных остальных жителей этой квартиры, но ничего не услышал — стояла абсолютная тишина. Только поскрипывал рассохшийся паркет у них под ногами. Квартира была запущенная, в прихожей зеленая краска на стенах шелушилась, вдоль потолка бежал старомодный лепной карниз, отбитый в нескольких местах. Пахло пылью, старыми газетами, шкафами, не проветривавшимися десятилетиями, и на этом фоне — ее духи, совсем не такие, как вчера, словно единственная высокая нота. Адам долго описывал мне их, но ему не хватало слов — я догадался, что это должно было быть что-то мускусное, отчетливый манящий аромат, на расстоянии свежий, но, когда подходишь поближе, внезапно сгущавшийся. Мебель в большой комнате помнила, по меньшей мере, пятидесятые годы: круглый стол, покрытый скатертью, пианино со вздувшейся на верхней плоскости корпуса фанерой, комод, заставленный какими-то фигурками и раковинами, среди которых вырастал парусник с надписью на борту «Память о Сопоте». «Она тут не живет, — мелькнуло у Адама в голо-

ве. — Это не ее квартира».

— Не удивляйся тому, как тут все выглядит, — раздался голос Лили из кухни, где она наливала воду в вазу. — Я снимаю ее совсем недавно. Мне важно было, чтобы квартира была недалеко от работы, а когда живешь одна, очень трудно сразу все привести в божеский вид. Пока у меня отремонтирована только ванная. Если хочешь, можешь посмотреть.

— С удовольствием, — вежливо согласился он и открыл указанную дверь. — Вот это да! — воскликнул он. С минуту ничего другого ему не приходило в голову. Потолок над огромной ванной и вся стена напротив двери были облицованы зеркалами. Он вздрогнул, представив на миг, что они отражают. Маленькие лампочки с рефлекторами, установленные в разных местах, заливали помещение потоками яркого света. Кафель, у пола кроваво-коричневый, постепенно менял цвет, чем выше, тем он становился светлее — вплоть до бледно-розового под самым потолком; на некоторых плитках пурпурной линией были изображены разные рисунки: стройные люди под купами деревьев, взлетающие птицы, листья пальм. Пол покрывала терракота цвета графита. Стоило это явно целое состояние и

было бы на месте где угодно, только не в этом трущобного вида доме, в квартире, наполненной запахом старости.

Лиля стояла у него за спиной.

— Хозяева сказали, что эту сумму я могу вычесть из платы за будущий год. Пожалуй, они не получат от меня ни гроша, а только целую кипу счетов, — рассмеялась она, — потому что я не могу жить без приличной ванной. Здесь мое убежище, и здесь я больше всего люблю находиться, — тише добавила она. Адам почувствовал на плече ее руку. Он не хотел ее спугнуть, но, когда завершил замедленный поворот на сто восемьдесят градусов, Лиля была уже в комнате. — Иди сюда, располагайся. Что будешь пить — чай, кофе? А может, рюмочку бренди?

Они уселись в плетеные кресла на противоположных сторонах шаткого столика, у них за спинами в углу сходились сосновые книжные полки; книги на них тоже были старые: первые польские издания Камю и Хемингуэя, «Конец эпохи шволежеров»[46] в рваных суперобложках,

[46] Примечания: 46

Историческое исследование (т. 1–5, 1972–1979) польского писателя Мариана Брандыса (1905–1987), посвященное судьбам польских участников наполеоновских войн, служивших в прославленном гвардейском полку легкой кавалерии Наполеона I.

стихи Ор-Ота[47] в полотняном переплете. Адам медленно покачивал рюмкой, на стенках оставались маслянистые желтоватые следы, резкий запах раздражал ноздри. Лиля улыбалась, совсем как вчера. Он почувствовал себя словно заброшенным на другую планету или как мальчик из сказки, которую в детстве ему рассказывала мать (непослушный Адась наперекор родителям пошел в лес, а когда вернулся в свою деревню, оказалось, что лес был волшебный и за время его короткой прогулки в деревне прошло сто лет, так что никого из близких в живых он уже не застал). Однако страха он не чувствовал, а лишь упоение несходством с тем, к чему привык; Лиля относилась к нему иначе, чем все, без строгости или снисходительности, которые обычно исчезали только тогда, когда он садился за рояль. И он вдруг мысленно взмолился, чтобы все время, пока они будут вместе, она даже не упоминала о музыке и чтобы, не дай боже, не посадила его за пианино (которое, он это кожей чувствовал, не настраивалось уже десятилетия), чтобы она дала ему быть тем, кем он никогда прежде не был. Он поставил рюмку около пепельницы, на дне ее

---

[47] Примечания: 47

Ор-От — псевдоним польского поэта Артура Опимана (1867–1931).

были следы пепла.

— Ты куришь? — спросил он.

— Нет, но ты, если хочешь, можешь курить. Знакомые у меня иногда курят, а я нет. Ты целовал когда-нибудь курящую девушку? Мне кажется, это чувствуется.

Адам несколько секунд лихорадочно искал подходящий ответ.

— Я тоже не курю, — наконец сказал он.

«И все-таки, — думал он, — кто здесь был? Кто здесь бывает?» Он не верил, чтобы в ее жизни не было ни одного мужчины, и все ждал, что реальность, как обычно, обдаст его ледяным холодом.

— Я правда страшно рада, что ты пришел. Наверно, вчера я вела себя ужасно. Потом полночи не спала, боялась, что ты обидишься.

— Ну что ты. Это я должен просить прощения. Я не хотел… — начал он было, но, поскольку не был уверен, что нужно говорить дальше, замолчал.

Наступила тишина. «Молчать, — шепнуло что-то Адаму, — ничего не говорить, слова слишком неуклюжи»; может, и существовало какое-то заклятие, которое следовало произнести, чтобы рухнули барьеры, отгораживавшие их друг от друга, и они стояли бы нагие, и им не нужно было бы даже любовью заниматься («Даже! Ничего

себе», — подумал он), а они только смотрели бы на тела друг друга, переставшие быть тайной, неторопливо познавали бы друг друга глазами, избавившись от необходимости играть роли; нет, совершенно очевидно, что он желал ее, что рассчитывал на дар, которым она вырвет его из нелепой его жизни, сделает похожим на остальных мужчин и одновременно — великодушным этим деянием, продолженным до возможного предела, — вновь особым, исключительным, но благодаря исключительности не меты, а выбора. Культа. Так что вполне возможно, такое заклятие существовало, но он его не знал. Он спрятал лицо в ладонях.

— Я чувствую себя страшно усталым, — неожиданно пожаловался он.

— Наверно, много репетируешь. Да и волнение…

— Нет, не в этом дело. Не знаю даже, как сказать. Рядом с тобой… я неожиданно открываю… У тебя здесь мы как бы в каком-то особом месте. Как будто я на минутку вышел из своего поезда, который едет в другую сторону. Это восхитительно.

— Я стараюсь, чтобы тут было по-другому. Знаешь, я, наверно, могла бы приобрести квартиру в собственность, но не хочу привязываться, мне

нравится думать, что мне достаточно пяти минут, чтобы уйти отсюда… Временное укрытие… Понимаешь меня? Если бы оно было постоянным, то стало бы западней.

«Не хочешь привязываться к людям?» — задал он мысленно вопрос, но вслух бросил:

— А ванная?

— Понравилась? Ванная все-таки не моя. Тут ничего нет моего, и пусть так и будет. Имеют значение только люди… Но только не такие, каких мы видели у Владека. Грибы ядовитые, — закончила она с неожиданной злостью.

Адам вздохнул:

— Ты довольна своей жизнью?

Она удивленно вскинула голову.

— А ты знаешь кого-нибудь, кто действительно доволен своей жизнью?

— Быть может, моя мать, — неуверенно промолвил он. — Но она, скорее, моей довольна.

— А ты?

Он молчал, собираясь с духом. В иные мгновения он чувствовал, что Лиля ему ближе, чем кто бы то ни было, что, как в сладком сне о незнакомке, который приснился ему в конце учебы, с ней нечего бояться, потому что при всей внешней бесцеремонности она не обидит его, как не

обижают себя, но в то же время он видел ее на сцене этакой сознающей свою красоту актрисой, которая хочет будить вожделение, но никогда не даст прикоснуться к себе, и в такие минуты ему казалось, что он не выдавит из себя больше ни слова. Он подождал, пока откатит волна страха, и невнятно пробормотал:

— Знаешь, раз я встретил тебя, мне трудно быть недовольным.

Теперь молчала она, словно хотела дослушать до конца эхо этих слов, замирающее в пустых помещениях — в коридоре, в кухне, других комнатах.

— Ты просто поразительный человек. Я чувствую в тебе такие бездны нежности и… темперамента, — она смущенно рассмеялась, — и в то же время у тебя отсутствует одна черта, которую я слишком хорошо узнала и потому терпеть не могу: самоуверенность. Ты так красиво сказал это. Словно не знал, как мне приятно будет это услышать.

«Потому что не знал», — подумал он.

— Потому что я не знал.

— Ну вот, а теперь знаешь. — Она положила ладонь ему на руку и тут же убрала. — Подлей нам бренди.

Они опять взяли рюмки и продолжали смотреть друг на друга. Какое-то время Адам нервно искал тему разговора, а потом вдруг до него дошло, что так даже лучше: молча сидеть, погруженным в тишину, как в теплую воду тропического аквариума. Она — фантастическая актиния, он — одно из бесчисленных крохотных созданий, с радостью позволяющих ей заглатывать себя. Он уже никому ничего не был обязан, никто его не подгонял, это было блаженство, точь-в-точь как в начальной школе, когда мать уступала его просьбам и раз в семестр без всяких уважительных причин позволяла не ходить в школу — такой у них был договор, обусловленный категорическим запретом рассказывать об этом одноклассникам. Внезапно — никаких обязанностей, нет необходимости доказывать, что, несмотря на занятия музыкой после уроков, ты все равно лучший ученик в классе. «Кому много дано, с того много и спросится», — и вдруг уход за кулисы, минута передышки. А теперь даже матери не было.

— Сколько часов в день ты играешь? — услышал он, словно она угадала его мысли. А может, она и вправду угадывала, может, и вправду между ними не было никаких преград. Только вот эти тела: ее — которое он так вожделел, и собствен-

ное — в существование которого он лишь сейчас начинал верить. Он махнул рукой.

— Много. Особенно сейчас, перед отбором. Почти весь день.

— Это значит… что я тебе мешаю?

Адам улыбнулся. Она ответила ему улыбкой, хотя еще и не знала, что он скажет.

— Мешай мне так как можно чаще. Это… необходимо («Дурак, надо было сказать: ты мне необходима», — мысленно обругал он себя).

— Что для тебя важнее всего в жизни? — неожиданно спросила она.

— Ну знаешь. — Адам на несколько секунд задумался, как бы это сформулировать, так, чтобы не соврать и в то же время оставить какое-то место для девушки, если только она захочет его занять. — Пока рояль.

— Пока? — переспросила она.

— Пока. Да, он важнее всего, ничего другого, сколько себя помню, я не делал, только играл на нем. Этакий задушевный друг и тиран, друг при условии, что ты ему не изменяешь. Мстит он жестоко. Насколько я знаю, правда не по собственному опыту, если перестать ежедневно упражняться, сперва сам начинаешь слышать собственное несовершенство, и его становится

все больше, другие поначалу ничего не замечают, но ты уже знаешь; потом руки у тебя становятся как деревянные, и это уже очевидно всем. Развивается это, как прогрессирующий паралич. И бывает, остается навсегда.

— А вот я бы хотела, — произнесла она ясным, чистым голосом, словно начиная читать с красной строки, — пережить любовь, но безграничную, такую, чтобы до самого конца. Чтобы весь мир исчез, чтобы все было не в счет, кроме одного-единственного человека. До сих пор вся моя жизнь полна совершенно противоположным опытом, что люди взаимозаменяемы, что, в сущности, безразлично, с кем ты; иногда мы себя уверяем, что виновата в этом коммуна, но нет, это согласие сидит внутри нас, — глаза ее гневно потемнели, она сжала кулак, — каждый оберегает лишь собственную исключительность, и потому другой человек становится абстрактным понятием, неважно, кто он, этот другой или другая, главное, он — не-я. Подозреваю, что даже тебе, когда ты играешь для публики, в сущности, безразлично, кто тебя слушает, лишь бы слушали, лишь бы ты не был в одиночестве. Разве не так? Артисты используют общие, собирательные понятия: публика была такая, публика была ся-

кая… Ты заметил бы, если бы я сидела на твоем концерте?

— Ну, если бы ты сидела, то заметил бы, — попытался он улыбнуться.

— Да?

И она внезапно замолчала.

— Ты веришь, что такое… случается? — пробормотал он (а подумал: «Уже происходит»).

А она неожиданно наклонилась к нему через столик и зашептала горячечным, страстным тоном, которого он от нее еще не слышал:

— Я хотела бы сделать с тобой что-нибудь такое, чтобы ты не мог жить без меня. Чтобы всегда помнил обо мне. Доставить тебе такое блаженство, слиться с тобой в таком наслаждении, чтобы мы кричали, не могли перестать кричать. Знаешь, как ты на меня действуешь? — Она протянула руку и накрыла ею его ладонь. Нет, это уже совершенно точно был фильм, это совершенно точно не могло происходить в действительности. Его тело отказывалось ему повиноваться: с одной стороны, ему хотелось высвободить руку, так как он предчувствовал какую-то злую шутку, а с другой — он был готов, если бы только не этот идиотский столик, наброситься на нее, прильнуть к ней всем телом, и, обездвиженный этими противо-

положными импульсами, он был не в состоянии совершить ни одно из этих движений, даже изменить выражение лица не мог, и только пялился на нее, ожидая, что будет дальше.

Очевидно, она неверно поняла его поведение, потому что убрала руку и извиняющеся улыбнулась:

— Прости. Еще рано. Еще не сейчас.

Это было так, словно сон кончился, но не трагически, оставив его в отчаянии, а пробуждением с надеждой на продолжение. Адам медленно встал и двинулся к двери, но задержался в коридоре и тут почувствовал ее тело так близко, что инстинктивно протянул руку. И чуть только нашел теплую плоть, она прижалась к нему, взяла ладонями его лицо и поцеловала в щеку, но не сопротивлялась, когда он стал искать ее губы. Губы у нее были влажные и набухшие, он даже не подозревал, что они ему так понравятся, и тут между ними просунулся ее язык, юркий, мокрый зверек; Адам жадно начал его сосать, словно зверек этот на своей трепещущей спинке принес ошеломляющий нектар, без которого Адам уже не способен будет жить, и он мог бы уже предугадать это, если бы ее жаркое дыхание не рассеивало мысли. О, эти сочащиеся сладким

ядом всезаглатывающие лепестки. Она прижималась к нему все тесней и тесней и не могла не чувствовать, до чего он возбужден, обнимала его, притягивала ногой все ближе и ближе — расцветающая актиния, гидра в сказочном нападении, — и вдруг позволила сквозь безнадежно толстые слои одежды прикоснуться бедром, о чем он и мечтать не смел, к укромному теплому закоулку там, в паху, где расходятся ноги. Темнеющий коридор величественно повернулся вокруг них и заколыхался, появилась стена, к которой Адам теперь прижимал девушку, странствуя губами по узенькой тропинке декольте, лихорадочно слизывая горчащее тепло ее кожи; она тонкими пальцами перебирала его волосы, и ему казалось, будто высоко-высоко, в километрах над собой, он слышит высокий звук, тихий, спокойный стон; но внезапно, когда его язык проник уже под слой темной ткани и почувствовал под ней плавный бугорок, в котором что-то поспешно стучало, пальцы ее сжались у него на голове и велели прекратить странствие. С минуту он успокаивал дыхание на грани сухого всхлипа, постепенно замиравшего в груди. Она отодвинула его от себя. В коридоре стоял полумрак, но Адам был почти уверен, что не ошибается и что ее глаза стали

демонически черными.

— Завтра, — шепнула она. — Приходи завтра. Жду тебя вечером.

И с какой-то поразительной стремительностью, какой он даже не ожидал от нее, она вытолкала его за дверь.

6

Дальнейший ход событий был для Адама безнадежно предсказуем. Поэтому он возвращался от Лили пешком, якобы для того, чтобы спокойно все обдумать, но на самом деле он пытался замедлить бег времени. С каждым шагом настроение становилось все унылее. Он ведь вовсе не хотел ранить маму и, переходя Маршалковскую, прямо-таки дрожал за ее жизнь, ее и отца — и тем не менее знал, что завтра вечером пойдет к Лиле и что из-за этого вспыхнет скандал. Он с облегчением подумал: как хорошо, что девушка не назначила свидание днем и он сможет еще какое-то время изображать послушного сына, вероятней всего, в последний раз. Когда через много лет он возвращался мыслями к этому дню, поражало его то, что он буквально впадал в истерику, видел все в черном свете, хотя стопроцентных ос-

нований у него для этого не было, — разве не мог он надеяться, что ему удастся примирить мать и девушку, любовь и рояль? — и однако же все его опасения исполнились полностью. Когда он вернулся домой, время еще было не позднее, мать как ни в чем не бывало готовила обед на завтра. Адам сразу же сел за рояль, сыграл несколько этюдов, щеголяя техникой, потом последнюю часть сонаты — это было как бы громогласное объявление: *мама, мои руки в полном порядке, ничего страшного не происходит,* — а в девять позвонил профессору и разговаривал с ним так, чтобы было слышно в кухне. Ц., кстати сказать, удивился, потому что, как он объяснил, был убежден, что у Адама есть к нему какое-то дело, и даже подумал, уж не означает ли это, что у его лучшего ученика так рано, за полторы недели до отборочного тура, сдали нервы. Сам-то он за него спокоен: «Если вас не возьмут, то кого же тогда брать?» — а поскольку Адам сейчас начал репетировать еще экстенсивнее, то, надо думать, он сохраняет «радость игры» и сам знает лучше других, что делать.

— Не будем сходить с ума, пан Адам. И я вам вот что скажу, строго между нами: у вас замечательная мать, но, видимо, такой сильный стресс

двадцатипятилетний парень переносит куда легче, чем святая эта женщина. — В трубке зазвучал надтреснутый стариковский смех профессора. — Надеюсь, мы поняли друг друга?

Это было как раз то, что и требовалось Адаму; он клал трубку на рычаг с тем чувством неимоверного облегчения, какое он испытывал маленьким мальчиком, отходя от исповедальни. И, подчиняясь этому воспоминанию, он, как в первую пятницу каждого месяца после возвращения из костела, прошел в кухню поцеловать мать, ласково обнял ее и растроганно почувствовал, что она ответила на его объятие. Адам сел на крашенный белой краской стул, помнивший, наверное, еще Первую мировую войну. Мать вытерла передником глаза и склонилась над столом.

— Что ты готовишь?

— Вареники, сынок. Вареники с капустой. Ну как, поговорил с профессором?

— Да. Он велел тебе успокоиться.

Ошибка. Слишком легким тоном произнес он это. Мать замерла, держа в руке запачканный мукою стакан.

— Ты всегда поддавался чужим влияниям. Я тебя лучше знаю. Но поступай, как хочешь. Я всего-навсего старая женщина и могу ошибаться.

Главное, не проиграй жизнь… Кто она?

Адам потянулся, надеясь, наверное, на то, что таким образом сбросит напряжение, которое вернулось после вопроса матери. «Если бы она задала его раньше, другим тоном и без этого вступления, я бы с радостью всё…» — но потом ему пришло в голову, что на сей раз не все можно рассказывать, и мысль осталась незавершенной. Несколько секунд оба они молчали.

— Девушка. Очень милая девушка. — И после паузы произнес: — Ее зовут Лиля.

— Ох сынок, сынок. Не время. Не время сейчас.

— А когда? — решился он спросить. Мать вполне могла уловить в его голосе иронию, однако либо не обратила, либо не захотела обращать на нее внимание.

— После отборочного тура. Ты приведешь ее к нам. У нее красивое имя. Если она любит, то подождет.

Итак, все еще могло наладиться, ведь в ее словах были доброжелательность, и нежность, и понимание, словно любовь к Лиле они могли бы переживать вдвоем, — и в высокой белой кухне вновь воцарился покой, как когда-то, когда они с матерью сидели тут вечерами и она рассказывала историю буфета с дверцами, закрывавшимися

«на бумажку», так как ключи потерялись добрых лет двадцать назад, а заржавевшие замки при очередной покраске были залиты краской, и про испорченный радиоприемник с зеленым глазком, который было жалко выбрасывать и он стоял под подоконником, а Адам отщипывал кусочки теста, лепил из них человечков и спрашивал, а нет ли способа оживить эту маленькую мучную армию, вареничную публику, готовую бурно рукоплескать. Но в этот момент в кухню заглянул отец и, видимо, вспомнив свои родительские обязанности, что иногда случалось с ним, строгим голосом спросил:

— Ты попросил у мамы прощения?

Мать в непонятной панике вытолкала его в прихожую, оставив на его коричневом свитере белые отпечатки своих ладоней.

— Ступай, Янек, ступай. Мы тут посидим с Адасем…

Однако Адам понял, что в его отсутствие они говорили о нем совсем в другой тональности и что понимание — всего лишь притворство, очередная попытка еще раз заманить его в детство, в сети тиранической материнской любви. Он молча посидел еще минуты две, после чего ушел к себе в комнату. Адам инстинктивно чувство-

вал, что только что прозвучал теплый камерный *finale* тех лет, что он провел с матерью в нерушимом, казалось бы, союзе, и еще, что много-много раз он мыслями будет возвращаться к этому моменту и что этот момент самостоятельно будет возвращаться к нему, когда уже ничего нельзя будет изменить, и что он никогда не узнает, действительно ли мать была готова принять в дом Лильку, смириться с ней, включить ее в тот мир, который она выстраивала долгие-долгие годы, и потому эта минута неподдельного покоя отзывалась в его памяти только горечью. Одетый, он лег на кровать и долго лежал, свернувшись клубочком, точно эмбрион, а потом представил, как перепугается мать, когда, как обычно, придет пожелать ему спокойной ночи и увидит его в таком состоянии, поэтому, хоть время было еще раннее, он расстелил постель, надел пижаму и погасил свет. Но мать не пришла, а может, приходила, когда он уже спал, и бесшумно вышла.

Утром он проснулся от желания, под веками у него было тело Лили, затянутое черной тонкой тканью, словно бы нарочно, чтобы ее оставалось только сорвать. Но нет, нет, — осознал вдруг он, пробираясь в ванную украдкой, чтобы скрыть эрекцию, которая распирала ему пижамные

штаны, — в первом видении, на самой границе пробуждения, кожа ее тела была тождественна черной ткани: грудь, от природы покрытая черным материалом, шелковистые черные соски, черные обтягивающие рейтузы, раскрывающиеся в месте смыкания бедер узкой бархатной темной щелью. Все утро Адам с энтузиазмом играл, полуосознанно понимая, что в следующий раз за рояль он сядет, может быть, послезавтра, а может, и через три дня. Потом был обед, во время которого он радовался варениками, однако трудно было не заметить, что его радость родителями воспринималась достаточно сдержанно. Впрочем, он и сам чувствовал, что радуется слишком демонстративно, словно они все втроем прозевали момент, когда нужно было что-то изменить, и теперь повторяли давние ритуальные жесты, не веря в их значение. Настала пора второго тура репетиций; когда мать вновь возвратилась со службы, Адам слушал записи Ашкенази,[48] отчего она ощутила нескрываемое облегчение. Она не могла знать, что это был всего лишь спектакль, разыгранный специально для нее; слушал он

[48] Примечания: 48

Ашкенази Владимир Давидович (р. 1937) — советский пианист, дирижер, вторая премия на конкурсе им. Шопена 1955 г., с 1963 г. живет в Англии.

невнимательно, подсчитывая время до ужина, после которого он встанет и уйдет. Сев за стол, он почувствовал, что у него совершенно нет аппетита; он пил много чая, а бутерброд, откусив, долго жевал и все никак не мог проглотить.

— Тебе не нравится? Невкусный? — спросила мать, но он услышал в ее вопросе не заботливость, а, скорее, шантаж; то была попытка создать атмосферу, в которой ему максимально трудно будет поднять бунт.

Он встал, мельком подумав, что даже самый наихудший поступок легче перенести, чем мысль о нем, достаточно одного слова, и все покатится автоматически; впрочем, почему он должен чувствовать себя преступником? Его ровесники уже создали семьи, давно не отчитываются перед матерями, когда вечером уходят из дому; «Но конечно же, мои ровесники не являются выдающимися», — со злостью подумал он.

— Я иду на свидание, — объявил он, стараясь, чтобы это прозвучало естественно. — Когда вернусь, не знаю.

Мать подняла глаза с таким изумлением, словно не было совсем недавно между ними никаких разговоров, словно это двенадцатилетний мальчик с плюшевым медведем под мышкой собрался

на ночь глядя уйти из дому. Выдал ее опять же отец, который посмотрел не на Адама, а на жену и погладил ее по руке. Как будто говорил ей: «Видишь, я был прав».

— Ты куда? Ведь ты завтра играешь у профессора, — напомнила она. Адам спохватился, что это совершенно вылетело у него из головы, но он уже обретал навык все ставить в вину матери: «Она следит за моим расписанием, полностью лишила меня инициативы, и теперь я забываю простейшие вещи». Но уступать было нельзя.

— Ну и что? Я прекрасно справлюсь, — бросил он, хотя прозвучало это не слишком убедительно, более того, он вдруг снова почувствовал себя ребенком и потому резко отставил стул и вышел в прихожую обуться. Мать вышла следом.

— Адась, — попыталась она засмеяться, — не делай глупостей. Позвони этой своей приятельнице и договорись с ней на потом.

— Какой «приятельнице»? О чем ты говоришь?

Несколько секунд мать растерянно молчала.

— Разве ты не идешь к этой… Лилечке?

— О Господи, — вздохнул он. *«Приятельница Лилечка».* Наверное, это должно было рассмешить его, но он вдруг сообразил, что все четко продуманно: сперва уменьшительное, затем

пренебрежительное, а потом должно прозвучать что-то оскорбительное, унижающее. Ничто не имеет значения, главное, чтобы он сидел дома. Чтобы *она* могла контролировать его. Мать внезапно сменила тон.

— Разумеется, я могу ни о чем тебя не спрашивать, — сухо произнесла она. — Вот только ведешь ты себя, как последний идиот. Я начинаю жалеть, что столько сил и времени отдала тебе. Это какая-то умственная болезнь. Приди в себя. Куда ты идешь?

— Пока.

— Ну не оставляй же ты меня в таком состоянии! Куда ты идешь?

Ее крик на мгновение остановил его. Может быть, все следовало разыграть по-другому? Все-таки она не враг ему: перед глазами у него промелькнула вчерашняя сцена на кухне.

— Мамочка. — Он попытался придать своему голосу теплоты, однако прозвучавшая в нем фальшь смутила их обоих, и потому он начал снова, чуть более решительно: — Мама, я иду на свидание с девушкой. Не с Лилечкой, а просто с Лилей, и не с приятельницей, а просто с женщиной, в которую я влюблен. — Он чуть не покраснел от стыда, что говорит такие вещи. Не

должна она была провоцировать его на это. Он уже представил себе ее покровительственную усмешку, но нет, она стояла с каменным лицом, держась за сердце.

— А когда вернешься?

— Не знаю. Может быть, утром.

И только теперь появилась усмешка. Едкая, отталкивающая.

— Сынок, ты идешь к девушке, которую любишь, или к какой-то… потаскушке?

Уменьшительное, пренебрежительное, оскорбительное. Все точно.

— Я пошел.

7

Мне казалось, было что-то патетическое в том, как он уходил в тот вечер из дома: медленно и бесповоротно. На лестничной площадке было слышно, как у соседей чудовищно громко свистит чайник, — почему запоминаются именно такие подробности? — а он неторопливо спускался по лестнице мимо дверей, за которыми жили уже множество лет знакомые люди. Выщербленная ступенька напомнила ему о том, как в детстве он, спеша в школу, споткнулся на ней, упал и

рассек подбородок. На этом конец повествования (иначе пришлось бы рассказывать, как мать схватила такси и повезла его в травматологический пункт). Было уже поздно, и Адам не сделал крюк на Центральный вокзал, где можно было купить цветы, а сразу побежал на остановку. Автобус вез его по улице с точками разноцветных огоньков; он внимательно смотрел на них, превратившись в наблюдателя и желая запомнить эту дорогу. Он вышел на улице Простей, не без страха углубился в квартал разрушенных зданий, тянущийся вдоль стены фабрики Норблина; по правую руку возносились посеревшие и в тот вечер казавшиеся монументальными дома района «За Желязной Брамой». В доме, где жила Лиля, все окна были темные, и это обескуражило его; на лестнице свет не желал зажигаться, хотя он несколько раз щелкал выключателем. Он ощупью поднялся на верхний этаж и постучался; ему открыла Лиля в махровом халатике, свеча, горевшая у нее за спиной, создавала вокруг ее фигуры дрожащий желтоватый ореол.

— Света нет, — сказала Лиля. — Я боялась, что ты не найдешь.

Во всех комнатах дрожали маленькие огоньки, выглядело это так, словно он очутился в каком-то

храме; Лиля прильнула к нему, у нее были влажные волосы, и он с благоговением целовал их. По стене ползала их странная, все время меняющая форму тень — язык тьмы. Они страшно долго стояли так, отыскивая друг друга ладонями; Адам неторопливо блуждал по ее спине, он чувствовал, как ее пальцы — по одному, по два — проникают к нему под рубашку. От нее пахло так же, как вчера, и неожиданно время, проведенное без нее, представилось ему мимолетной и незначительной интерлюдией, как будто они простояли так целые сутки, ожидая, чтобы пианист в перерыве между частями концерта вытер руки платком и, вновь ударив по клавишам, привел их в движение. Наконец она подняла голову, подставляя губы для поцелуя, халат лениво распахнулся, и Адам сквозь одежду почувствовал, что там находится нечто влажное и теплое, согретое ванной. Он был возбужден, но несколько иначе, чем вчера, — без лихорадочности и беспокойства, — весь преисполненный уверенности, что долгое его ожидание теперь будет вознаграждено. Они касались друг друга языками, словно ослепшие зверьки; он, поднявшись руками к ее затылку и странствуя вдоль линии плеч, высвобождал ее тело от ткани: халат упал на пол, как счищенная

кожура банана. Она расстегнула ему рубашку, в последний миг он вспомнил о манжетах, в которых через секунду запутался бы, и, чтобы освободить руки, отступил на полшага. Лиля с поразительной серьезностью смотрела на него, а когда рубашка лежала на полу, взяла его за руку и медленно повела в спальню, минуя очередные двери, в которых колебались, словно приветствуя их, огоньки свечей. В их свете он видел ее шею, узкие плечи, бедра, которыми она намеренно покачивала, уверенная в том эффекте, который это произведет на него. Они вошли в комнату, где стояла широкая супружеская кровать, и через секунду он ощутит прохладное прикосновение свежего белья (это ведь для него она надевала хрустящие наволочки и пододеяльник?).

Она села на кровать и сосредоточенно принялась расстегивать ему брюки, а потом отодвинулась и легла, протянув к нему руки. Он опустился на колени между ее раздвинувшимися ногами, она потянула его на себя, и он осторожно ложился, чувствуя в горле странный спазм. «Вот только сейчас и начну играть», — промелькнуло у него в голове, но он тут же одернул себя, а потом не было уже никаких мыслей, а лишь прикосновение, бархатистое прикосновение ее кожи, вхождение

между ее бедер. Он чувствовал ее руки, она направляла его, потом стремительно подняла бедра. *«Ты во мне,* — улыбнулась она, — *во мне».* И снова: *«Ой, хорошо, ты во мне».* Она раскачивала его, глядя из-под полуопущенных век, ее лицо то ныряло в тень, то выплывало на свет, колышущийся где-то в глубине комнаты, и было оно внимательно и сосредоточенно; он подчинялся движениям ее колен, которыми она, ласковая проводница, задавала ритм; наслаждение поднималось в нем, он хотел смотреть и не мог, неосознанно закрывая глаза, и снова открывал их, желая налюбоваться ее наготой, и вдруг увидел, как Лиля откидывает голову вбок, лицо ее утрачивает спокойное выражение, она зажмуривает глаза, что-то бессвязно шепчет и начинает сперва робко, сдавленно стонать, а потом стоны становятся все громче и громче — и тут Адам исчез, словно он оставил свое имя где-то там, позади, быть может, вместе с рубашкой, валяющейся около входной двери, не было больше никакого «я», а только растущее, ошеломляющее наслаждение, все более стремительное движение, лёт, скорость, прорывы, чтобы еще дальше, еще сильнее, еще глубже, выплыть из себя, оставить позади тело, ворваться в нее, втиснуться, воплотиться — и

как раз тогда, когда она, счастливо всхлипывая, принимала его, в квартире вдруг вспыхнули все лампочки, люстра под потолком залила их потоками яркого света, и он под сомкнутыми веками увидел ее как кармин, как стену карминового сияния. Он почувствовал отступающую боль в плечах, Лиля спрятала, точно кошка, коготки, гладя подушечками пальцев ему спину, и ощущение у него было, будто от ее ласки заживает его израненная кожа. Она поцеловала его в щеку, и он отважился снова взглянуть на нее: ее почерневшие глаза внезапно стали светлее, зрачки с каждой секундой сужались, радужная оболочка при электрическом свете бледнела, становилась уже не зеленой, а бледно-зеленой, почти белой. Лиля улыбнулась ему и вдруг рассмеялась:

— Какая иллюминация…

И они, сплетясь телами, лежали, как на сцене, потому что никому из них не хотелось вставать, чтобы погасить свет; Адам прижался лицом к ее шее, но какое-то движение под ним вызвало у него беспокойство.

— Тебе не тяжело? — заботливо спросил он.

— Мне замечательно, — шепнула она, и, хоть Адам не до конца поверил ей, подниматься он не стал, потому что это лежание в теплом

податливом теле неожиданно стало источником какого-то нового наслаждения, которого он еще не знал, — и вот, послушный призыву, пришедшему откуда-то из глубины, он вновь стал входить в нее и выходить. Она ответила удивленным взглядом внезапно позеленевших глаз; то, что он может так внимательно, так близко смотреть на нее, занимаясь *этим,* вдруг еще больше возбудило его, тем паче что ее глаза начали затуманиваться, а зрачки скрылись под трепещущими веками. И так текла эта ночь, потная, задыхающаяся, сладостная, прерываемая мгновенными снами, в которые он блаженно и умиротворенно погружался и из которых выныривал, полный ненасытного желания, так что перед рассветом Лиля не выдержала и поинтересовалась, как давно у него не было женщины, и очень долго смеялась, когда он после недолгого раздумья ответил в соответствии с истиной: «Двадцать пять лет».

После одного такого короткого сна его пробудила темнота: видимо, Лиля все-таки встала и погасила люстру, а свеча на комоде у окна, наверное, сама догорела. Адам с сожалением подумал, что не насмотрелся досыта на наготу девушки, и потребовал зажечь свет. Она обняла его:

— Я же всегда перед тобой разденусь, стоит тебе только захотеть. Неужели ты не чувствуешь, что это все — для тебя? А кроме того, тебе не нужно смотреть на меня глазами. Можешь смотреть ладонями, языком.

И он начал путешествовать по ее телу губами, как луноход по поверхности Луны, сравнивал вкус плеч и живота, ласково блуждал вокруг пупка — маленького кратера, — подобрался к треугольнику волос (от волос возникало ощущение чего-то ломкого, легко воспламеняющегося, подобно хворосту). Дальше Лиля его не пустила, удержав мягко, но решительно.

— Я обязательно должна тебе сказать одну вещь. Если вдруг я тебя слишком сильно сожму, ударь меня по крестцу. Со всей силы. Не раздумывай. Это очень важно.

Адам не вполне понял ее, но она не отпускала его голову, и он, не пытаясь высвободиться, прижался щекой к ее животу и попросил:

— Расскажи что-нибудь о себе.

Она начала говорить, но как-то сонливо, часто прерываясь, наверное, тоже утомилась, а может, ей просто не хотелось откровенничать, и Адам толком не знал, не пропустил ли он чего-нибудь между очередными порциями молчания и дей-

ствительно ли она произносила слова, которые он запомнил, или они ему приснились. Из них следовало, что мать у нее умерла, когда она была совсем маленькой, а отец совсем недавно — год назад; Адаму припомнилось, что в изложении Владека это звучало несколько по-другому, но было слишком поздно, слишком сонливо, чтобы расспрашивать. Работала она неподалеку, и работа не вполне соответствовала ее образованию, но, кажется, она ничего конкретного не сказала ни о школе, ни об институте. И вдруг Адам осознал, что ему снится сон, что не может же быть, чтобы они с Лилей жили у озера и чтобы вдобавок у него еще были крылья и он прятал бы их под свитером частично от стеснительности, а частично из вежливости. Но у него не хватило воли, чтобы выбраться из этого сновидения. Проснулся он около полудня: Лиля стояла на пороге в бежевом плаще и с мокрым зонтиком.

— Жуткий дождь пошел, — сказала она. — А я сбегала в магазин.

Потом они сидели в кухне и ели, то есть ел он один, потому как был страшно голоден, а она всего-навсего отщипывала кусочки сухой булки за компанию. А где-то там были какой-то профессор Ц., какие-то консультации, какой-то Шопен,

какой-то конкурс. Среди сумбура мыслей у Адама мелькнуло, что с профессором он как-нибудь объяснится, все уладит, ведь недаром же позавчера во время телефонного разговора он уловил в тоне Ц. интонацию понимания, поддержки и готовность простить. А может, ему просто не хотелось состязаться? Может, музыка служила ему для чего-то совершенно другого? А слава… Но разве он не вкусил ее в полной мере, раскланиваясь в ванной — с полным зубной пастой ртом — перед публикой всего мира, публикой, исполненной восторга, хотя и не существующей, или нет, лучше так: исполненной такого восторга, что это уравновешивало ее несуществование? А перед ним сидела реальная, существующая Лиля; еще минуту назад она радостно смеялась, но вдруг погрустнела.

— Что случилось?

— Собираешься уходить? — с иронической гримаской спросила она. — Попользовался девушкой, и теперь тебя потянуло к другим делам…

Он испугался, оттого что она, возможно, произнесла это серьезно, и тут же понял, что сам, кажется, не сказал ей нечто очень важное. Кажется — потому что не был уверен, что в эту ночь происходило реально, а что — во сне.

— Не собираюсь. Я люблю тебя.

Отчетом было молчание. Лиля встала, зажгла газ под чайником и, не поворачиваясь, спросила:

— Хочешь жить здесь?

Адам встал, подошел к ней и прижался к спине. Несколько секунд он раздумывал, откуда у него такая уверенность, что это ему уже не снится. Между вчерашним и сегодняшним утром зияла пропасть. И сам он стал другим. Кстати, как давно он ее знает? Несколько дней? Всегда?

— А ты не будешь против?

Она через плечо взглянула на него.

— Если ты вторгнешься силой…

Адам вновь ощутил нарастающее возбуждение. Она мягко прижималась к нему ягодицами. «Поэтому», — подумал он. Он возвратился к столу, пытаясь сосредоточиться.

— Выпьешь чаю? — спросила Лиля.

— С удовольствием. А ты выдержишь… если я стану тут играть?

— Если ты выдержишь… Пианино, наверно, расстроено.

— Вызовем настройщика.

«Это потребует времени, — подумал он. — До отбора одиннадцать дней. А где взять деньги? И что будет дома?»

Она опустилась перед ним на колени, прижалась к нему головой.

— Останься.

8

И вот так они стали жить вместе, к отчаянию тети Рени, которую хоть немножко утешило то, что — после первой волны истерики — удалось уговорить Адама репетировать дома. И теперь, когда Лиля отправлялась на службу, он ехал в родительскую квартиру как на работу, и хотя понимал, что все равно они не смогли бы быть в это время вместе, в первый раз в жизни, когда он сидел за роялем, у него появилось ощущение зря потраченного времени. Вдобавок, когда на второй или третий день он вернулся, чтобы посмотреть, как она без него садится в трамвай, как держится, у него возникло странное впечатление, что не он один следует за ней. «Любовь делает меня параноиком», — подумал он, хотя коротко стриженный мужчина неопределенного возраста, который, делая вид, будто изучает объявления у входа на фабрику Норблина, все время зыркал на остановку, а потом побежал и сразу же после Лили втиснулся в трамвай, вовсе не был похож

на видение. Как раз тогда Адам узнал, что Лиля служит в военном комиссариате; она сообщила ему несколько смущенно, словно признаваясь в чем-то постыдном, и смутная мысль, что по этой причине за ней могут вести слежку (только кто?), совершенно вышибла Адама из равновесия; несколько часов он просидел неподвижно за роялем, пытаясь убедить себя, что это лишенная всякого смысла болезненная мысль, вызванная недосыпом и временной разлукой с женщиной, от которой — и он полностью отдавал себе в этом отчет — он буквально зависел физически, физиологически. Когда он чувствовал ее запах, с ним происходило что-то странное: поле зрения сужалось, он превращался в автомат, которому дана команда: *«Локализовать»,* а затем: *«Дотронуться».* И после этого существовала только ее кожа, изысканные комбинации запахов, химических субстанций, которые он впитывал прямо-таки всем телом, потому что у него возникало ощущение самых разных запахов и вкусов, даже когда он касался ее только руками. Воспоминание об этих минутах пробуждало в нем голод, от которого в руках начиналась дрожь, во рту пересыхало, и он не мог играть; впрочем, играл он все меньше, так как очень скоро обнаружил, что Лиля

возвращается домой в четыре, и с этого момента никакая сила не могла удержать его после трех за роялем. Мать неоднократно требовала, чтобы он устроил ей встречу с Лилей.

— Пойми, я обязана ей объяснить, что теперь это наше общее дело, поэтому, если она тебя любит, она не должна губить тебя.

Однако Адам все откладывал эту встречу — поначалу по причинам, не вполне ясным ему, но потом он понял: Лиля притягивает его между прочим и потому, что представляет собой совершенно иную жизненную тропу, начало альтернативной биографии, которую он вовсе не желал соединять с прожитой до этого времени. Он отдавал себе отчет в странности ситуации, в которой родители не знают его адреса и номера телефона; сам он звонил им каждые два-три дня, однако мать, очевидно, вспылила и из гордости ни разу не заикнулась о том, чтобы как-то изменить это положение. Друзьям сына она, наверное, врала, будто он и Лиля ждут, когда им поставят телефон, тем паче что звучало это достаточно правдоподобно. Люди перестали интересовать Адама, и вообще он стал равнодушен ко всему, что не было связано с его возлюбленной. Мать раза два робко заметила, что это смахивает на амок; однажды

она даже пригласила — как бы ненамеренно — на обед знакомого ксендза, однако Адам, испытывая от того некое злобное удовлетворение, так ловко управлял разговором, что не прозвучало ни одного вопроса о нем и Лиле, а потом внезапно встал, попрощался и ушел. Он прекрасно понимал, как выглядит эта история с точки зрения католика: внебрачное сожительство; Господи, было в этом что-то от мастурбантских грез позднего детства, вроде негритянки в обтягивающем костюме с овальными вырезами на огромных грудях, оргии с участием виолончелисток из школьного оркестра или визита в уборную стриптизерки.

Но даже мысль, что он мог бы покориться, что угрызения совести могли бы превратить его в собственного врага, отказывающего себе в праве на любовь к Лиле, приводила его в паническую ярость. *Ecclesia Mater*[49] в его представлении превратилась в союзницу матери, обе они, суровые, авторитарные, угрожали его жизни, отказывали ему в праве быть самим собой. Он перестал ходить в костел, опасаясь того, что мог услышать во время проповеди; нет, ему иногда вправду хотелось возблагодарить Бога за встречу с Лилей,

[49] Примечания: 49
Матерь Церковь *(лат.).*

однако он предчувствовал, что благодарность за повод для греха способна обременить его совесть еще более, чем даже сам грех. И он закрыл эту проблему, как закрыл двери родительской квартиры, ну а та, в которой он сейчас бывал, казалась ему чужой, вроде бы той же самой, однако чуждой, лишившейся привычной ауры. Там царило напряжение, так как никто не скрывал, что его поведение для населяющих ее неприемлемо, точно так же как для него неприемлемы были их претензии. Да, они старались делать вид, будто все хорошо. Да, отец в одиннадцать приносил ему кофе, а мать каждый день покупала пончики. И тем не менее все это было какое-то искусственное.

За несколько дней до отборочного тура, в воскресенье, они с Лилей лежали на разворошенной постели. Адаму в этот день было не по себе, в голове возникали неопределенные, грустные мысли о том, что мать стареет прямо на глазах, покинутая, отрешенная от ритма его жизни, и он машинально гладил Лилину щиколотку, бездумно глядя на золотую цепочку.

— Что с тобой? — спросила она.

— Ничего. Послушай, а что бы ты сказала, если бы мы… если дать маме номер твоего телефона?

— Нашего телефона.

— Нашего телефона, — согласился он. — Что ты об этом думаешь?

Она молчала, и он начал играть цепочкой, перебирал ее пальцами и внезапно наткнулся на подвешенную на ней круглую медальку. Заинтригованный, он наклонился: там было выгравировано имя: «Аглая».

— Что это? Кто такая Аглая?

Лиля села, подтянув колени к подбородку.

— Так, память о давних временах. — Она погладила его по голове. — Когда-нибудь расскажу. Ничего серьезного. Само собой, теперь этот телефон такой же твой, как и мой, вот только… Последнее, чего бы я хотела, — это поссорить тебя с матерью, я знаю, как тебе тяжело, но подумай… Я-то представляла, что здесь будет твое убежище, место, где ты сможешь укрыться. От всех, но также… также и от нее. Пожалуйста, не обижайся, но мне кажется, что она сделала тебе очень много плохого. Ты ведь можешь ежедневно туда звонить. А мама просила тебя дать ей номер?

— Нет.

— Вот видишь, наверное, она сама чувствует, что тебе сейчас больше всего нужно. Она любит тебя, но в то же время будет не в состоянии удер-

жаться, станет нас тут контролировать, все время будет названивать сюда. Ты же знаешь, какая она. Замечательная, но чересчур заботливая. Дай ей еще немножко времени, пусть пройдет этот трудный для вас обоих период, пусть она немножко отвыкнет от тебя. И тогда ты сможешь все снова восстановить, но на своих, а не на ее условиях. — Она обняла его за шею. — Ты сердишься на меня за то, что я тебе это говорю?

— Нет. Пожалуй, ты права.

Он представил себе звонки, прерывающие их любовь, вторжение матери во время их неспешных, ленивых разговоров, беготни нагишом по комнатам, и ему внезапно стало холодно. Он натянул на себя одеяло. Больше они на эту тему не говорили.

За два дня до отборочного тура в родительскую квартиру около одиннадцати явилась тетя Люся. У Адама не было ни малейших сомнений: слишком точно она совместила свой *entrée*[50] с его перерывом на кофе, чтобы это могло оказаться случайностью. Люся определенно была самой оригинальной особой во всей их обширной родне: семидесятилетняя дама в неизменной огромной,

---

[50] Примечания: 50
Здесь: приход *(фр.).*

украшенной цветами шляпе и с сумкой, повешенной через плечо, перемещавшаяся по городу на велосипеде. Высокая, с мужскими чертами лица, она выкуривала бессчетное количество сигарет и изъяснялась языком, который, как ей, видимо, казалось, наилучшим образом соответствовал нынешнему времени: то была невероятная смесь довоенного польского — мелодией голоса она немножко напоминала Нину Андрич — и грубых ругательств. Мужа она похоронила довольно давно и, как казалось родственникам, не особенно горевала по нему («Упокой, Господи, его душу, но был он офигенно говенным старикашкой», — бросила она во время обеда, когда Реня со слезами на глазах попробовала ее утешить). Единственного сына она в конце семидесятых отослала в Америку, аргументируя это тем, что не для того она провела в нищете всю жизнь, чтобы смотреть, как «эти сучьи падлы морят голодом следующие поколения». Решительным шагом она вошла в комнату с роялем, уселась рядом с ним и забарабанила длинными ногтями по его крышке.

— Давай, Адам, выкладывай, почему твоя мама всем рассказывает, что сын у нее вырос блядью мужского пола. Ты что, в партию вступил?

Адам присматривался, как она костистыми пальцами вытаскивает из пачки сигарету.

— Тетя, дай закурить.

— Давай, трави легкие, трави. В конце концов, ты же не на трубе играешь. — Она закашлялась. — Ну так выкладывай, да не смей врать.

— Мама действительно так говорит?

— Ну что ты, твоя мать, как всегда, *comme il faut*,[51] так что ты, надеюсь, не думаешь, будто она способна сказать что-то человеческим голосом. Но смысл именно такой.

Адам вздохнул.

— Я отделился, живу теперь в другом месте. И вообще не понимаю, чего ради такой шум поднят, — не слишком искренне произнес он.

— Но ты играешь?

— Как видишь.

— Пока я вижу, что ты пьешь кофе и обкуриваешь старушку. Зрение, дорогой мой, у меня еще в норме. Значит, дело в женщине.

— Да. Возможно, причина в том, что начали мы не со свадьбы.

— Гм. Должна тебе сказать, что Реня еще до войны была не от мира сего. А можно узнать, каковы

---

[51] Примечания: 51
Здесь: прилично *(фр.)*.

планы относительно *une belle femme,*[52] которую наш чудесный мальчик имеет честь заваливать на спину?

— Тетя!

— Что такое? Ты иначе себе это представляешь?

— Иначе.

— Ах, ах! — Заученным жестом она подняла руку к виску. Серебряные кольца и браслет странным образом контрастировали со старческими пятнами на пальцах. — Я не хотела тебя оскорбить. О, пришел наш регент Молчун. — Отец поставил перед ней чашку. — Спасибо. — Когда же дверь за отцом закрылась, Люся доверительным тоном добавила: — Почему они решили угощать меня ромашкой? Я не хуже их помню, что у меня был инфаркт, но кофе все-таки лучше.

— Тетя, это не ромашка. Это зеленый чай, друг отца привез его из Болгарии, и отец считает его деликатесом.

— Ну, он мог бы в крайнем случае объяснить мне, что это. Значит, жизнь у тебя была невыносимая и ты сорвался с цепи, да?

Адам рассмеялся, однако кожей чувствовал,

---

[52] Примечания: 52
Красивой женщины *(фр.).*

что доверять Люсе нельзя: она всегда производила впечатление бесцеремонной бунтарки, этакого *enfant terrible*[53] в почтенном семействе, но он знал, что все это показное, — в подлинно конфликтной ситуации она на удивление смягчалась, искала компромиссов, как, например, на службе, где (чтобы не идти в коммунисты) она записалась в Стронництво Демократычне,[54] за что, кажется, тут же получила повышение, или, когда мать Войтека (да, да, моя мама) пришла к ней в слезах и рассказала, что у ее мужа, архитектора, появилась женщина и она подает на развод, Люся тотчас пересказала это родителям Адама (который подслушивал из другой комнаты, куда его отправили) с неожиданным комментарием, что любой ценой нужно избежать скандала да к тому же бедная Тереска слишком мало зарабатывает, чтобы в одиночку вырастить сына даже с учетом алиментов. В общем Адам любил ее слушать, его забавляла манера, в какой она излагала факты, однако то была всего-навсего забава, стилистическая игра, декламация без реальных

[53] Примечания: 53
Жуткий ребенок *(фр.).*

[54] Примечания: 54
Стронництво Демократычне — в ПНР Демократическая партия, сателлит ПОРП.

последствий. Вдобавок по характеру тетка была сплетницей, и можно было быть стопроцентно уверенным, что все сказанное сейчас Адамом еще до наступления вечера будет пересказано его матери.

— Да ни с какой цепи я не сорвался, — осторожно возразил он. — Небольшое семейное недоразумение, просто мама немножко впадает в истерику. Ты же знаешь, какая она.

— Какая у тебя мама, *chéri,*[55] ты можешь мне не рассказывать. Я знаю ее как облупленную, сидела еще у ее колыбельки. В сравнении со мной динозавры — это детсадовцы. — Люся с отвращением отхлебнула из чашки, отставила ее, воздев очи горе, и встала со стула. — Но лицемерия, мой милый, я не выношу. Ты прекрасно знаешь, что это не мелкое недоразумение, для твоей матери это — землетрясение. Она всегда хотела быть актрисой. И она стала актрисой — в тебе. И если ты просрёшь этот конкурс… Ладно, до свидания.

То, что Люся сказала напоследок, пусть это было коротко и по характеру несколько театрально, — и особенно поспешный уход, — произвело на Адама такое впечатление, что, возвратясь на

---

[55] Примечания: 55
Дорогой, дорогуша *(фр.).*

Желязну, он решил проверить, в каком состоянии находится пианино. «В конце концов, — решил он, — я могу заглушить струны и упражняться всухую». Правда, в нем сохранилось достаточно скепсиса, чтобы подумать, что если он — как порой высказывала предположение мать — и сошел с ума, то, судя по тете, в их семействе он не исключение. Но одновременно теперь он яснее, чем когда-либо, понимал, что дело вовсе не в его участии в конкурсе, не в Шопене и даже не в его судьбе и карьере — дело в исполнении мечты матери, в оправдании смысла всей ее жизни. Это понимание обрушилось на него всей своей тяжестью, и хоть внутренне он бунтовал, убеждал себя, что недопустимо решать свои проблемы за счет другого человека, тем не менее впервые в тот день он довольно холодно поздоровался с Лилей и открыл крышку пианино. Раздались первые звуки — чудовищно фальшивые, звучало это кошмарно, словно он нанялся играть шлюхам на Диком Западе, а то и хуже того; чтобы как-то исправить настроение, он перешел на Джоплина, «Entertainer» на этом инструменте еще можно было кое-как слушать, но посередине клавиатуры несколько клавишей не действовали, только глухо трещали. Он прекратил играть. И в этот

момент в комнату вошла Лиля. Она успела переодеться, на ней было летнее кремовое платье до середины бедер, уже достаточно поношенное, словно пришедшее со времен детства, из давних времен. Она встала рядом с ним, а когда он откинулся, закрыла клавиатуру. Села на крышку и, многообещающе улыбаясь, раздвинула ноги. Под платьем на ней ничего не было; Адам наклонился и засунул ей между ног лицо. Пахло ванилью.

9

— Ванилью? — переспросил я. — Запах, скорее, необычный.

Адам с трудом закивал головой. В ту ночь мы выпили больше, чем обычно, за окном уже светало. Сидели мы у меня.

— Ты прав, — хрипло пробормотал он, — но я узнал об этом значительно позднее. У нее между ногами пахло ванилью. Вот такая, понимаешь, она была.

Я с минуту обдумывал сей незаурядный факт. Потом потянулся к бутылке, но почувствовал, что это не самая мудрая мысль.

— А через два дня был отборочный конкурс.

— И что? Ты принял в нем участие?

— Да. Принял. От Люси я узнал, что родственникам мать рассказывала все по-другому. Да, я участвовал, участвовал. Пара у меня хватило на два этапа. Технически я по-прежнему был неплох, в общем это не было проблемой, хотя чувствовалось, что я сдал. Совсем немного. Но на втором этапе я думал совершенно о другом. Понимаешь? Все было превосходно, только без души. Беглость пальцев. И то самое скерцо, оно не получалось у меня так, как мне хотелось. Когда я сошел с эстрады, ко мне подошел профессор и спросил без всякой агрессии, скорее с изумлением: «Пан Адам, что с вами происходит?» Разумеется, если бы он вступился за меня, я прошел бы и в следующий тур, вполне возможно, это был просто кризис… Но, наверно, он не захотел. Мама предусмотрительно не стала распространяться, что я принимаю участие в отборе, так что ей потом было легко говорить, будто я вообще даже не пошел туда. Совершенно убитый, я хотел навестить ее, когда убедился, что меня нет в списках допущенных к следующему туру. Кажется, я решил проявить смелость и самому объявить ей об этом. Но она уже знала. Она приняла меня в коридоре и сразу же начала кричать, ругала меня самыми последними словами, а Лилю называла

не иначе, как потаскухой, но все дело было в ней самой, это было какое-то безумие: она кричала, что я сломал ей жизнь, что втоптал ее в грязь, что я поступил подло… На меня тоже что-то нашло. Я орал на нее, что она никогда меня не любила, что мучила меня столько лет ради собственного удовольствия, орал, чтобы она отцепилась от меня, а когда она разрыдалась, я просто не мог на это смотреть и потому хлопнул дверью и сбежал. Лиля была дома, хоть время еще было рабочее, и я расплакался от стыда и благодарности, что она существует. При ней я как-то оттаял. А потом я решил, что за все надо платить, и я выбрал то, что для меня важнее.

Адам умолк и какое-то время крутил пустую бутылку.

— Теперь нам ничего не мешало. Только люди, которые следили за ней. Назавтра я смотрел из окна, когда она выходила из подъезда, и увидел, что за ней шли какие-то двое. Тот, которого я уже засек, и еще новый.

10

Теперь им ничто не мешало. Как только Лиля приходила с работы, он начинал ласкаться к ней,

и они, прижавшись друг к другу, шли в кухню, где вместе готовили, причем она всегда настаивала, чтобы солил и добавлял прочие приправы он, потому что, как она объясняла, у нее извращенный вкус, а после они отправлялись в спальню или ванную и, занимаясь там любовью, еще больше возбуждались, глядя на свои многократные отражения. Потом лениво разговаривали. Адам закуривал сигарету — он уже приучился курить, и они строили планы далеких путешествий, сочиняли красочные истории о духах и привидениях или порнографические версии знакомых с детства книжек; иной раз Лиля вытаскивала из него истории о его семье, и, Адам, пересказав все, какие помнил и знал, начал их лихо сочинять. Никто им не звонил, телефон молчал, и порой Адам удивлялся: Лиля поначалу показалась ему такой компанейской, а на самом деле она совсем одинока. У нее был только он. И у него была только она; после неудачи на отборочном конкурсе он не желал общаться ни с кем, кого знал прежде, а ссора с матерью освободила его — так он считал — от обязанности звонить родителям. И они опять любили друг друга, а когда начинало светать, Адам погружался в сон и просыпался только после полудня; правда, случалось, что ему

не хотелось терять ни минуты общения с Лилей, и тогда он вылезал ранним утром из постели, выпивал чашку ячменного кофе и, только когда за девушкой захлопывалась дверь, снова шел досыпать. Когда же он дожидался ее возвращения, ему порой приходила мысль, что ведет он какое-то растительное существование и превратился в любимого — тут не поспоришь, — но тем не менее жиголо, поскольку сам он ничего не зарабатывал, дом содержала она, однако всякий раз, когда он затрагивал эту тему, Лиля смеялась и говорила, чтобы он не брал это в голову. И однажды в конце дня, не в силах заставить его замолчать — он долго рассуждал, что мог бы работать в каком-нибудь кафе или Доме культуры, вот только ему не хочется терять время, которое они могла бы проводить вместе, однако что-то делать надо, и кафе — это неплохая мысль, хотя, с другой стороны, случайные встречи с людьми, которых он знал по Академии, были бы для него крайне неприятными, но нельзя же, чтобы она одна надрывалась, зарабатывая им на жизнь; продолжалось это почти весь вечер, в конце концов Лиля не выдержала, махнула рукой в сторону стоящей в спальне стенки и сказала:

— Открой бар и перестань занудствовать.

Он решил, что она хочет, чтобы он принес выпить, но, когда открыл дверцу, из бара посыпались пачки в банковской упаковке. Адам поднял одну: там были стодолларовые банкноты.

— Что это? — ошеломленно бросил он.

— Мои сбережения, наследство от отца, от бабушки, выигрыш в лотерею, и успокойся, ради бога, — недовольно ответила она и спрятала голову под подушку.

Адам сел на край кровати, долго гладил ее рассыпавшиеся волосы; ему вдруг пришло в голову, что он почти ничего не знает про нее, и вдруг ощутил укол ревности — ревности к прошлому. «Когда-нибудь я расспрошу ее», — подумал он. Хотя это могло быть заблуждение: Адам ничуть не сомневался, что он околдован, утратил волю и оказался привязан к этой женщине, и уже не имеет никакого значения, чем она когда-то занималась, кем была и как обойдется с ним впоследствии. Однако он все-таки здорово тогда перепугался, и на следующее утро, когда Лиля ушла, не пошел спать, а уселся за столик, за которым она принимала его в первый раз, курил сигарету за сигаретой и раздумывал о своем положении. Он должен найти какое-то занятие. Дело теперь было даже не в заработке, а в отвоевании

хотя бы следов самостоятельности. С изумлением он пришел к выводу, что под контролем матери он был, пусть связанным по рукам и ногам, несамостоятельным, но все-таки неким реально существующим «я», а теперь его словно бы вообще не стало.

Близился сентябрь. Адам решил начать с домашних работ: взял из бара доллары, обменял на злотые и купил краску, чтобы покрасить стены (с каждым днем все больше казалось, будто на них напал лишай). Возвращаясь с покупками домой, он встретил Лилю; в почтовом ящике что-то было, она довольно неохотно открыла его, и оба с изумлением обнаружили, что на конверте стоит его фамилия, а вот обратного адреса нету.

— Ты кому-нибудь говорил, что живешь здесь? — спросила Лиля.

Он пожал плечами и вскрыл конверт, из него высыпались газетные вырезки. Он проглядывал их, поднимаясь по лестнице: фотография Погорелича, рецензия на концерт Эвы Поблоцкой, воспоминания о Глене Гульде, ксерокс английской статьи об успехах Кристиана Циммермана.

— Дурацкая шутка, — буркнул он, и у него смутно зашевелилась мысль, что в этом вполне может быть замешана мать, хотя, если бы у нее был его

адрес, она, скорее, прислала бы кучу попреков, а не занималась бы анонимными письмами.

А может, это кто-нибудь из коллег хочет его мобилизовать? Или Владек? Да, Владек, пожалуй, наиболее вероятный отправитель, тем паче что после его дня рождения в Лесной подкове они больше не встречались.

— Дай сюда, — сказала Лиля, когда они вошли в квартиру, и выбросила всё в помойное ведро.

Тем не менее он принялся красить стены, руководствуясь книжкой «Советы домашнему мастеру», которую он высмотрел в книжном магазине. Заодно он купил и «Сто пятьдесят кулинарных рецептов», чтобы готовить обеды, а поскольку ему все равно этого было недостаточно, начал писать стихи. То были чувственные записи их ночей, все посвященные Лиле, свидетельства — как дошло до него недели через две — подлинной мании, поскольку в отсутствие девушки он, по сути, заново овладевал ею — словами, умножал как в зеркале, еще раз обольщал (или, вернее, на этот раз обольщал, потому что на самом деле она его обольстила, теперь на сей счет у него не было ни малейших сомнений). Таким образом он хоть в какой-то мере воссоздал свою отдельную собственную жизнь, начал

вставать вместе с Лилей и проводил дни так, чтобы было о чем ей рассказать, не вдаваясь в эфемерные сюжетики семейной саги, которая силой его воображения неимоверно разрослась, обогатившись сонмищем теток, дядьев, кузенов, дальних родственников и свойственников. Засыпали они теперь раньше, утомленные не только любовью, но и активно проведенными второй половиной дня и вечером. Посылки больше не приходили, во всяком случае в руки к нему не попадали; однажды как-то он увидел в почтовом ящике новое письмо — ключик был у Лили, — но когда вечером спросил у нее, что там было, она, смешавшись, пробормотала, что это пришло ей и вообще там ничего не было важного. И он с какой-то поразительной уверенностью, подумал, что она оберегла его от очередного анонимного послания.

О матери он думал редко, но зато двояко, видя одновременно оба ее лица и сам при этом раздваиваясь. Он считал, что она была замечательной и сверхзаботливой матерью, что сделала ему много плохого и даже страшного, но все это из любви и что когда-нибудь он восстановит с нею отношения, но уже на своих, а не на ее принципах; одновременно он вспоминал их разговор в

коридоре после проваленного отборочного тура, и ему становилось ясно, что любила она только свое представление о нем, что он был лишь носителем ее мечты и что та степень эгоизма, какой она проявила, — а он тогда, проиграв отборочный конкурс, действительно очень нуждался в ней — освобождает его от всех сыновних обязанностей. В один из дней он стоял возле телефона, убеждая себя, что никогда не позвонит ей, что раз она обошлась с ним, как с чужим человеком, — вдруг прозвенел звонок. Адам вздрогнул, ему ни разу не доводилось здесь слышать этот звук. После третьего звонка он взял трубку, почти убежденный, что сейчас раздастся ее голос. Однако произошло нечто куда более странное: на том конце провода незнакомый мужчина спросил:

— А вам не жаль, что вы больше не играете на рояле? — после чего раздался глухой щелчок и связь прервалась. Это произошло в первых числах сентября 1984 года.

— Ты когда в последний раз говорила с Владеком? — спросил Адам, когда пришла Лиля.

— А что такое?

— Понимаешь, я никого не хочу обвинять, но, наверное, только он мог догадаться, что я тут живу. Сегодня был какой-то дурацкий звонок,

примерно того же типа, что и письма, — он намеренно употребил множественное число.

— Черт, — выругалась она. — Но это явно не Владек. Он на такое не способен. Я его хорошо знаю. Впрочем, я сейчас ему позвоню.

Адам мыл посуду и слышал, как Лиля разговаривала с ним:

— Привет, Владек. Что у тебя слышно?... Ага... Ага... Да, я с ним... Ну да... Мне тоже очень жаль... Слушай, у нас тут какая-то чушь идет. Какие-то письма приходят с вырезками о пианистах. А теперь звонки пошли... Да, Адаму звонят... Но я же тебе говорю, что мы вместе живем... Ничего смешного в этом нет... Возможно, это неплохая мысль. Пока. — И она положила трубку.

— Ну и?

Лиля оперлась о газовую плиту. Пожала плечами.

— Посоветовал попробовать подать заявление на смену номера.

— После единственного звонка? Бессмысленно.

— Я тоже так считаю. Может, больше не будут звонить. — Лиля подмигнула ему, но было заметно, что она нервничает. — Но в любом случае это не Владек. Он человек серьезный, а это просто какое-то мелкое свинство.

Он хотел попросить, чтобы она поцеловала его, но в это момент ему в глаз попала отскочившая от тарелки капля; видимо, в ней была какая-то соринка, потому что, начав тереть глаз, он почувствовал боль и у него полились слезы.

— Помоги мне, — попросил он, но она не стронулась с места. — Ну помоги же! — рявкнул он.

— Я не сумею, — услышал он в ответ, — боюсь. Ты попробуй промыть. — Он побежал в ванную, она принесла ему суповую ложку и предложила: — Попробуй в ней.

— Мне что, глаз, что ли, вынуть? — со злостью бросил он, отодвинул ее, завернул веко и стал горстью плескать воду; через какое-то время стало легче. Он с претензией глянул на нее. — Знаешь, самаритянка из тебя совсем никудышная.

Вид у нее был сокрушенный.

— Прости. — Она прижалась к нему. — Я не доверяю своим пальцам. Не сердись.

Он принялся внимательно рассматривать ее ладони, и уже через минуту это превратилось в игру; она, смеясь, сжимала кулаки, он языком разжимал их, лизал жемчужные ногти и вновь желал ее, она не противилась. «Да, самаритянка, может, из нее и никудышная, — мелькнуло у него в голове, когда он взглянул в зеркало, — зато

Суламифь потрясающая».

На другой день была суббота, и он предложил ей отправиться на прогулку; предварительно на плане Варшавы он высмотрел, что в глубине Воли в нескольких остановках от них находится парк, которого он не знал. Она не стала спрашивать, почему он решил идти не в Лазенки или в Старый город; возможно, понимала, что ему не хочется показываться там, где он может встретить давних знакомых. На углу Вольской и Элекцийной раскинулся обширный зеленый массив, они медленно шли по нему, осматривая остатки бассейнов или каскадов, которые, вероятнее всего, были построены при Гереке в характерном стиле семидесятых годов (бетонные отвесные стенки, голубой кафель) и, наверно, никогда не наполнялись водой. В них вовсю разрастались сорняки, разрушая глазурь, выщербливая бетон, укрывая все зеленым покровом. Внезапно дунул ветер, Адам резко обернулся, застегивая куртку; ее полы от порыва разлетелись в разные стороны, и неожиданно в нескольких десятках шагов увидел того самого типа, которого — как ему казалось — он уже несколько раз ловил на том, что тот ходит по пятам за Лилей. Ему стало не по себе.

— Лиля, — прижался он к ней, — мне бы не

хотелось, чтобы ты сочла меня психом, но… ты не знаешь мужчину, который идет за нами? Обернись, только осторожно.

— Какого? — спросила она.

Адам тоже оглянулся и некоторое время искал его взглядом. Наконец нашел: этот тип свернул в перпендикулярную аллею и направлялся в сторону Элекцийной.

— Вон того.

— Нет. А почему ты спрашиваешь?

Он не знал, что сказать. Ему не хотелось пугать ее. Но, с другой стороны, если он не ошибался, ей следует быть осторожной, что бы за этим ни крылось. А этот хмырь шел сейчас по улице параллельно им.

— Я понимаю, что прозвучит это нелепо, но мне кажется, что я уже неоднократно видел его. Как будто он интересуется тобой. Знаешь, такой неизвестный поклонник.

— Ты меня пугаешь.

— Извини, быть может, мне кажется, — хотя он был абсолютно уверен. — Вот что мы сделаем: когда завтра ты пойдешь на работу, я тоже пойду с тобой. Если мы его встретим, я возьму его за шиворот и набью морду.

— Только не ввязывайся в скандалы и вообще

успокойся.

— Что значит успокойся? Мою женщину не будет преследовать какой-то извращенец, — его внезапно затрясло от злости. «Но ведь раньше их было двое», — подумал он. Ветер задул сильней, и они повернули и пошли к трамваю.

11

К началу осени с покраской было покончено, и перед Адамом встала проблема: что дальше. Как любовница Лиля была чудесна, однако он чувствовал, что без какого-нибудь занятия он начинает рядом с ней задыхаться и вообще не в состоянии больше так жить. «Мужчина одомашненный», — со злостью называл он себя в мыслях и все чаще подумывал, что пора спрятать амбиции в карман и устроиться где-нибудь тапером. Неизвестно почему, такая версия последующих событий наиболее ясно представлялась ему, и он с недели на неделю откладывал реализацию этого своего плана. Тем паче что сейчас нечто совершенно другое занимало его мысли и сдерживало принятие решения: Адам набрался уверенности, что за ними следят и вообще вокруг происходит что-то странное. Стали повторяться телефонные

звонки, тот же самый тип иногда задавал ему вопросы касательно рояля, а иногда произносил только: «Пан Клещевский, одумайтесь», а один раз так даже: «А может, ваша мать больна?» После этого Адам преодолел себя и позвонил родителям; трубку взял отец и холодно объявил, что не желает с ним разговаривать. На вопрос о матери ответил вопросом:

— Неужто тебе это стало небезразлично?

— В конце концов, я ваш сын, — чуть сдавленным голосом произнес Адам.

— У нас больше нет сына, — услышал он в ответ, и в трубке раздались гудки.

Как ни парадоксально, этот разговор вернул ему спокойствие; он вспомнил, что на улице Тувима живет еще и отец, короче, они там вдвоем и как-то справляются. Ну а кроме того, взыграло уязвленное самолюбие: раз нет у них сына, пусть так и будет. После этого Адам перестал поднимать трубку, а потом вообще выключил телефон. И когда он делал это, только одна неприятная мысль возникла у него: «Изоляция прогрессирует. Падаю все ниже».

Но то была изоляция не тюремная, а, скорее, осажденной крепости, поскольку, выглядывая в окно, теперь уже оба они замечали каких-то подо-

зрительных индивидуумов, которые крутились возле дома и следовали за ними, куда бы они ни шли. Адам предлагал заявить в милицию, однако Лиля решительно воспротивилась, заявив:

— Тем гадам в мундирах я доверяю еще меньше, чем вот этим.

Вскоре газеты сообщили о похищении ксендза Попелюшки, о его смерти и о том, что похитители найдены, и Адам подумал, что Лиля, которая, казалось бы, политикой не интересуется, ориентируется в ней гораздо лучше, нежели он, читатель газет. Она пообещала, что вместо милиции она сообщит у себя на службе и попросит о помощи коллег, и, когда через несколько дней Адам показал ей на прогуливающегося около их двери очередного типа, она рассмеялась:

— Этого можешь не бояться, этот наш.

Таким образом стало спокойнее, но как-то еще непонятнее. Их страстный роман теперь развивался в окружении каких-то многочисленных и таинственных личностей.

Как раз тогда Адам решился вернуться к музыке, заказал настройщика и купил проигрыватель, с раздражением думая, что у родителей осталось множество его пластинок, к которым теперь у него не было доступа. Но Лиля поразила его: когда

он привез домой проигрыватель, а вместе с ним и двойной альбом с записями Малцужиньского, она сказала:

— А у меня тоже есть одна долгоиграющая пластинка, — и, таинственно улыбаясь, принесла, пряча за спиной, что-то из другой комнаты. Когда зазвучала музыка, Адам вздрогнул: это была «Песня Роксаны» Шимановского в исполнении Каи Данчовской. Видимо, выражение лица у него было еще то, потому что улыбка у Лили тут же погасла:

— Что такое? Что-нибудь не так?

— Нет, нет, все в порядке. — И он укрыл лица в ладонях, пытаясь понять, действительно ли это по-прежнему его трогает. — Просто одна давняя история.

— Какая? Расскажи. — Она села рядом и обняла его за шею.

Адам молчал. Он прекрасно знал это произведение и помнил наизусть, несмотря на то что прошло столько времени. Изумленный стон в высоком регистре, вызванный нежным прикосновением, тихое любовное постанывание — все выше, все громче, потом несколько низких вздохов, как будто волна тепла стекает румянцем от напрягшегося горла куда-то вниз, к диафрагме,

и вновь высоко, тонко — рыдание, мечущееся вокруг мелодической линии, как внезапно понимающаяся нагая дама, распаленная ласками, — танец точеных бедер, рука, скользящая по струне, еще выше, еще сильней, вплоть до приносящего облегчение плача, убаюкай себя, утешься: всё, всё, тихо. Но на самом деле это было не так. На самом деле ничего этого не было слышно. Адам потряс головой.

— Несколько лет назад я был на каникулах у моря с одной скрипачкой. Мне было семнадцать, ей чуть больше. Думаю, это была моя первая щенячья любовь.

— Ах ты обманщик, — рассмеялась Лиля. — Значит, я не первая твоя женщина?

— Первая. Получаешь ведь не все, чего хочешь. Наши репетиции я действительно переживал очень эротично, но покорно сидел за пианино. А за ней ухлестывал один парень, наверно, ее ровесник, и я страдал, потому что видел, как они смотрят друг на друга, как садятся рядышком в столовой. Он, пожалуй, относился ко мне с симпатией, но я его ненавидел. Однажды после ужина я увидел, что они пошли гулять, и решил проследить за ними. Они прошли за поселок в лес, и, когда начали целоваться, я расплакался от ревно-

сти, унижения и убежал. — Адам почувствовал, что Лиля гладит его по голове. — А перед входом в наш пансионат наткнулся на мать, и она принялась причитать, как она беспокоилась обо мне и что я должен быть всегда при ней, потом вдруг достала расческу и захотела меня причесать. Я почувствовал себя куклой, маленьким ребенком, подумал, что так будет всегда, резко вырвался и убежал. Я помчался обратно в лес, хотел найти того парня, избить его, плакал от злости, собирался с ним драться, хотя, сказать по правде, я его только рассмешил бы, потому что грудная клетка и плечи у него были как у культуриста. Ну а я…

— Тебе чего-то недостает? — спросила Лиля и лизнула его в ухо. Ему стало жарко.

— Я забрался довольно далеко в лес, куда дальше того места, где их оставил, и остановился в растерянности. И тут увидел: между деревьями что-то белеется. Четко я не видел, было темно…

— Подожди, — шепнула Лиля. Она зажгла свечку на комоде и погасила верхний свет. — Так было?

— Примерно, — усмехнулся он, глядя на эту инсценизацию. — Скрипачка стояла, держась за ствол, лицом к дереву, обхватив его тонкими ладонями.

Лиля подошла к дверному косяку.

— Так она стояла? — шепотом спросила она.

— Так, — еще тише ответил Адам. Несколько секунд они молчали. — А он стоял позади нее…

— Встань, как он. — Это даже не был шепот, то была тень шепота. Адам на дрожащих ногах подошел и встал у нее за спиной. Они шумно дышали, воздух переносил теперь только контуры гласных.

— Они это делали?

«Песня Роксаны» потихоньку замирала. Адам сглотнул слюну.

— Да.

Настала тишина.

— Ты был возбужден?

— Да.

— Сделай это сейчас. Как он. — Лиля ухватилась длинными пальцами за косяк, оглянулась на него, когда он задирал ей платье и стаскивал трусики; губы у нее были полуоткрыты, как у той, и она, как та, отдавала свое тонкое тело, чтобы он вонзался в нее, и сердце у него колотилось ненормально громко, словно пытаясь состязаться со стуком замолчавшей пластинки. То было не наслаждение, то был некий экзорцизм; сейчас они стояли у моря, и он двигался вперед-назад внутри

ее тела, прислушиваясь к шорохам, догадываясь, что в двух десятках шагов стоит мальчишка и подглядывает за ними; по ее спине пробегала ритмичная дрожь, волосы опали набок, открыв шею дуновениям ветерка, из-под блузки медленно струился вверх темный румянец. — Да, — шептала она. — Да. — Увлажнившимися ладонями он придерживал ее за обнаженные бедра и наконец излился в нее со спазмом, который велел ему крепко обнять ее за талию, с облегчением приникнуть к ней, почти приподнять.

Прижавшись ухом к ее плечу, он услышал, как она шепчет:

— Очищаю тебя от всего. От всех женщин, которых ты желал. Теперь существуем только мы.

«Теперь существуешь только ты», — хотел он поправить ее. Больше не имели значения ни эти типы за окном, ни его одомашненность, ни мать, ни Шопен, ни даже то обстоятельство — он подумал об этом с какой-то удивительной трезвостью, — что проигрыватель должен был бы выключиться автоматически и, видно, придется в нем что-то исправлять. Теперь существовала только она, существовала более чем когда-либо.

12

Все могло кончиться иначе и уж во всяком случае раньше, если бы Адам не решил в тот день после посещения нескольких кафе на Краковском Предместье, в которых он пытался наняться тапером, — каждый очередной отказ он принимал с удивлявшим его самого облегчением — поехать встретить Лилю после работы. Пришлось дожидаться трамвая, который к тому же чудовищно долго стоял перед семафором на улице Окоповой, так что, вылезая из него, Адам опасался, не разминулся ли он с Лилей, тем более что он весьма приблизительно знал, где находится этот комиссариат, а времени было уже двадцать пять минут четвертого. Если она вышла раньше… Но нет, он вскоре заметил ее силуэт на фоне улочки, она подходила уже к перекрестку с улицей Каспшака. Несколькими десятками метров ближе шли двое уже известных ему мужчин, и Адам, чувствуя накатывающую ярость, ускорил шаг, намереваясь осведомиться, чего им нужно от Лильки. Видимо, они услышали его шаги, потому как оглянулись, и в этот момент мимо Адама проехал серый автомобиль — впоследствии он не

мог даже уверенно сказать, какой марки, помнил только, что западный, может, «БМВ», — и тут случилось нечто такое, что смахивало, скорее, на сцену из американского фильма, так что он на миг остолбенел, ошеломленно глядя на происходящее. Автомобиль обогнал Лилю, с визгом тормозов въехал на тротуар, из него выскочили водитель и пассажир и набросились на девушку. Те двое, что шли за ней, побежали туда, секундой позже стартовал и Адам. Он толком не понимал, что происходит, но, когда подбежал ближе, сориентировался, что мужчины дерутся друг с другом, причем те двое, которых он знал, вроде бы защищают Лилю. Водитель машины сбил с ног противника, схватил девушку за шею — она как раз поднималась с земли — и потащил ее к машине, стоящей с открытыми дверцами. Адам пнул его изо всех сил, страх и бешенство придали ему энергии, и он с размаху молотил похитителя кулаками, Лиля кричала, но теперь их было трое, численное преимущество было на их стороне, и это явно оказалось неожиданностью для нападавших. Второму похитителю удалось сбросить с себя стриженного ежиком преследователя Лили, он толкнул Адама, вскочил в машину, следом запрыгнул водитель и, безостановочно гудя клак-

соном, прорвался по газону на противоположную полосу улицы Каспшака, по которой рванул в сторону города. Когда же Адам, не слишком соображая, что же дальше, повернулся к оставшимся — действительно ли они друзья или придется драться теперь и с ними? — произошло совсем уж непонятное. Оба мужчины переглянулись, в глазах у них блеснуло что-то наподобие испуга, и как по команде они развернулись и побежали в сторону улицы Вольской. Еще минуту-другую видно было, как они улепетывают. Адам оглянулся на Лилю, она стояла рядом, запыхавшаяся, помятая, в порванном плаще, но живая. Спасенная. С ближней остановки подошли люди.

— С вами ничего не случилось? Это среди белого дня! Вызвать милицию?

Лиля отрицательно мотала головой, было заметно, что она еще не пришла в себя. Адам дрожащим голосом согласился:

— Да, конечно милицию… — однако Лиля схватила его за плечо.

— Успокойся, ничего же не произошло. Поехали домой.

Возможно, они и заспорили бы, но прежде чем он успел ответить, а вернее, выдавить из себя ответ, так как с каждой минутой его все сильнее

трясло, подъехала милицейская патрульная машина. Вместе с милиционерами они вошли в комиссариат — он оказался ближе других официальных зданий, и как раз из него кто-то сообщил в милицию о нападении. Начался опрос, составление протокола, из случайных свидетелей остался только один, очевидно зазевавшийся и не успевший вовремя смыться, и вид у него был, когда ему пришлось показать удостоверение личности, безумно несчастный. Впрочем, он ничего не видел, кроме привлекшей внимания какой-то драки на углу. Марку автомобиля установить не удалось, а уж о номере и говорить не приходится. Пользуясь случаем, Адам сообщил о странных звонках и о мужчинах, которые уже несколько недель торчат около их дома.

— Почему же вы сразу не заявили? — с претензией в голосе спросил старший по званию и, заглянув в удостоверение личности Адама, добавил: — И почему это вы проживаете не там, где зарегистрированы? Не знаете, что ли, что это административное нарушение и за него полагается наказание?

— Да что вы ко мне цепляетесь? — разозлился Адам. — У меня невесту хотели похитить, а вы ко мне с такими глупостями. Зарегистрируюсь я,

зарегистрируюсь, можете быть спокойны.

Милиционер посмотрел на него, потом взглянул на коллегу, и они согласно кивнули.

— Полегче, гражданин, полегче, — с угрозой в голосе бросил Адаму первый милиционер. — Повежливей чуток. Я понимаю, у вас нервы, но зарегистрироваться вы обязаны. Еще месяца три назад у вас были бы серьезные неприятности. Но сейчас я могу посмотреть на это сквозь пальцы, только говорите повежливей. И зарегистрируйтесь. Мы придем, проверим.

— Мы можем уже идти? — спросила Лиля. Видно было, что чувствует она себя уже получше.

— Наверное, через какое-то время придет повестка. Вы можете понадобиться для выяснения новых открывшихся обстоятельств. Или же для опознания нападавших.

— Вы их найдете? — с надеждой осведомился Адам.

— Здесь, гражданин, не Нью-Йорк. Здесь преступников ловят.

— А как у нас дома? Охрану дадите?

— Первым делом мы должны знать, кто вами интересуется и почему. А вдруг вы, к примеру, гангстеры. Или оппозиция. Я ничего не хочу сказать, но с нормальными людьми такие истории

не приключаются.

— Можете написать заявление о прикреплении личной охраны, — отозвался второй милиционер. Первый с неудовольствием посмотрел на него.

— Написать можно что угодно. Наверно, патруль раз или два пришлют. А вам больше негде жить? Район здесь не больно спокойный.

— Ну так устройте нам квартиру где-нибудь в другом районе, — буркнул Адам. Лиля погладила его по руке.

— Квартир, гражданин, в городе много. Пустые стоят. Люди не заявляют. У некоторых по пять квартир. Никакого порядка нету. — Милиционер критически глянул на Адама, но потом лицо у него прояснилось. — Но вам, гражданин, полагается благодарность. Вы геройски защитили женщину. Поздравляю.

— Ну так мы пойдем. — Лиля встала со стула.

— Может, отвезем их? — предложил милиционер помладше.

— Не надо, не надо. Наверное, снова они не нападут. — Лиля стояла уже в дверях.

— А вдруг? — нерешительно произнес Адам.

— Так отвезти вас или нет?

— Нет, нет, мы сами. Пойдем, Адам.

Возвращались они трамваем и подозрительно поглядывали на всех вокруг; от остановки шли быстро, оба — как казалось Адаму — на грани истерики. На лестнице останавливались и прислушивались на каждой площадке, соседка, вышедшая с собакой, чуть не стала причиной двойного сердечного приступа. Войдя в квартиру, они закрыли двери на все замки и на цепочку. Адам подпер дверную ручку стулом и пошел в кухню, где Лиля наливала водку в рюмки.

— А теперь выкладывай, — сурово произнес он.

Она отбросила волосы и с раздражением посмотрела на него.

— Адам, давай лучше выпьем. Я в полнейшем недоумении и знаю не больше тебя. Не смотри ты на меня так, я и вправду не знаю, из-за чего все это.

— Чем ты занималась до меня? — Он взял рюмку.

— Адам, ты что, допрос мне будешь устраивать? «К примеру, мы являемся гангстерами или оппозицией». Так, что ли? Это тебе нужно? Будешь вести себя, как этот кретин легавый? — Она налила по второму разу. — Я напугана не меньше тебя. А то и больше. В конце концов, это меня

хотели похитить. Да не забывай, ты должен зарегистрироваться.

— Ладно, не язви. — Адам закурил сигарету.

— Прости.

— Это ты меня прости. Но все это действительно очень странно. Несколько месяцев уже я пытаюсь тебе втолковать, что за тобой кто-то ходит. А теперь на тебя напали.

— Но звонили же тебе.

— Сколько было этих писем?

Она посмотрела на него.

— Ну, около двух десятков.

— Сколько?!

— Больше пятнадцати, я не хотела тебе их показывать. Извини, я понимаю, что адресованы они были тебе.

Он махнул рукой, сейчас это не имело никакого значения.

— И во всех то лее самое?

— Да. Вырезки из газет. О пианистах. Какая-то злобная сволочь работала. Может, и вправду Владек.

— И что, это Владек послал похитить тебя?

Лиля пожала плечами:

— Да нет, думаю, Владек не имеет к этому никакого отношения. Мы подозреваем невинного

человека.

— Ты ничего от меня не скрываешь?

Настала тишина. «Боже, как я с ней разговариваю, — подумал Адам. — В такой момент я так себя веду. Вместо того чтобы поддержать ее, устраиваю истерику. Но я боюсь за нее и хочу ей помочь, и если бы я больше знал, то, может, придумал бы как». Он подошел к стулу, на котором она сидела, и прижал ее к себе.

— Прости, — виновато произнес он. — А знаешь что, Лилечка? Давай уедем отсюда.

Она молча замотала головой.

— Выгляни, стоит кто-нибудь?

Он осторожно отодвинул оконную занавеску.

— Пусто.

— Вот видишь.

— Тогда мы здесь всегда будем жить. Тут должно было быть убежище. Ты же сама когда-то говорила, что можешь за пять минут уйти отсюда.

— Да, я сказала, что за пять минут могу уйти — если только захочу. Но я не хочу. У меня предчувствие, что здесь мы в безопасности. В конце концов, те, которых ты опасался, по какой-то причине помогли нам. А напали на меня вовсе не здесь, а возле моей работы.

— Я буду провожать тебя на работу и встречать.

Она кивнула:

— Ладно. А сейчас обними меня. Я действительно боюсь. — Она прижалась к нему. — И действительно не знаю, в чем дело.

13

В течение нескольких первых месяцев Адам неоднократно задумывался, может ли идиллия длиться вечно, и вот теперь она внезапно кончилась — но совсем не так, как он опасался. Куда хуже. Лилю не удалось уговорить сменить квартиру, она упрямо считала, что в этом доме они в безопасности, даже когда Адам, вернувшись с помойки, сообщил, что опять видел типа, стриженного ежиком. Правда, он не вполне был уверен в этом, а кроме того, вынужден был признать, что даже если это тот самый, то во время нападения он выступил в их защиту. На работу они теперь ездили вдвоем, Адам провожал Лилю до самых ворот, а потом приезжал за ней, хотя беспокоился, что один не сумеет справиться с возможными похитителями. О том, чтобы пойти работать тапером, уже не было и речи, он теперь исполнял новую функцию, исключительно ответственную, хотя — он вполне отдавал себе в этом

отчет — в его исполнении несколько гротескную: личного телохранителя. При этом он обволакивал Лилю нежностью, которая доминировала даже над соединяющими их эротическими узами: неожиданно он стал ее опекуном, почти отцом. Она воспринимала это с юмором и тем охотнее, чем больше времени проходило после неудавшегося похищения.

— Просто какие-то сволочи нападают на женщин, — как-то сказала она Адаму. — Я подвернулась им случайно. Видишь, ничего нам не грозит.

Однако она не протестовала, когда он собирался провожать ее на работу.

Прошел месяц — было как раз шестое декабря, — когда к Адаму, возвращавшемуся после проводов Лили, на углу Простей и Желязной подошел высокий мужчина с галстуком, в длинном пальто и с кожаным портфелем.

— Пан Клещевский? — осведомился он.

Адам инстинктивно огляделся вокруг. Было начало десятого, на улице холодно, по противоположному тротуару шли какие-то люди.

— Да.

— Я хотел бы поговорить с вами о нападении.

У этого человека был странный выговор; по-

польски он говорил вполне пристойно, но с каким-то шелестящим акцентом, словно знал этот язык не с детства или же недавно прошел курс терапии у логопеда.

— Топтун или гангстер? — отважился полюбопытствовать Адам. Мужчина громко рассмеялся.

— Ни то и ни другое. Скажем, я — ваш ангел.

— То есть ангел-охранитель? Извольте предъявить официальную повестку на допрос.

— Нет, нет, все не так, как вы думаете. Могли бы мы зайти куда-нибудь на чашку кофе?

Адам пребывал в сомнении. Мужчина этот вызывал у него доверие, к тому же портфель, в представлении Адама, был реквизитом, затрудняющим применение насилия. Вообще выглядел он то ли адвокатом, то ли сотрудником Министерства иностранных дел. Тем не менее приглашать его домой Адам не собирался, да незнакомец и не намекал на это. Кафе было неплохим выходом, однако никаких доказательств, что человек этот не связан с похитителями, у Адама не было. К тому же еще во время военного положения ходили рассказы о том, что подобные беседы за кофе органы безопасности использовали для вербовки стукачей. «Можете, к примеру, быть оппозицией», — промелькнула в голове у Адама фраза, над

которой они с Лилей неоднократно посмеивались. Но, в конце концов, он не знал достоверно, чем занималась она когда-то. В сущности, он по-прежнему страшно мало знал про нее.

— Хорошо, но если вы окажетесь топтуном, мы тут же распрощаемся. Куда пойдем?

— Предлагайте вы. Мне бы хотелось, чтобы вы не опасались меня.

Адам задумался.

— Тут около площади есть пивная. Довольно гнусная, но в это время она уже открыта. Как вам такой вариант?

— Выбор за вами.

Они молча двинули к пивной. Пройдя несколько десятков шагов, Адам оглянулся: никто за ними не шел. Когда же он снова обернулся, то встретился взглядом с незнакомцем; тот понимающе улыбнулся, и была в его улыбке какая-то уверенность. От него веяло спокойствием, отчего Адам, несмотря на всю необычность ситуации, не чувствовал никакой угрозы. Его только удивляло, что спутник молчит, не пытается завязать разговор. А может, так оно было естественнее. Они прошли мимо почты, магазина с телевизорами. И все это время не было произнесено ни единого слова, спутник Адама не пытался создать атмо-

сферу дружеской встречи, видимо, он собирался сообщить нечто важное, но не более того. Они вошли в пивную, грязную, с запотевшими стеклами и практически пустую, только за дальним столиком сидели две ранних пташки, уже поддавшие.

— Давайте сядем у витрины, — предложил незнакомец. — Позволите, я закажу что-нибудь выпить? Как вы насчет пива?

— Немножко рановато, но тут, наверное, ничего другого нет. Только для полной ясности еще раз предупреждаю: при первом же упоминании о службе безопасности я ухожу. У меня пока нет уверенности, что вы не убек[1].

— Согласен. — Незнакомец подошел к стойке и оттуда сообщил: — Есть кока-кола! Как вы?

— Можно.

Они сели за столик. Незнакомец наклонился к Адаму.

— Вы боитесь, что я убек.[56] Поверьте, у меня нет никаких связей с коммунистами. А вот ваша подруга, напротив, работает на КГБ. Те люди, что ходят за вами, агенты советских спецслужб. А пани Лиля вообще не человек. Она робот.

---

[56] Примечания: 56

Убек — так в ПНР называли сотрудников Управления Безопасности (Urzad Bezpieki). Аббревиатура, аналогичная существовавшей в СССР, — кагебист.

С секунду Адам молчал, потом рассмеялся.

— Надеюсь вы способны представить мне свидетельство из психдиспансера? — насмешливым тоном поинтересовался он.

У его собеседника даже выражение лица не изменилось.

— Я способен вам представить другое свидетельство. — Незнакомец огляделся и достал из внутреннего кармана запаянную в пластик карточку с фотографией и большой печатью с раскинувшим крылья орлом. — Это удостоверение ЦРУ, Оперативного управления. Меня зовут Стерлинг. Хэл Стерлинг.

Он дал Адаму время внимательно ознакомиться с документом, после, чего убрал его.

— А вот вы являетесь объектом жестокого эксперимента. Но вы, разумеется, не верите мне.

— Разумеется. — Адам ощутил нечто наподобие благодарности за то, что Стерлинг подготовил ему удачный ответ.

— Вы слышали анекдоты о Брежневе? О том, что он жил на батарейках?

— Ну, слышал. И что из того?

— Вы полагаете, что в этих шутках нет ни слова правды?

Адам оглянулся. До дверей было несколько

шагов. В любой момент он мог встать и выйти. Однако сюрреалистичность этой сцены начала его забавлять.

— А вы замечаете разницу между Брежневым и моей невестой? — спросил он.

— Как между робкими слухами и обезоруживающей правдой. Русские работают над созданием искусственного человека с начала девятнадцатого столетия, когда в их руки попала Белокурая Роксана. Был такой автомат, созданный в Швейцарии. Он играл на рояле, кланялся. В Петербурге его похитили. Царь мечтал об армии механических солдат… Если желаете, я отопью глоток из вашего стакана, чтобы вы были спокойны, что я туда ничего не подсыпал.

Адам бросил недоуменный взгляд на свою кока-колу.

— А знаете, мне это почему-то в голову не пришло, — вырвалось у него.

Его собеседник в ответ улыбнулся и продолжил:

— В девятнадцатом веке все ограничивалось неудачными попытками. Предполагают, что перед Зимним дворцом якобы стояли на часах такие роботы, но доказательств этого нет. Потом, после революции, инженеры, кстати сказать бо-

рясь за выживание, убедили коммунистических властителей, что таким образом можно создать двойников высших лиц в государстве. Проблема безопасности, как нетрудно догадаться. А около пятнадцати лет назад появилась новая концепция — автоматы как орудия психологической войны. Вы позволите, я вам кое-что покажу. Я открываю портфель.

— Вижу, — насмешливо фыркнул Адам. — Знаете, не надо перебирать с успокаиванием меня. Я прекрасно верю, что у вас там нет оружия.

Стерлинг достал пачку бумаг и поставил портфель под столик.

— Сказать по правде, есть, — улыбнулся он. — Мне хотелось бы, чтобы вы взглянули на это. Вы читаете по-английски?

— Немножко.

— Тут исторические материалы. Герон,[57] Вокансон, братья Дроз… — перелистывал Стерлинг страницы. — Это не особенно важно. А вот здесь уже ближе к современности. Тысяча девятьсот двадцать девятый год, француз Анри Пиро сконструировал модель собаки, реагирующую на

[57] Примечания: 57

Греческий ученый, топограф, механик, работавший в Александрии в эпоху Цезаря или Нерона, предложенные им конструкции зачастую использовались при изготовлении механических игрушек.

свет. Англия, тысяча девятьсот сорок восьмой год, кибернетическая черепаха Элмер. Усовершенствованная версия пятидесятого года того же самого конструктора: черепаха Кора, симулирующая условный рефлекс. Это было тридцать пять лет назад. И мы начинали с нуля. А здесь вы видите человекоподобные машины тридцатых годов, управляемые по проводам. — На ксерокопиях изображены были рисунки и колонки технических характеристик. — Наш американский робот Альфа пел, говорил, стрелял из пистолета по мишени. В сорок седьмом году французский робот Артур ходил, танцевал вальс, играл на трубе, курил сигареты и, разумеется, стрелял. Потом, после конгресса в Дайтоне в шестидесятом, работы эти засекретили. Наши узнали, что Советы обогнали нас. В наших средствах массовой информации мы создавали впечатление, будто интерес к бионике угасает. Однако мы продолжаем работы, в том числе в Массачусетсе и Станфорде. К сожалению, русские все еще впереди. Похоже, они сумели замкнуть петлю управления. Их машины почти полностью самостоятельны; мы еще не вполне уверены, передают ли им по радио какие-то данные или только осуществляют контроль. Но так или иначе обратная связь между программным

блоком, датчиками и исполняющим механизмом обеспечивает радикальное сокращение времени реакции. Для компьютера оно все еще достаточно долгое, но для человека в самый раз. Я понимаю, что вы до сих пор не заметили разницы.

— И вы полагаете, что я вам поверю? — спросил Адам, когда тот замолчал. Все это было абсурдно, но, следует признать, импонирующе абсурдно.

Агент замотал головой.

— К сожалению, я ни минуты не сомневался, что убедить вас будет бесконечно трудно Но, может, вы меня о чем-нибудь спросите? Очень важно, чтобы мы поняли друг друга, так как мне очень нужна ваша помощь.

— Предположим… — начал было Адам, но сразу же спохватился, что позволяет втянуть себя в психологическую ловушку. В сущности, любой вопрос будет признанием этого нагромождения бессмыслиц проблемой, достойной обсуждения. — Скажите лучше, как все это связано с нападением. Вы ведь с этого начали.

Стерлинг кивнул. Он сразу стал как-то серьезней.

— Хорошо, но вы должны пообещать, что спокойно выслушаете меня.

Адам замер, отставив стакан.

— Не хотите ли вы сказать, — поинтересовался он самым спокойным тоном, на какой только был способен, — что имеете к нему отношение?

— Советские спецслужбы очень предусмотрительно выбрали жертву, — заговорил Стерлинг, словно не слыша вопроса. — Им необходимо было проверить, можно ли с помощью их машин полностью отвлечь человека от его интересов. Довести до того, что он начнет жить, отринув все то, что прежде считал самым главным в своей жизни. Морально парализовать, сделать марионеткой. Потому работы пошли в направлении того, что точнее всего можно определить названием… эротические киборги. Понимаете, воздействие на либидо. Разумеется, их целью были политики, высшие офицеры, агенты… а в советской сфере влияния также и оппозиционеры. Но испытания следовало провести в других кругах, на людях, фанатически — о, извините — страстно преданных какому-нибудь делу, но не имеющих контактов с нами. Образно говоря, если бы Яцек Куронь, Адам Михник или Лешек Мочульский[58] оказались бы на этом, пока еще экспериментальном, этапе жертвами эротических киборгов и поняли,

[58] Примечания: 58
Видные деятели оппозиции в социалистической Польше.

что те собой представляют, советские машины достаточно быстро попали бы (и это, очевидно, понимали в КГБ) в наши руки. Подобный же риск существовал, если бы киборгов использовали на представителях клира. А такие, как вы, просто идеальные объекты, вы мне до сих пор не верите, и, если бы ваша невеста рассыпалась, уж извините меня, под вами кучей микропроцессоров и тяг, вы не знали бы, что с этим делать. До вас я добрался с огромным трудом и в каком-то смысле случайно. С другой стороны, вашу недавнюю страсть к музыке действительно можно сравнивать со страстной преданностью делу людей, которых мы считаем самыми преданными борцами за демократию. А теперь посмотрите, во что вы превратились.

Стерлинг на несколько секунд умолк.

— Вы находитесь под их неустанным наблюдением. Познакомился с вами их рядовой сотрудник, некий Владислав М. Возможно, в квартире, которую вы занимаете, нет телевизионных камер или подслушивающих устройств: за те шесть часов, которые машина проходит консервацию, вы дома один и вполне можете что-нибудь найти. Кстати сказать, она, само собой разумеется, не работает в военном комиссариате; сразу же после

того как вы уходите, она осторожно выходит из подворотни и идет к началу улицы, где в жилом доме находится их конспиративная квартира.

Однако возле вашего дома постоянно стоят наблюдатели, и, куда бы вы ни шли, советские агенты всегда рядом с вами. А нам необходимо заполучить эту вашу Лилю. Нам надо исследовать, как она действует, как удается так эффективно манипулировать вами. Вывезите ее куда-нибудь за пределы действия советских радиостанций, куда-нибудь за город. Там она будет реагировать иначе, медленней. И там она будет вне их контроля. Вы обязаны это сделать, потому что, если бы не вы, она была бы уже у нас в руках. Но мои люди не были готовы сражаться с тремя мужчинами.

Адам резко отодвинулся от столика.

— Нападение, — промолвил он. — И анонимные посылки. И телефонные звонки. Это все вы.

— Да, я. Мы пытались воздействовать на вас, чтобы вы вернулись к музыке и чтобы ослабить в их глазах эффективность эксперимента.

— Вы хорошо понимаете по-польски?

Стерлинг вскинул брови.

— А разве вам не ясно? Я специалист по Восточной Европе.

— Ну так послушайте меня, — Адам безуспешно

пытался взять себя в руки и не взорваться. — Если вы от нас не отцепитесь, то я готов лично пойти к Кищаку.[59] Я оценил вашу вежливость, и потому вы не получили от меня по роже. Никакой вы не агент, вы — опасный сумасшедший. Так что вали отсюда, говно сраное, пока я тебя не пришиб, — и, не дожидаясь ответа, Адам выбежал из пивной.

14

— Значит, ты ему не поверил? — спросил я.

— А ты бы поверил? Все-таки я жил с ней, спал с ней, каждый день мы были рядом. Это было нелепо, бессмысленно. А кроме того, если убрать в сторону фантастический элемент, дело сводилось к тому, чтобы я помог похитить женщину, которая мне доверяла. Я не мог этого сделать. Но…

Адам замолчал в нерешительности.

— Но тогда я как-то спросил ее, почему летом мы никуда не поехали. Понимаешь, этот радиус действия радиостанции… Она ответила, что работает недавно и отпуска ей еще не полагалось. А после, весной, я предложил съездить на уик-энд в лес. Не для того, чтобы ее похитили, наверное, в

---

[59] Примечания: 59
В то время руководитель Управления безопасности.

последнюю минуту я что-нибудь придумал бы и отменил поездку, потому что боялся за нее, просто мне хотелось увидеть ее реакцию. Хоть я и не поверил. Она ответила, что не любит выезжать из Варшавы. Ну что ж, бывают люди, которые не любят покидать город. Разве нет? Но даже если и нет, мне это принесло облегчение. Позже поймешь.

Мы сидели у Адама, я в кресле, он за столиком, точь-в-точь как во время моего первого визита. Внезапно он вскочил и протиснулся мимо меня к полкам.

— Мне тут кое-что вспомнилось. Сейчас покажу. — Он стал рыться в бумагах. — Вот прочти. Это один из моих стишков того периода. Посмотри, что значит веритьне верить.

Я стал читать:

Уста твои на щеке у меня словно печать

обжигающая Как пламя Выжженное пятно

след скворчащий запекшихся губ. Алый перстень

жгущий слюной и помадой. Пахнущий пеклом

века миниатюрных процессоров Песня

о красоте над которой ты мне доверяешь опеку

покуда пылают пять чувств Губы твои петлею

захлестнули меня жгучей сетью сплетений что в плен

напрягшиеся нейроны превращенные в пепел

забирают позволяя погаснуть но не сбежать мне Поспеши

своею печатью перстнем, петлею плотью мое длить плененье

чтобы прежде чем стужа коснется нас стал я твоею тенью

— Посмотри. — Адам указал пальцем. — Видишь: «миниатюрных процессоров». Этот фрагмент выдает меня. Значит ли это, что я поверил? — Он иронически рассмеялся. — Нет, разумеется, нет.

После этого он вернулся и сел за стол.

— У меня, между прочим, были тогда другие заботы. Потому что в тот же день у нас с Лилей произошел странный разговор. Я бы сказал,

страшный.

15

Весь остаток дня Адам не мог найти себе места; он бродил по квартире, выглядывал в окна, наконец выгреб из-под кипы газет телефонную книжку и нашел номер Вольского военного комиссариата. В первый момент тишина в трубке испугала его: «Нас отрезали!» — подумал он в панике и только через несколько секунд вспомнил, что довольно давно сам выключил телефон. Адам воткнул штепсель в розетку и без всяких препятствий дозвонился до комиссариата. Он назвал фамилию Лили, ждал около минуты, наконец услышал: «Соединяю», — и после очередной порции тишины мужской голос сообщил ему: «Она у шефа. Она вам перезвонит». В сущности, ему нечего было ей сказать, он просто хотел поговорить с другим человеком, потому что боялся свихнуться. Разумеется, не из-за каких-то там роботов, борьбы разведок, психологической войны, проблема была в его собственном ощущении реальности. Стерлинг мог быть плодом воображения, демоническим следствием нереализации себя как артиста, нереализации, которая

визуализировалась в облике карающего ангела с аксессуарами из шпионского фильма. «Вашу недавнюю страстную преданность музыке… А теперь посмотрите, во что вы превратились». Нет, Адам ни в чем не винил себя, он жил так, как хотел, свободный, вырвавшийся из-под материнской опеки, из заклятого круга материнской мечты. И однако он не мог быть уверен в том, насколько глубоко укоренилась в нем эта ее мечта, не мог гарантировать себе, что разрыв с музыкой не нарушил какой-то глубинной, неведомой ему самому структуры внутри него. Где-то, очевидно, распадалась хрупкая сеть соединений, тонюсеньких жилок, в темных пространствах его «я» шел болезненный процесс. Он вспомнил историю двоюродного брата отца, начинающего скульптора, который после Варшавского восстания вступил в монашеский орден и, оторванный от своего страстного увлечения, закончил шизофренией. Это вполне могло начинаться именно так. Неспособность отличить подлинность от привидевшегося. Сны наяву. Хотя, впрочем, вполне возможно, кто-то с ним действительно пытался разговаривать, однако его рассудок, находящийся на грани распада, сдублировал собеседника, подложив под действительно произнесенные

слова все эти идиотизмы из дешевых фильмов ужасов. Вокруг одни автоматы. «Приветствуем вас в Парке культуры и отдыха имени Э. Т. А. Гофмана». Горбатый профессор Ц., барабанящий по клавишам, потому что его дергает за веревочки кукловод. Фортепьяно, играющее без пианиста. Пианолы, музыкальные шкатулки, шарманки, ручку крутит Хэл Стерлинг, ручку которого в свой черед накручивает Юрий Андропов или Константин Черненко (на батарейках). Автомат для приготовления пончиков, который Адам видел когда-то в киоске у моря: маленький транспортер, металлическая лопатка, отделяющая порцию теста, щипцы, выхватывающие готовые пончики из кипящего масла (знают ведь когда). Автоматически открывающиеся двери на Центральном вокзале. В них пластиковая Барбара, она моргает глазами и говорит «мама». Набитая опилками мать. Да и в нем самом скрытые пружины, шестеренки, тяги, рычажки. Адам закурил очередную сигарету — и меха, огромные меха, качающие воздух, а вдобавок путаница проводов, искры, летящие с контактов, печатные схемы. Но ведь кто-то же смотрел, кому-то это было нужно — некоему «я», утопавшему в наслаждении, а теперь в страхе, некоему, надо думать, безвольно-

му, пассивному наблюдателю. Сигарета прожгла дырку в оконной занавеске. Адам вздрогнул, ему так необходимо было присутствие другого человека… Лица, которое давало бы ему гарантию, что он может заблуждаться, но не ошибается, не блуждает в театре теней. Или хотя бы голоса.

Потому-то раздавшийся наконец звонок телефона он воспринял — впервые в этой квартире — с безмерной радостью и облегчением. Он торопливо схватил трубку.

— Лиля?

— Да, любимый, я. Что случилось?

В мгновение ока он оказался в центре сюрреалистической комедии. И расхохотался.

— Я тут, похоже, схожу без тебя с ума. Как хорошо, что ты есть.

— И ты это хотел мне сказать?

Адам не мог понять, встревожена она или растрогана.

— Да. — Но Адам решил быть честным. — Тут у меня произошел дурацкий разговор, какой-то тип пристал ко мне на улице.

— Кто такой?

— Не знаю. Действительно, не знаю. И вообще не знаю, может, мне приснилось, — ему уже было не до смеха. — Как бы мне хотелось, чтобы

ты была здесь! Прости, я понимаю, что говорю бессмыслицу.

— Я попробую уйти пораньше.

Его обдала волна страха.

— Нет, нет, одна не езди, я приеду за тобой, заодно проветрюсь. Скажи только когда.

— Погоди, я должна подумать… В два. Выдержишь?

Еще недавно в этом вопросе для него крылась бы бездна эротизма. «Господи, до чего мы дошли», — подумал он, потому что не ощутил ни малейшего возбуждения, хотя страсть присутствовала, но совсем другая, сентиментальная, словно бы детсадовская. Как будто он скучал по подружке из старшей группы. Напряженно и бесполо.

— Ну конечно. Извини, я не хотел тебя напугать, но это был какой-то странный человек.

Он положил трубку с дурацким чувством, что надо бы немедленно снова позвонить, объясниться по поводу этого бессмысленного звонка, который, несомненно, напугал ее, а у нее и без того масса беспокойств и тревог. Ведь ей же принадлежат слова: «Это меня хотели похитить». И ее действительно пытались похитить. Об этом он не подумал?

Около двух он был у здания комиссариата. Лиля вышла с сеткой мандаринов — «Давали на Святого Миколая», — помахала ей, прижалась к Адаму, нежно поцеловала в щеку. Но сейчас в нем была какая-то твердость, сосредоточенность, не позволявшая поддаться нежности. В трамвае они ехали молча, Лиля то и дело поглядывала на него, он растягивал рот в принужденной улыбке и никак не мог уловить в себе реакцию, которую он так ждал — облегчения, любовной расслабленности. А когда они пришли домой, он вспомнил, что забыл приготовить обед; злясь на себя, он гремел кастрюлями в кухне и в конце концов поджарил яичницу; чувствуя за собой вину, большую часть он положил Лиле, себе же чуть-чуть.

— Я не голоден, — объяснил он.

Он видел вопрос в ее глазах, но что он мог ей рассказать? Что сошел с ума по причине своей неудавшейся карьеры? Это было бы все равно что обвинение. Или того хуже, пересказать ей свои галлюцинации, допытываться у Лили, действительно ли она существует? Отодвинув тарелку с яичницей, к которой он даже не притронулся, Адам встал у окна. Естественно у входной двери торчал стриженный ежиком.

— Что такое? — Лиля принялась чистить ман-

дарины. — На, съешь, это очень полезно.

Адам пригладил руками волосы и принялся массировать себе затылок.

— Я встретил одного типа, который наговорил мне кучу чудовищных глупостей, — наконец произнес он. — Я видел его впервые в жизни. Видимо, он хотел нас поссорить. Мне даже повторять не хочется, что он нес. Но потом, уже дома, я впал в какое-то странное состояние. Не знаю, что происходит, но, может, мне снова нужно вернуться к занятиям музыкой. Я словно перестал быть собой.

Он обернулся. Лиля все так же чистила мандарины, медленно, старательно, с какой-то странной сосредоточенностью.

— Ты хочешь уйти от меня? — тихо, не поднимая глаз, спросила она.

— Лиля, ты что! — Он, покачиваясь, стоял возле подоконника и после невыносимо долгого мгновения неуверенности осторожно заговорил: — Лиля, ты…

— Молчи, — попросила она. — Это ужасно больно.

— Но ты даже не знаешь, о чем я хочу тебя спросить.

По правде сказать, он и сам не знал.

— Догадываюсь. Ты разговаривал с каким-то человеком, который хочет нас поссорить. Остальное видно по выражению твоего лица. Он сказал тебе, что когда-то я была проституткой, да?

У Адама вдруг пересохло в горле.

— А ты была?

— Нет.

«Она сделала ошибку», — подумал он. Что-то тут не сходится. Она должна была возмутиться: «Как ты мог?!» Должна была взорваться, влепить ему пощечину. А она все чистила мандарины.

После долгого молчания он услыхал еле слышное:

— Как ты мог…

Слишком спокойно произнесено.

После этого она встала и ушла в спальню, закрыв за собой дверь.

И он опять остался один, ощущая себя полным дураком, не способным разобраться в путанице обуревающих его чувств. И главное, он по-прежнему пребывал в какой-то ирреальности, и ему очень хотелось пробудиться, вырваться из нее. Ибо подлинное его «я» сидело в это время на улице Тувима и репетировало этюды и как-то по-доброму злилось на мать; по-доброму, втайне и, по сути дела, словно бы понарошку. А здешнее

«я», участвующее во сне, который становился все более странным и нелепым, в первые минуты ничего не чувствовало, но потом принялось представлять себе Лилю в объятиях незнакомых мужчин, которые нанимают ее на время, ложатся с ней без любви, мужчин, прижимающихся головой к ее промежности, — и результат: ярость, ревность, от которой корчит все тело, и знакомая боль — испытанная им тогда, у моря. Вожделение. Да, вожделение. Она произнесла: «Нет». Однако то, что сказал Хэл Стерлинг, как-то объясняет эти тысячи долларов в доме, нежелание говорить о прошлом, легкость, с какой она ввела его в мир эротики. «А ведь она не была невинной», — пришло ему в голову, как будто это когда-нибудь было проблемой в те несколько месяцев, что они пробыли вместе. Ему припомнилось впечатление, какое она произвела на него в их первую встречу в Лесной подкове, припомнилось то тревожащее сочетание изысканности и порочности; ну да, это, разумеется, все-таки куда легче принять, чем работу на КГБ и искусственное, механическое происхождение ее живого тела. Живого, желанного, жаркого тела. Да, она не похожа на куклу, просто она была дорогостоящей девкой, которую желали мужчины и которой они были согласны

платить. (Но она сказала, что не была. Однако почему-то предположила, что именно это сообщили ему о ней.) С другой стороны, отозвался его внутренний Хэл Стерлинг, такие рискованные признания любимому мужчине не делают без принуждения, без необходимости, а в данном случае никакого принуждения не было; разве что этим страшным признанием она хотела скрыть куда более страшную действительность. Например, то, что она не человек? Что за чушь. Или, например, то, что она и сейчас изменяет ему. Там, в том здании, через несколько домов от военкомата, о котором говорил американский агент. Адам достал из холодильника водку, но поставил ее обратно: он должен оставаться трезвым, должен быть уверен, что все это происходит в действительности, как бы больно это ни было. «И что же дальше?» — подумал он и с беспокойством представил себе, как за закрытой дверью она задает себе этот же самый вопрос. А если она пришла к выводу, что ничего? Где, кстати, в этом доме хранятся лекарства, как он посмел оставить ее одну так надолго, ведь могло же произойти все что угодно. Он побежал в спальню.

Она лежала на животе, вжавшись лицом в подушку. Дрожащими руками он прикоснулся к

ней, она недовольно дернулась.

— Лилечка, — шептал он, — Лилечка… Ну пожалуйста, не сердись на меня, не сердись…

Она подняла голову, перевернулась на спину, печально взглянула на него. Сейчас она не плакала, да и вообще не плакала; на лице у нее не было следов слез. Она вздохнула.

— Я была, — прошептала она, — не здесь, в Гдыне. Несколько лет. — Она прятала от него глаза, блуждала взглядом по потолку, по стенке. — Я хотела вырваться, но не могла. Произошел нервный срыв… Мне помог отец. Знаешь, у меня был замечательный отец. Он устроил меня на работу в Варшаве, но тогда он был уже смертельно болен. Умер он в прошлом году.

Адам взял ее за руку. Лиля не отняла ее, но и не ответила на пожатие. Как будто не чувствовала его.

— Ты был для меня счастливым шансом. Такой чистый. Красивый и чистый. Прости, я должна была признаться тебе в самом начале. Но мне хотелось обо всем позабыть. Сейчас ты уйдешь от меня.

Он прошептал что-то невразумительное в раковину ее ладошки. Да, он чувствовал боль, чувствовал страшную ревность, но от подобного

решения был бесконечно далек. Бросить ее? Сейчас? Когда их взаимоотношения — он ясно это видел — обрели равновесие, поскольку не только он зависел от нее, но и она от него?

Адам посмотрел на нее. Когда-то ее лицо казалось ему хищным, потом ликующе-чувственным, а сейчас в нем была только усталость. И это растрогало его.

— Успокойся, Лилечка, — чуть слышно произнес он. — Если только ты захочешь… А те люди, они… оттуда?

— Я не знаю, что это за люди. Я их никогда не видела. Но это хоть что-то объясняет. Я не знаю, — повторила она. — Я ничего худого никому не сделала, никому ничего не должна. И порвала я с этим уже давно. Но это как болото. Возможно, это тянется за мной.

— Расскажем все в милиции. Все-таки какой-никакой след. И нам спокойнее будет.

Она замотала головой.

— Ты что, объявишь в милиции, что живешь со шлюхой?

— Лилечка, я живу не… Я живу с самой чудесной женщиной, которая свалилась мне с неба, — однако он уже понимал, что она права.

— Как долго у виртуоза есть еще шанс вернуть-

ся на эстраду? — неожиданно спросила она.

— Что ты имеешь в виду?

— Я хочу знать, есть ли у тебя еще шанс. Например, принять участие в следующем конкурсе.

Укол.

— Это важно для тебя?

— Не в этом дело. Я думаю о тебе. Ты ведь хочешь играть?

Он покачал головой.

— Конкурсы происходят раз в пять лет для пианистов до тридцати. Так что это уже не для меня. А играть вообще… — Он в нерешительности замолчал и крепко прижался к ней. Шепнул в ухо: — Кроме тебя, для меня ничего не важно. Лиля, я тебя не брошу.

— И все-таки сколько, — она отодвинулась от него, — у тебя времени? Если бы ты захотел вернуться?

Адам пожал плечами.

— Это от многого зависит. Бывает, люди возвращаются через десятки лет. Но то мастера. А у меня, наверно, есть еще года три… Только я не хочу. Вообще, это не имеет значения. Я хочу быть с тобой, и важно только это, — в последний момент он удержался от того, чтобы предложить ей стать его женой, но момент был не слишком под-

ходящий. Поэтому он вновь прижал ее к себе и, целуя странно сухие щеки, шептал: — Я очищаю тебя от всего. От всех, — он с трудом выдавил из себя, — кто обладал тобой. Отныне существуем только мы.

16

Но, оказывается, забыть было не так-то легко. К тому же при постоянном ощущении опасности, поскольку таинственные сопровождающие никуда не делись, а Хэл Стерлинг, если он существовал, явно задумывал что-то новенькое. При чувстве нереализованности, так как бесстрастное замечание Стерлинга «во что вы превратились» было подобно пощечине. Оно пробуждало стыд. При чувстве вины, потому что приближались праздники, а Адам не мог прийти к родителям на Рождество ни один, ни с Лилей. И наконец, при ощущении того, что, о чем бы они ни говорили, они согласно умалчивали об ужасном Лилином признании, а между тем помнили, что оно прозвучало. Любые жесты были либо его отвержением, либо подтверждением; даже если они возникали спонтанно, взгляд второго партнера невольно включал механизм соображений

наподобие тех, что начинали крутиться в голове у Адама: «Она думает, что я изображаю, будто для меня это неважно» или «Она думает, что я думаю, будто она доказывает, что к этому она не возвратится». Или: «Она думает, что я грустный, потому что не могу забыть о ее прошлом. Она думает, что я думаю, будто она так относится ко мне, потому что была той, кем была». Спираль которую он был не в состоянии разорвать.

Бывали минуты, когда ему приходила мысль подробно выспросить ее, потребовать исповеди, жестокой и необходимой, после которой, если они ее выдержат, уже не останется недосказанностей. Но у него не хватало отваги, достаточно было представить даже одну, самую простенькую фразу, какой она станет описывать свою тогдашнюю жизнь, как тут же подкатывали тошнота и боль, боль, по правде сказать, гипотетическая, поскольку испытать ее в реальности он не осмеливался. Поэтому он молчал. И так проходили дни, вроде бы такие же, как прежде, но какие-то стылые. И вдруг за несколько дней перед Рождеством Лиля вернулась со службы с неожиданной новостью.

— Адам, знаешь, меня посылают на учебу в какой-то дальний гарнизон, даже не знаю куда.

Вернусь после Нового года. Прости, но у меня безвыходное положение, разве что бросить эту работу.

Он без всякого выражения смотрел на нее. Теперь он довольно часто смотрел на нее именно так; он ловил себя на том, что у него стала какая-то замедленная реакция. И пытался угадать, когда Лиля заметит разницу.

— Я честно тебе скажу, — не слишком уверенно произнесла она, — что, может, это и лучше. Ты отдохнешь от меня. Мы оба соберемся с мыслями. Я ведь понимаю, что тебе тяжело. Не думай, я же вижу, что происходит. — И она погладила его по щеке.

Он задержал ее руку и в предчувствии приближающейся тоски по ней провел кончиком языка влажный след по ее ладони. И подумал — не в первый раз, — что, в отличие от угловатых, рассыпающихся слов, сосредоточенное тепло тела никогда их не подводило, точно передавало самое главное и существенное: что прошлое ничего не значит и что он не может жить без нее, кем бы она ни была. И сейчас он говорил ей об этом, вбирая в себя запах ее руки, окаймляя кончиком языка ее ногти, которые блестели у него перед глазами, маня, как и прежде, своим жемчуж-

ным совершенством. Он проскальзывал губами между пальцами, дразня торопливыми ударами языка; то было любовное *glissando, fellatio molto vivace,*[60] перенесенное из темного закоулка между ее ногами выше — к ее глазам, чтобы она наконец увидела, как он вызывает ее стоны; он ухватывал ее зубами, когда ему казалось, будто она хочет отнять себя у него, но нет, она просто поощряла его, чтобы он не прекращал, чтобы продвигался далее, вдоль ее тонкой руки, где ему пришлось открывать себе путь, отодвигая строптивый рукав. Адам сполз на пол и стоял перед ней на коленях: стоял коленопреклоненно, умоляя впустить его, как всегда зная, что это произойдет, и как всегда не веря в это. Она приняла его, раздвинув бедра, отделенные от него жесткой тканью брюк, которые он запомнил с их первой встречи. Внезапно она оттолкнула его и вскочила — он с испугом взглянул на нее, но она хотела только раздеться, предстать перед ним нагой, как обещала ему в первую их ночь, как всегда, когда он хотел ее; она делала это, закрыв глаза, быть может, желая в этот миг перенести в себя память о его прикосновении. Лиля

---

[60] Примечания: 60

Глиссандо (плавно), лизание очень живо *(фр., ит.).*

уселась на край стола, выпрямившись, широко раздвинув ноги, — прекрасная и вульгарная; она протягивала руки, как бы не понимая, почему его еще нет в ней, — а потом, когда он стоял перед нею, она рукой, еще влажной от его поцелуев, открылась ему и в этом хищном жесте было нежное обещание, что ничего не изменится. Ничего не изменилось. И они раскачивались во тьме закрытых глаз, шепча грубые, уличные слова, которым возвращали их первоначальный любовный смысл, но вот он поднял ее со стола и, когда она обхватила его руками и, тесно приникнув, повисла на нем, принялся, исполняя какой-то диковинный ритуал, обегать с нею комнаты. Это было самое начало ночи, сквозь которую они плыли в горячке, отрицая все, что происходило в эти полгода и не было источником наслаждения; *«Дай»* умоляли они в темноте, *«Дай»*, словно не верили, что это уже конец, что они не могут дать, отдать друг другу больше, и тела их становились жесткими, твердели и пронизали темноту, чтобы потом отмякать во влажности поцелуев. «Столько нужно сделать, — думал Адам, — понять, с кем я, в конце концов, занимаюсь любовью, с кем лежу в этой постели», — но тут же чувствовал, что Лиля отчаянно ищет его, овладевает им, и он

вновь сосредоточивался в ней, устраивался в ее сгустившемся теле — осквернённом? — искусственном? — между ее благоуханными бедрами, в теплых губах, и даже у сна, который временами третьим втискивался между ними, был запах ее тела, вкус ее жаркой груди, и во сне Адам еще шептал ее имя, еще удивлялся, что она позволяет ему уйти в его особость, его единственность, его одинокость, позволяет уйти, но сама не засыпает, потому что он действительно никогда не видел, чтобы она спала, но он уже ничего не чувствовал, уже ночь кончалась, и уже были только безотчетная улыбка, слабнущее пожатие руки. Занимался рассвет.

А рано утром Лиля собрала вещи, и Адам проводил ее к зданию комиссариата. Она попросила, чтобы он не дожидался автобуса, и он пошел домой. *Жак я могу знать, что она говорит правду?»* — со страхом подумал он. Опять вернулся страх. Он вошел в квартиру, рухнул на кровать и с облечением почувствовал, что уже начинает скучать — несмотря на сомнения, несмотря на боль, которая неявно напоминала о себе. Он вспоминал ее наготу, глаза, темневшие по мере того, как он раздевал ее, чуть хрипловатое звучание голоса, прикосновение ладони, запах. Ее запах

присутствовал тут. Он встал, приготовил чай и сел за пианино. В игре, хоть он видел, что его пальцы утратили былую беглость, было нечто успокоительное. И когда он подумал, что можно и пообедать, зазвонил телефон. Адам вскочил, думая, что это она.

— Говорит Хэл Стерлинг. Очень рад, что телефон у вас снова включен.

Адама поразила собственная реакция. Он никогда не думал, что возможно такое сочетание чувств: бешенство и облегчение. Этот вариант с автоматом в общем-то был не так уж плох. Потому как с кем он, в конце концов, делил ложе? От кого он попал в такую зависимость?

— Слушай ты, сукин сын, — начал он, хотя понимал, что говорит это, так сказать, для проформы, — я же предупреждал тебя…

— Да погодите вы, погодите. Успокойтесь. Я звоню, чтобы извиниться за ту акцию с машиной. Больше ничего не произойдет без вашего согласия. Вам этого достаточно?

— Недостаточно. И потом, почему я должен верить вам?

«И почему я должен верить, что вы существуете? — смутно подумал он. — Что не являетесь продуктом моего затуманенного мозга? Я опять

не спал ночь, Лиля уехала, я тоскую. Может, стоит попросить, чтобы это наконец кончилось? Простейшее заклятье: провалитесь вы все к чертовой матери. И всё — вас нету». Но у него не хватило смелости додумать до конца, кто скрывается за словом *«вы»*.

— А почему вы так верите *ей?* — услышал он в ответ. — У вас никогда не возникало ощущения, что она знает о вас больше, чем вы ей рассказывали?

— Нет, — отрезал Адам. Но то был вопрос, который он уже успел задать себе сам. К тому же он вспомнил про «Песнь Роксаны», про то, что у нее была именно эта пластинка. — Скорее нет.

— А вы проверяли, уходит ли она в тот дом неподалеку от комиссариата? Ладно, пусть она не робот, может, вы и правы. Но вы уверены, что у нее там нет любовника?

— Экая же вы сволочь, — прошипел Адам. Однако он ощутил боль, рана была нанесена. Потаскуха и автомат в одном лице — почему бы не соединить два кошмара? И все же, несмотря на то что было прошлой ночью, он не бросил трубку.

— А вы вспомните, — спокойно струился голос в телефоне, — какие-нибудь ее реакции, удивившие вас. Объяснения, в которых концы с концами

не сходятся, возможно, нежелание подробно рассказывать о своем прошлом, а может, непонятная неслаженность движений. Я имею в виду отсутствие координации. Не избегает ли она манипулировать с очень маленькими предметами? Или, скажем, у вас не возникало впечатления, что какие-то органы чувств у нее не развиты? Может, она не чувствует скверных запахов?… Вы меня слушаете?

— Слушаю, слушаю, — не сразу ответил Адам.

— Ну хорошо, может, мы остановимся пока на том, что вы чуть-чуть усомнитесь. Черт с ним, автомат не автомат, просто присмотритесь… Кстати, почту вы получаете без помех сами или она проходит через ее руки?

Адам кашлянул.

— У нас один ключ от почтового ящика.

— Вот как. И разумеется, она носит его с собой. Можете ли вы изменить этот порядок? Я хотел бы еще кое-что послать вам.

— Как раз сейчас ключ лежит передо мной на столе. Ее здесь нет. Уехала на две недели. Может, сбежала от меня и от вас.

— Да нет, просто через полгода механизм надо смазать, проверить подсистемы… Никуда она не уехала, лежит, наверное, в соседнем доме, разо-

бранная на части.

— Умоляю вас, прекратите.

— Ладно, прошу прощения. Я кое-что посылаю вам. Любопытная вещь. На случай, если вы вдруг надумаете, сообщаю, как со мной связаться… У вас есть чем записать?

— А вы не боитесь, что вас подслушивают? — неожиданно спросил Адам. Да, он клюнул, так что Стерлинг может торжествовать, заказывать фанфары. Цыганский оркестр. Или духовой, чтобы он сыграл ему «Звездно-полосатый флаг». Но тот повел себя так, словно не обратил внимания на характер этого вопроса, в котором крылось приятие и его ЦРУ, и КГБ, и электронной возлюбленной, и как ни в чем ни бывало ответил:

— Они знают, что мы вас нащупали. Потому, возможно, вы свою Лилю больше не увидите. Но если что, запишите номер…

17

— Именно при таких обстоятельствах я и поверил в это, — говорил мне Адам в «Доротке». — Спрятался в эту веру от чего-то другого. Предпочитал думать, что влюблен в машину, потому как любил ее так, что просто был не способен

серьезно и до конца думать о ней как об автомате. А благодаря этому словно бы зачеркивал то признание, которое в этом свете оказывалось всего лишь уловкой, попыткой направить мое внимание в другую сторону. И она уже принадлежала только мне. А это было самое главное: только мне. Если речь взаправду шла о манипулировании мной, то ход с проституцией был поистине шедевром. Я вдруг почувствовал себя сильней, чем она, и ответственным — за нее, за нас. Даже не принимая к сведению сущности вопроса. Если бы не этот опыт, я никогда бы и допустить не мог, что можно выбирать веру. Понимаешь? Выбирать действительность. Я признал, что Стерлинг прав, и одновременно, что ее нужно от него защищать. Вот только… Он замолчал в нерешительности.

— Что «вот только»?

— Вот только эксперимент этот, по сути, им не удался.

— Как это «не удался»?

— Потому что если правда, что им нужно было проверить, можно ли перепрограммировать противника… Мне трудно это объяснить, я понимаю, что в моем положении это прозвучит смешно… Но только с тех пор, как я встретил ее, у меня появилось ощущение, что это и есть моя жизнь.

А уж тем более после ее признания. Моя и ничья больше.

Адам подлил себе пива. Я молчал, не представляя, что тут можно сказать, а он продолжал:

— Понимаешь, я с самого начала был нацелен на то, чтобы стать пианистом. Разумеется, я и сам этого хотел… с определенного момента. Но прежде всего этого хотела моя мать. Хотела с такой силой, что ее хватило и на меня. Я не отдавал себе в том отчета, но это была *ее* мечта, привитая мне. А когда я познакомился с Лилей… Впервые я захотел чего-то сам. Без ничьего понуждения. Никто этого не желал, только я. И все ужасное, что произошло потом, является следствием и продолжением того момента. Моя мать, да и все, кто так желал мне добра, не имеют к этому ни малейшего касательства. Все только я. И знаешь, — задумчиво произнес он, — *они* парадоксально облегчили мне этот шаг. Если только это они. Они неверно выбрали жертву. Потому что я был уже готов, мне нужно было только показать.

Он на миг задумался, и лицо его искривилось в противной ухмылке. Я знал эту ухмылку. Она не сулила ничего хорошего.

— Дело в том, что я был моделью предателя, а отнюдь не героя, «борца за демократию».

Я закурил, пытаясь собраться с мыслями. Может, я беседую с человеком, который тронулся, оттого что не мог смириться с прошлым своей возлюбленной? Ну что ж, это была неплохая гипотеза. Но все смахивало на то, что он не закончил свою историю.

— А что это была за любопытная вещь от Стерлинга?

— А-а, — неожиданно рассмеялся Адам, — этот мой шпион оказался остроумным человеком. Он прислал мне только что переведенного «Волхва» Фаулза с отчеркнутым фрагментом.

Позже Адам показал мне эту книгу. В первом томе оранжевым фломастером были подчеркнуты несколько строк. Я их переписал:

«Там он хранил свою коллекцию автоматов — кукол почти человеческой величины, которые выглядели так, словно вышли, а верней сказать вырвались, прямиком из сказок Гофмана. [...] Но гвоздем коллекции была Мирабель. Механическая возлюбленная. Раскрашенная нагая женщина с шелковистой кожей, и, когда ее включали, она укладывалась на свою французскую кровать, раздвигала ноги и протягивала руки. А когда ее владелец ложился на нее, она его обнимала. Декан ценил ее прежде всего за то, что она

была снабжена устройством, не позволявшим ей изменить своему хозяину. Нужно было поднять рычажок, размещенный у нее на затылке, а иначе ее руки сжимались все сильней и сильней, точно капкан. Пружинный же стилет пронзал ягодицу прелюбодея. Этот чудовищный манекен сделали в Италии в начале девятнадцатого века, по заказу турецкого султана».

— Я порой задумывался, — говорил Адам, — не является ли это завуалированным предостережением. Однако я мог ревновать Лилю, мог в ограниченной мере верить ей, иногда мог развлекаться, представляя, что влюбился в автомат… Но я никак не мог начать бояться ее.

— Она вернулась? — недоверчиво поинтересовался я.

— Да. В тот раз да. Поездки на учебу у нее после того повторялись примерно каждые полгода, но после ее первой поездки между нами все значительно улучшилось. Стало почти так же чудесно, как вначале. Характер наших отношений, правда, изменился. Можно было бы сказать, что они стали утонченней. Произошло так, словно секс, тот самый секс, который меня так притягивал, который благодаря ей я открыл со всем щенячьим энтузиазмом, расширил свои границы. Словно

он включил в свои пределы поступки и действия, которые — ну как сказать? — короче, не являются сексуальными. А между тем сексуальным стало, например, смотреть на нее. Целыми часами. Она могла делать все, что угодно, или вообще ничего не делать. Главное, чтобы была перед глазами. Я впадал в какой-то ступор, мне все было безразлично, кроме этого. И так долгие часы. Сексуальным стало прислушиваться к ее дыханию. Ночью. Мы ложились в постель, не прикасаясь друг к другу, и я, лежа в полной темноте, с закрытыми глазами, испытывал наслаждение от сознания, что слышу, как она дышит. А знаешь, каким возбуждающим могло быть пребывание в комнате, из которой она только что вышла? Втягивать воздух, чтобы уловить следы ее запаха, собирать его крохи, чтобы ничто не пропало, не развеялось, не пройдя через мои ноздри. А в это время она, и это, пожалуй, было самое сладостное, находилась в другой комнате и продолжала насыщать квартиру своим запахом, так что остаток вечера можно было провести, все время переходя за ней из комнаты в кухню, из кухни в ванную, из ванной в коридор, оттуда в большую комнату и снова в спальню, но всегда на одно помещение позже, чем она. А главное, зная, что в конце этого странствия она

остановится, я наткнусь на нее, и она наградит меня за верность, откроется мне, примет в себя, мы вместе будем кричать. Она чудесно кричала подо мной… Ну и однажды я предложил ей стать моей женой.

Адам произнес это голосом, каким рассказывают о романе с юной несовершеннолетней девочкой, а не с чем-то, что, в моем понимании, было нравственным или механическим чудовищем.

— А тебе не мешало, что… — промямлил я, — что она, ну, якобы работала на КГБ?

— Никто в мире не совершенен, — иронически усмехнувшись, заметил он.

Я пребывал в полнейшей растерянности. «Точно сумасшедший, — промелькнула у меня мысль. — Я сижу за столом с сумасшедшим».

— Адам, — попытался я еще раз, — ты вообще сам понимаешь, что говоришь? Ведь это же рассказы… шимпанзе в клетке, я даже не знаю, как это иначе определить. У тебя не возникало желания взбунтоваться?

Поначалу он вроде бы собирался что-то произнести, но потом лишь передернул плечами и бросил:

— Зачем?

— А злость на тебя не накатывала?

— Иногда я с ней ссорился. Она ссорилась со мной, когда видела, что мне хочется этого. Все происходило так, как я хотел. Все без исключения. Рай, — он опять хохотнул, — рай с ангелами, стерегущими его снаружи.

— А в этом раю… были человеческие отношения? Вы друг с другом хоть разговаривали?

— Ну да. Разумеется. Я ведь рассказываю тебе о том, что было специфическим, а не о том, что нормально. Естественно, мы разговаривали, ходили в кино и даже купили телевизор. Если отбросить в сторону секс (ну, тут у меня большого опыта не было), то мы жили обыкновенно, наверное, наша жизнь была в точности такой, какой не желала бы мне моя мать. Но я не по этой причине тоскую по Лильке. Хотя кто знает, может, и по этой.

Он протянул руку к пачке сигарет, но сигарету не взял.

— Черт, я ведь не курю, с тех пор как стал работать в этой школе. Похоже, ты снова вовлек меня в эту дурную привычку. Но ты ведь не работаешь на КГБ?

На дурацкий вопрос я даже не собирался отвечать. Зато задал встречный:

— А Стерлинг? Что с ним?

— Время от времени он появлялся. Он стал даже чем-то вроде знакомого. Иногда он окликал меня, когда я возвращался после проводов Лили в комиссариат, и благодаря ему время до ее прихода домой проходило быстрей. Он пытался вести со мной разговоры, ну, скажем, смахивающие на неофициальные допросы. Если вопрос касался слишком интимной темы, я не отвечал. Понимаешь, он был врагом Лили, но в то же время психологически он многое мне облегчал. Так что, когда он исчез, я даже жалел.

— То есть как это «исчез»?

— Да обыкновенно, года примерно на два прервал со мной контакты. Допускаю, что нащупал еще какую-то пару, а может, кто-нибудь продал ему невесту. Какой-нибудь Иуда. — Адам нервно захихикал. — Мной он перестал интересоваться после одной встречи, на которую пришел с большой коробкой под мышкой. В той пивной на углу, которую он упрямо называл пабом, но которая была обычной грязной забегаловкой; ее ликвидировали года три назад, когда я был в Гдыне. Он мне так сказал: «Мы заполучили голову другого экземпляра. Загляните осторожно». А для меня вариант робота разрешал некую проблему, но, с другой стороны, я вовсе не желал окончательно

убедиться, что больше года являюсь вопреки видимости одиноким онанистом в пустой квартире или, если выразиться деликатней, Пигмалионом. Так что вместо того, чтобы распаковать коробку, я сказал: «Вы с ума сошли». А он снова: «Убедитесь, посмотрите. Вы увидите голову девушки, нафаршированную электроникой». Я ему: «Вы с ума сошли». А он мне: «Вы это уже говорили. А теперь открывайте коробку». Я бросил еще раз: «Вы с ума сошли», — и дал деру. Больше мы не виделись до… — Адам несколько секунд считал, — апреля восемьдесят восьмого года.

— А что было тогда?

— Да мы вроде как бы встретились с ним. Но в таких странных обстоятельствах, что я до конца не уверен… — Он бросил на меня мгновенный взгляд, словно внезапно протрезвев. — Послушай, кузен, я ведь знаю, ты считаешь меня параноиком. Но если хочешь дослушать до конца, по крайней мере, не строй такую рожу. Это было в точности как сон, хотя впоследствии я отыскал следы и обрел уверенность, ну, может, не уверенность, может, нечто наподобие подтверждения… предположительного…

18

— То был апрель восемьдесят восьмого, Лиля опять уехала на две недели. Она пообещала мне, что осенью мы поженимся. Наконец-то. Но, вполне возможно, шутила, тогда ничто уже не было бесспорным. Отец уже полгода, как умер. Представляешь, я узнал об этом из некролога в газете. Тогда я начал слегка попивать, а если по правде, то пил я здорово, но Лиле это как-то не мешало. Она только взяла с меня обещание, что я не буду напиваться вне дома. Ну, я и пил дома. Мужчина одомашненный. Она, похоже, платила за меня взносы системы социального обеспечения. Но я точно не уверен, это меня вообще не интересовало. Жизнь моя стабилизировалась в полнейшей райской бездвижности, и я испытывал счастье растения, которое существует, потому что существует. Сладостное рабство, основанное на зависимости от того, кто исполняет все твои желания. От кого получаешь непрестанную поддержку. У тебя хорошее настроение — замечательно. Плохое — наверно, у тебя есть повод. Хочешь, можешь меня ударить. А хочешь, можешь меня раздеть. Хочешь, можешь есть

руками, ковыряться в носу, валяться целыми днями, нести всякую чушь. И в то же время стоило ей по-настоящему, не притворно наморщить брови, и у меня тут же пропадало желание делать то, что ее рассердило. Потому что столь безграничную, хоть и ограниченную извне свободу не теряют без достаточной причины. А свобода была до такой степени безграничная, что никакая причина не представлялась достаточной. Порой мне думается, что нечто подобное должен ощущать эмбрион в чреве матери. Потому-то новорожденные, когда появляются на свет, так горько плачут.

Итак, Лиля уехала, и если ты спросишь, не ревновал ли я или, совсем напротив, не представлял себе, как ее там ремонтируют, то я тебе отвечу: нет, потому что я тогда был уже как наркоман и ежели я знал, что она опять будет со мной, остальное не имело значения. Только бы чувствовать ее запах, смотреть на нее, прикасаться к ней, временами любить ее и быть уверенным, что ничего не изменится. А когда ее нет, пить, чтобы время летело быстрей. Итак, я шел в магазин за водкой и сигаретами, был ранний вечер, и вдруг ко мне подкатил знакомый мне серый «БМВ», меня втолкнули в него, и привет. Представляешь себе? Я ехал и с каким-то пьяным восторгом мысленно

говорил себе: «Должны были похитить Лилю, и надо же, кончилось тем, что похитили меня. Сейчас окажется, что это я автомат». А потом мне, видимо, сделали укол, потому что я заснул.

Очнулся я в подвале какого-то здания. Было темно. Появился Хэл с фонариком в руке. «Жаль мне тебя, парень, — сказал он, — и хоть это против правил, я тебе кое-что покажу. Нам удалось проникнуть на их склад. Наверху находится центр управления, а тут вспомогательные помещения. Может, тебя это встряхнет. Еще не поздно, вырвись из этой ловушки». Я был трезвый, хотя, надо сказать, ошеломлен был до предела. Мне велели встать и не шуметь. Второй человек возился с дверями, и то, чем он открывал их, не было похоже на ключ. Возможно, это был водитель «БМВ», потому что того, что сидел рядом со мной, я не видел. Мы вошли, за дверью ступени вели вниз, мы прошли через помещение, в котором, ты не поверишь, находилась целая коллекция старых аккордеонов, причем все дырявые. Дальше были еще одни двери, и тот, второй, опять занялся ими. Вот я тебе рассказываю, и мне самому не хочется верить, но когда я в какой-то момент задумался, откуда у них уверенность, что я не подниму тревогу, то заметил, что у добрейшего Хэла есть кроме

фонаря еще некий твердый предмет, каковым он подталкивает меня, и этот предмет — пистолет с глушителем. Короче, полный отлет.

За вторыми дверями тоже находились стеллажи, только чистые и поглубже, и это был такой…

(Он чуть ли не минуту катал во рту это слово, я видел, как он формирует его губами, отгораживаясь — от чего? От страха, от боли, от моей недоверчивости? А может, он попросту театрально держал паузу?)

— Это был такой бордель а-ля «Спящая красавица»: множество красивых девушек, лежащих рядышком. Было их больше десятка, одеты поразному, но сверху на всех были наброшены болоньевые плащи, видно, чтобы не пылились. А дальше мужчины, и, кажется, тоже красивые. Коридорчик расширялся, переходя в большой зал, и там в центре, как на катафалке, лежал один экземпляр, от ступней до пояса голый, а между бедрами и шеей у него вообще не было кожи, и под ребрами была видна путаница проводов, печатных схем, каких-то плат с транзисторами или как там это называется. Этакая помесь Шварценеггера с портативным радиоприемником. Я не поверил бы, если бы не видел собственными глазами. Но я видел. А мои сопровождающие с

минуту возились в зале, а у меня, как только я увидел этого красавчика на столе, выражение лица, видимо, стало такое, что Стерлинг даже перестал держать меня на мушке. Он указал своему напарнику на какое-то тело на нижней полке, они взяли эту девушку и двинули в обратный путь. Но прежде чем уйти, Стерлинг взял меня за локоть, приложил жестом, велящим молчать, ствол пистолета себе к губам и направил луч света на трех роботов, лежащих у самых дверей, и то были три Лильки, абсолютно не отличимые. Представляешь, у меня был рвотный спазм, меня чуть не вывернуло. Тут со стороны коридора подошел третий, который сидел рядом со мной в машине, и снова сделал мне укол. И я заснул. А проснулся в нашем доме у лестницы, и соседка с третьего этажа, у которой была большая собака, трясла меня за плечо и выговаривала, но сочувственно, доброжелательно — знаешь, уже только на Воле женщины так сочувствуют пьяным: «Ну вы, соседушка, и набрались. Вам помочь до квартиры-то дойти?»

Я очень боялся, что если Лиля узнает от нее про эту сцену, то воспримет как нарушение договора, а надо сказать, что как-то, всего один-единственный раз, она очень резко, почти на крик мне

объявила, что если когда-нибудь я напьюсь вне дома, она меня вышвырнет отсюда. И хотя в данном случае виной было вовсе не спиртное, я на всякий случай больше не пил и сидел, как кролик под шляпой. Но она все не возвращалась. Проходили дни, недели, месяцы. Я уже знал, что она не вернется. Те двое, что стерегли нас, тоже исчезли. А я не имел представления, где находится этот склад. И я блуждал по Варшаве, искал ее. Господи, как я хотел ее найти! Ведь без нее я был инвалидом. На ночь я возвращался на улицу Желязну и выл, умоляя ее вернуться. Однако ее не было. Может, КГБ сориентировалось, что американцы пронюхали про их дела, и все свернули. А у меня в голове сидело: «Если бы я знал, где их склад, то прорвался бы туда, даже если бы его охраняла вся Красная Армия, а не единственный сторож, которого наши друзья из ЦРУ, вероятней всего, усыпили, а может, и пришили». Я сходил также в военный комиссариат, но там мне лишь сообщили, что Лиля уволилась сколько-то месяцев назад и что они ничем не могут мне помочь. Теперь я жалел, что был так доверчив и не подсмотрел, в какой дом она якобы украдкой заходила. Я прочесал всю улочку, но без всякого толка. Съездил я и в Лесную подкову, но вилла Владека была

заперта на все замки, а соседи сообщили мне, что хозяин ее эмигрировал вместе с семьей. Ищи ветра в поле. К пани Т., которую я там встретил, обратиться я не мог, так как порвал все отношения с музыкальными кругами и даже из-за Лили не желал строить из себя дурака перед ними. Так что я вынужден был решать эту проблему один, совершенно один. И тогда-то я подумал о Гдыне.

Я понимаю, что это идиотизм, поскольку эти две биографии взаимоисключаемы. Если я действительно видел ее в нескольких экземплярах на том складе, то проститутки из Гдыни не могли ее знать. Но когда так страшно тоскуешь, когда тебе кажется, что и дня больше не проживешь — уже даже не без этой женщины, а без надежды на встречу с ней, то хватаешься, что называется, за соломинку. За деньги, что оставались в баре, я купил пианолу, чтобы напоминала мне о моем возлюбленном автомате; еще хватило подшиться и купить билет до Гдыни. Да, я, разумеется, заявил об ее исчезновении в милицию, с горечью припомнив, как тот мусор гордо втолковывал мне, что у нас не Нью-Йорк и всех преступников ловят. Я понимаю, что это не имело смысла, поскольку не американцы ее украли, а просто советские свернули эксперимент. Кстати сказать, прошло

немножко больше трех лет. Временами я с сожалением думал, что если бы на ее вопрос, когда я уже не смогу вернуться на сцену, я ответил бы не через три, а через десять лет, то она до сих пор была бы со мной.

В Гдыне я провел несколько месяцев и познакомился со всеми портовыми и гостиничными шлюхами, включая и ветеранок, дающих в подворотнях, и знаешь, они выслушивали меня с пониманием, потому что я, видно, не был первый, кто вел поиски; они не раз хвастались мне, что некоторые мужчины по-настоящему влюбляются в них, но помочь мне ни одна не могла. А у меня не было даже снимка. Я никогда не фотографировал ее. В доме фотоаппарата не было, не знаю почему, и вообще за эти четыре года мне ни разу не пришло в голову сфотографировать ее. Ах, нет! Как-то на именины я захотел в подарок фотоаппарат, но она поморщилась, дав понять, что ей не нравится, и я уступил. Я во всем уступал ей, больше, чем матери, причем без принуждения, а с какой-то собачьей готовностью. Хэл как-то сказал, что ее кожу чем-то специально напитывали, да и эта ваниль, как сам понимаешь, тоже была химия. Но чем, я уже не помню. Я постепенно утрачивал надежду, но постепенно и привыкал,

к тому, что ее нет. Я снимал комнату, и надо было на что-то жить. И тогда — ты не поверишь — я встретил на улице Барбару.

Оказалось, что она скрипачка в Музыкальном театре и что там ищут концертмейстера. Дома я все-таки немножко играл для собственного удовольствия, и этого оказалось вполне достаточно: меня взяли. Впрочем, не знаю, может, это Барбара мне сделала такую протекцию. Я начал вести в меру нормальную жизнь. В меру. Пришлось заново учиться общаться с людьми, придумывать что-то на тему, чем я занимался после окончания учебы. Принимать к сведению, что они чего-то от меня хотят, что надо вновь быть с ними предупредительным, уступать им. Напрягаться, делать реверансы. Понимаешь? Лучше всего относилась ко мне одна странная знакомая, она как-то заговорила со мной на улице, мы с ней перекинулись словом, потом несколько раз встречались, она как-то симпатично, хорошо смотрела на меня, хотя сама была не слишком красива. Впрочем, может, она была и красивая даже, но после Лильки… Я вполне мог переспать с ней, знаешь, встреча на одну ночь, но эту, похоже, такое не интересовало, да и меня тоже. Так что я был достаточно пассивен, и она, видимо, это почувствовала, потому

что однажды взяла и не пришла на свидание в кафе. И общий привет.

Я до того оттаял, что даже позвонил Люсе, чтобы узнать, как чувствует себя мама. Люся разговаривала со мной как с последней сволочью, ругалась больше обычного, но трубку все-таки не бросила, и я был ей благодарен за это. Как-никак я утратил право выпендриваться. Я узнал, что мама болеет, но видеть меня, вероятней всего, не захочет. Я подумал, что надо будет в выходные посетить ее, не можем мы относиться друг к другу как враги. Возможно, я испугался, что она не простит меня перед смертью. Понимаешь, сейчас мне очень трудно определить, что я тогда чувствовал, а что теперь приписываю себе задним числом. Но я так и не поехал в Варшаву. Тогда мне это было еще слишком тяжело.

С Барбарой я незаметно подружился. У нее был муж, двое детей, она растолстела, и временами мне не верилось, что столько лет она была для меня причиной таких мучительных и возбуждающих воспоминаний. Как-то мы сидели после премьеры, она была уже здорово под мухой, ну а я трезвый, поскольку подшитый, и чувствовал я себя таким несчастным, что расчувствовался и стал рассказывать ей, правда весьма осторожно,

как я смотрел на нее, словно на икону, — так я это определил. И представляешь себе? Она расхохоталась, страшно громко, потому что стала вульгарной бабой, и объявила мне: «Адам, да я в ту пору зациклилась на сексе и переспала с половиной Академии, тебе достаточно было только руку протянуть. Твоя мама, наверное, знала об этом, потому что иначе я не очень понимаю, зачем она попросила меня играть вместе с тобой. Но ты был такой скромник, а потом непонятно почему надулся».

А я и не знал, что мы репетировали этого Шимановского по инициативе матери, и, кстати сказать, не очень-то я верю, будто моя мать была способна подсовывать мне женщину. Но я был потрясен этим признанием Барбары; знаешь, это ужасное чувство, когда за что ни схватишься, в руке у тебя оказывается говно; в ту ночь я пошел на прогулку по пляжу в сторону Орлова, бродил несколько часов и вдруг подумал: «А что я, собственно, тут делаю?» Был январь восемьдесят девятого, я уже больше полугода торчал в Гдыне, и было совершенно ясно, что Лили я тут не найду, что она, вероятней всего, никогда здесь и не бывала, а заодно до меня постепенно стало доходить, что непонятно, чего, собственно, я ищу, но словно

я был обречен думать в двух направлениях одновременно, мне пришло в голову, что, возможно, она ждет меня в той нашей квартире на Железной, от которой у меня все время сохранялись ключи, хотя за найм я не платил, поскольку не знал — кому. На следующий день я объявил в театре, что увольняюсь, доработал до первого и возвратился в Варшаву.

Но тут никого не было, и сразу же после возвращения я узнал, что мама умерла. Похоронили ее без меня; после я говорил с Люсей, изображал гордого, сказал, что жилье у меня есть, из-за родительской квартиры я жопу драть не буду и вообще ничего мне не нужно, единственно, я хочу забрать отцовское кресло. А после матери я все оставляю ей. Люся по своему обыкновению сказала мне что-то вроде: «Ну ты, мальчик, вообще охренел», — но я уперся на своем; в сущности, мне было страшно плохо, оттого что я не успел помириться с матерью, только Люся тут была ни при чем. Я перевез кресло на Железную. Потом, правда, у меня начались хлопоты, потому что внезапно оказалось, что дом идет на снос, а у меня не было денег снять квартиру, в которой поместилось бы все, что я хотел забрать, то есть пианола и кресло. Зарабатывал я мало, работал

в Доме культуры. Ладно, это долгая история. Да и не важно.

Спустя некоторое время мне удалось устроиться в ансамбль, который ездил с концертами по школам: один трепло-лектор и музыканты, которые делают обзорный концерт от Баха и Моцарта до Грига и Равеля, ну а дальше — стоп, потому что невозможно детей пичкать Онеггером[61] и Кейджем;[62] нас и так мало кто слушал. Но сказать по правде, иногда случалось играть и по частным приглашениям, нет, не на свадьбах — это уже было начало девяностых, и нувориши устраивали приемы с оркестром, ну и, как сам понимаешь, на этом мы больше всего зарабатывали. Так продолжалось до прошлого года.

Нас пригласили в школу, где мы сейчас с тобой преподаем. Мы должны были дать концерт, а у меня что-то случилось — я уж толком не помню — с часами, они все время останавливались, и я боялся опоздать; к тому же я изо всех сил старался не рассыпаться окончательно и приходить

---

[61] Примечания: 61

Онеггер Артюр (1892–1955) — французский композитор, с 1920-х гг. входил в новаторское содружество композиторов «Шестерка».

[62] Примечания: 62

Кейдж Джон (1912–1992) — американский композитор, представитель авангардизма, работал в области экспериментальной музыки.

вовремя: для меня было исключительно важно. В тот раз я пришел слишком рано. Вообще у меня случился небольшой шок: я поначалу не обратил внимания, но это же была та самая улица, где находится военный комиссариат, и попытка похищения происходила метрах в ста от школы, не больше; короче, меня это расстроило, к тому же страшно хотелось курить, а на улице лил дождь. Понимаешь, еще идет урок, никто на меня внимания не обращает, уборщице я объяснил, что должен здесь играть, и стал искать местечко, где можно спокойно покурить. Я дошел до спортзала. Знаешь? К тем дверям, что ведут вниз, в подвал. Догадываешься, да? Проверить я не мог, они ведь заперты. Но я знал. Понимаешь? Потому я и перешел сюда работать. Чтобы быть рядом с ней. Рядом с ними. Потому что там лежат они. Куски меня…

19

Если бы Адам поведал мне это не в субботу вечером, а в какое-нибудь другое время… Если бы мы были сильней или для разнообразия менее пьяны, то есть уже не способны к согласованным действиям или способны к их критической оцен-

ке… Но мы оба как раз находились в идеальном состоянии, чтобы я мог ему сказать:

— Адам, вообще-то я считаю, что ты малость спятил, и если ты думаешь, что из-за того, что ты тут нарассказал, я стану относиться к Беате хуже, чем она того заслуживает, потому что ты внушаешь мне, будто она тоже очередной эротический киборг, то на это лучше не рассчитывай. Но я скажу тебе еще вот что: хватит этого многолетнего траура по кому-то, кто был неведомо кем, но сделал тебя несчастным. Поэтому ты сейчас встанешь, пойдешь за мной в школу, и мы попробуем уговорить ночного сторожа открыть нам дверь в подвал около спортзала, чтобы ты убедился, что там ничего нет. Ну, может, кроме аккордеонов, потому что о них я тоже слышал.

— Дай еще сигарету, — попросил Адам и подозвал официантку, которая за эту неделю успела с нами подружиться. — Войтек, — торжественно произнес он, после того как мы расплатились, — но ты же прекрасно понимаешь, что если там что-то есть, то в лучшем случае мы получим по морде.

— Но там нет ничего, ты это понимаешь? Склад КГБ в подвалах варшавского лицея? Эротические киборги этажом ниже кабинета, в котором

Флоркевич преподает биологию? Ты что, совсем одурел от алкоголя?

— Однако же ты собираешься пойти со мной.

— Собираюсь. — Я чувствовал, что волнением я обязан в основном пиву, хотя не только. — Я получил от тебя нечто крайне ценное. В течение недели я слушал рассказ, который меня захватил и отвлек от моих сраных переживаний брошенного мужа. И теперь я хочу тебе за это отплатить. Сейчас мы туда пойдем, и ты наконец освободишься.

Адам улыбнулся. У меня не впервые возникло ощущение, что алкоголь он переносит лучше меня.

— Послушай, кузен, я много раз думал об этом. Играл, ремонтировал пианолу и все прикидывал, не напоить ли сторожа в дупель и не взломать ли дверь. Но я боюсь. То есть… не знаю, хочу ли я этого. Может, пусть все так и останется?

Я встал из-за стола.

— Ты мне говорил, что если я поймаю себя на том, что мне чего-то хочется, а потом вдруг окажется, что я к этому совершенно охладел, чтобы я боролся с собой, так как это результат шока. Было такое?

После недолгой паузы он тоже встал.

— Хорошо. Пошли.

До школы мы доехали на трамвае, долго стучались, наконец показался сторож. Был он примерно в таком же состоянии, что и мы. Он что-то бурчал, но, увидев Адама, явно смягчился, но только до того момента, когда мы упомянули о ключах от подвала. Возможно, мы слишком легко хотели попасть туда? То моя вина, я не верил, что это вызовет какие-то сложности, но сторож начал кричать и, к моему удивлению, пригрозил, что позвонит в милицию.

— Пан Фелек, — примирительным тоном обратился к нему Адам, — милиции уже не существует. Дайте-ка мне ключи от моего кабинета и перестаньте ворчать. Пошутить, что ли, нельзя?

И мы пошли на второй этаж, где стояла пианола, у которой уже два дня, как действовал двигатель, и сели на парты. Должен признать, моя уверенность, что я разрушаю болезненные фантазии кузена, несколько ослабла. Кроме того, мороз на улице слегка меня отрезвил, и мне захотелось спать. Но теперь Адам набрал азарта.

— Что будем делать? — поинтересовался он.

— А что мы можем делать? Не будем же мы взламывать двери. Тем более что незачем. Рассказываешь ты трогательно. Но и только.

— Погоди, — остановил он меня. — Ты лучше меня знаешь эту школу. Господи Иисусе, но ведь американцы говорили… что где-то наверху находится центр управления. Какие-нибудь соображения имеются?

Я подумал и кивнул.

— Наверно, в кабинете химии.

Адам вышел в коридор. Я погасил свет и поплелся за ним. Но он не собирался уходить отсюда, как я со злостью убедился в этом, проклиная тот миг, когда, поддавшись настроению, я уговорил действовать. Придумать бы, как его отсюда вытащить. Когда он взглянул на меня, я в который раз за сегодняшний день подумал: *сумасшедший.* Никогда я еще не видел, чтобы у него так горели глаза.

— А там что? — спросил он.

— Где?

— Ну там, — мотнул он головой.

Здание школы было построено еще до войны за счет то ли профсоюза железнодорожников, то ли какого-то кооператива, точно не помню. В ту пору это было одно из самых современных зданий такого типа в Польше — с огромным спортивным залом, кабиной для кинопроектора, бассейном, а также с двумя башенками на крыше, предназна-

ченными под астрономическую обсерваторию. Адам показывал на одну из них.

— Что там сейчас находится?

— Понятия не имею. Склад всякой рухляди, наверно.

— А внизу аккордеоны для школьного оркестра, да?

Адам вернулся в кабинет, и я слышал, как он возится с пианолой. Вышел он оттуда, настроенный весьма решительно.

— Слушай, — говорил он, увлекая меня к лестнице, — времени у нас очень мало. Пианола играет, сторож будет думать, что это я и что мы там спокойно сидим. А теперь я тебе опять скажу, если тебе чего-то хочется, а потом окажется, что ты к этому совершенно охладел, борись с этим. Мы только посмотрим, как там выглядит замок.

Он держал меня за руку, словно мы были детишками из детского садика или педиками на свидании, и тащил наверх. Двери в обсерваторию со стороны коридора были заперты на обычный французский замок и к тому же явно не закреплены задвижками на пороге и притолоке, так как болтались от любого прикосновения. К ужасу моему, Адам отступил назад и шарахнул по ним всем корпусом. Со второй попытки он влетел

внутрь. Теперь и десяток пианол не обеспечили бы нам алиби: я знал, что будет дикий скандал, но не представлял еще, до какой степени. Когда Адам, поднявшись по металлической лестнице, приглядывался к очередным дверям, у нас за спиной кто-то появился. Я обернулся. То были сторож и пан Драбчик собственной персоной.

— Что вы тут делаете? — осведомился Драбчик энергичным и резким голосом, какого я ни разу у него не слышал. Он был в костюме с чудовищным зеленым галстуком и распахнутом пальто; похоже было, что сторож вызвонил его с какого-то культурного мероприятия.

— Хотим осмотреть обсерваторию, — сообщил Адам, не поворачивая головы. — Я намерен устроить там космический концерт а-ля Жан Мишель Жарр.

— А вы, как обычно, пьяны. Как вам не стыдно! И еще нашего молодого коллегу увлекаете на эту скверную дорожку. Мне что, в полицию звонить?

— Видишь? Уже второй. — Адам наконец повернулся и сверху воззрился на Драбчика. — Но этот хоть заметил смену названия. Иди звони и отцепись от нас.

— Немедленно спускайся.

— А то что будет?

— Спускайся, — повторил Драбчик, и я остолбенел: он полез в карман и вытащил пистолет.

— Ах, так это тебя поставили караулить, — обрадовался Адам. Теперь мне стало совершенно ясно, что в кафе мне пришла не самая удачная мысль. Скорее, фатальная. — Я так и подозревал. Живешь ты рядом… Можно сказать, спишь и сторожишь. Подвал тоже ты охраняешь?

— Немедленно спускайся, и пойдем вместе в секретариат.

Драбчик не желал вступать в дискуссию.

— Спускайся, Адам, — весьма миролюбиво сказал я. Произнося эти слова, я окончательно протрезвел и, хоть не был уверен, что нам грозят неприятности с полицией за порчу дверей, но зато ни секунды не сомневался, что в следующем семестре мы не будем работать в одной школе с Драбчиком. Вопрос был только в том, на чью сторону встанет Пуэлла. На чью сторону она сможет встать.

— Уже спускаюсь. — Адам взглянул на меня и шел, уже не сводя с меня глаз. — А ты, кузен, не бзди. В конце концов, ничего не произошло, а за дверь я заплачу…

И тут он даже не бросился на Драбчика, а,

скорее, пнул его, пнул в челюсть. Химик с окровавленным лицом отлетел к стене и сполз на пол. Потерял сознание. Пистолет упал к ногам сторожа, но, прежде чем тот успел нагнуться, Адам уже завладел оружием.

— Руки вверх, пан Фелек, — сказал он, — а ты, кузен, обыщи старичка. Может, у него с собой ключи.

— Адам…

— Войтек, давай не будем спорить. Мне ведь теперь все равно. Я должен туда попасть. Теперь уже должен. И у меня есть оружие, — он что-то поправил в пистолете, — но, в отличие от химика, я снял его с предохранителя. А ты сними с него пиджак и галстук… Свяжи его. Кляпа в рот не нужно, если желает, пусть кричит в свое удовольствие.

Я сделал то, что он велел, но руки у меня дрожали. Я предпочел не проверять, действительно ли Адам настроен так отчаянно и решительно, как выглядит. Я вытащил у Драбчика из кармана две связки ключей, связал ему галстуком руки за спиной, ноги обмотал пиджаком.

— Как следует, как следует.

Я обмотал как следует. Химик все так же был без сознания, галстук у него был весь в крови.

Надо думать, он лишился зуба. И, наверное, не одного. «Ну Адам и врезал ему», — с каким-то идиотским удивлением подумал я. Я испугался, что Драбчик задохнется, и стал усаживать его у стенки, смутно припоминая, что лежа дышать трудней. Адам грубо отпихнул меня.

— Без телячьих нежностей, а то он тебя сейчас прихватит, и мне лишние хлопоты.

— Адам, ты что, не видишь, что ты ему сделал?

— Вижу, вижу. — Голос у него был как у автомата. — Давай подбирай ключ. Пан Фелек, руки можете опустить, но без глупостей. Вы человек разумный.

Я поднялся по железной лесенке и начал совать в замок ключи. Совладать с дрожью рук мне не удавалось, и потому продолжалось это страшно долго. Однако удивлялся я куда меньше, чем следовало бы. У меня просто не было на это времени. И отсутствовала дистанция. А кроме того, даже мне стало очевидно, что за дверью что-то кроется и вся эта идиотская ситуация вовсе не является конфликтом из-за вторжения на склад старых парт. Но когда предпоследний ключ из второй связки наконец повернулся, я увидел лишь продолжение пыльной лестницы, заставленной картонными коробками.

— Адам, даже если у них тут что-то и было, — пришибленным голосом сказал я, — то они все вывезли.

— На какие шиши? — усмехнулся Адам. — У Советов под конец не хватило денег даже на то, чтобы снять космонавта с орбиты, бедняга вращался вокруг Земли на год дольше, чем планировалось. А что уж говорить об этом. Что-то обязательно осталось. Пан Фелек, убери эти коробки с дороги.

Мы со сторожем подхватили первый ящик и чуть не перевернулись: он был пустой. Потому я ногой отшвырнул остальные и первым вошел в обсерваторию. Сторож щелкнул выключателем, Адам нервно схватил его за руку, но ничего страшного не произошло, только лампочки загорелись. Но и дальше был тот же склад рухляди: сплющенные глобусы, доски на треногах, деформированные модели геометрических тел. Адам у нас за спиной еще раз оглянулся на Драбчика, который потихоньку начал шевелиться и что-то бормотал.

— Задница он все-таки, — буркнул Адам и следом за нами поднялся наверх.

— Где ты отработал такой удар ногой? — поинтересовался я, а сам соображал, что же дальше.

Адам только пожал плечами и принялся перекидывать рухлядь. Какие-то вещи с ужасающим грохотом скатывались по металлической лестнице.

— Слушай, некогда. Сюда может еще кто-нибудь припереться. О!

И я тоже воскликнул: «О!», потому что за кучей ломаных стульев открылся какой-то пульт со множеством клавишей, рычажков, лампочек. Адам протолкался поближе, локтем сдвинул остатки хлама и наклонился над устройством. Оно оказалось куда больше, чем нам показалось поначалу, и занимало три стены обсерватории. Справа оно оскалилось черно-белой клавиатурой, смахивающей на клавиатуру небольшого синтезатора.

— Пан Фелек, что это? Вы когда-нибудь это видели?

— Понятия не имею. — Сторожа трясло, то ли от выпитого, то ли от холода, то ли от переживаний этой ночи. Однако он подошел поближе и с любопытством уставился на устройство. — Тут что-то по-русски написано…

— Как это включается?…

— Адам, — вмешался я, не без страха оглядываясь на лежащего Драбчика, чьи ноги мне были

видны в проеме дверей. — Успокойся. Ты выиграл. Тут действительно что-то имеется. А теперь пошли.

— Сейчас? Ты шутишь. — Он принялся бессистемно щелкать выключателями и, видимо притворяясь, будто делает это мимоходом, одновременно говорил: — Ты о чем-то спросил? Ага… Я тебе еще много чего не рассказал, например про то, что, когда начали ломать тот дом на Железной улице, я вытаскивал с рабочими пианолу буквально под ковшом экскаватора, короче, едва успел. Хорошо, что я уже здесь работал и было, куда ее пристроить. А насчет пинка… Как-то еще в детстве я прочел, что двое грабителей напали на балетмейстера Большого театра, и он применил этот прием. Меня это страшно восхитило, и я начал тренироваться в отсутствие матери, а потом испробовал, когда Лильку пытались похитить, — он взялся за какой-то рычажок, — ну, и оказалось, что я еще не забыл.

— Слушайте, мне же нужно в полицию позвонить, — вдруг заканючил сторож.

— Еще минутку, — пробормотал Адам.

Я было собрался сказать, что мы только время зря тратим, но тут произошло нечто поразительное: на пульте вспыхнули огоньки.

20

Мы замерли. Только Драбчик шумел внизу; похоже, он сполз на пол и переворачивался с боку на бок. Наверно, пытался встать. Лампочки мигали, у самого окна засветились экраны, которых мы раньше не замечали, по ним пробегали колонки цифр.

— Ну и что? — спросил Адам.

Я подошел, положил ему руку на плечо.

— Ничего, — бросил я. — Ты что-то сделал, только непонятно что.

Он фыркнул от злости.

— Без тебя вижу. Но что дальше, кузен? Что дальше?

Сторож плаксивым голосом снова завел про полицию, видимо, мобилизованный звуками, доносящимися снизу; Клещевский взмахом руки, как дирижер, велел ему умолкнуть. Я видел, что открытие возбудило его, но в то же время вызвало раздражение. Он прикоснулся к тайне, которой суждено остаться нераскрытой. Без технической инструкции у нас были бы трудности и со включением стиральной машины, а что уж тут говорить. Дальнейшее нажимание разноцветных кнопок

оставалось безрезультатным. Цифры на экранах после хаоса первых минут расположились рядами от нуля до девяти — у меня это вызвало ассоциацию с плоским графиком кардиограммы остановившегося сердца. Устройство не хотело оживать. Наконец это дошло и до Адама, который с грустной улыбкой коснулся клавиатуры. Раздались мяукающие звуки, словно при настройке инструментов электронного ансамбля.

— Ну что? — невесело произнес он. — Остается только что-нибудь сыграть. Отвратительное звучание, верно? — Он обернулся ко мне. — Пластиковая дешевка. — И я услышал, что он начинает выстукивать первые такты вальса «Франсуаза». Сторож бросился к пистолету, лежащему на пульте, но Адам оказался быстрее. — Спокойно, пан Фелек, спокойно.

— Пан учитель, — снова заканючил тот, — вы, что ли, для того побили пана химика, чтобы наигрывать тут мелодийки? Я же должен сообщить… И что еще скажет пани директор? Если бы от этого какой прок был…

Адам мгновенно вскинул голову.

— Пан Фелек, вы — гений! Зачем наигрывать мелодийки? Ну ясно, от этого должен быть прок. И есть прок, несомненно, есть… Код доступа!

Было видно, что сторож ничего не понял, он знай пялился на пистолет, явно рассчитывая, что в конце концов ему удастся завладеть им. Я на всякий случай схватил его за плечо. Мне только участия в драке не хватало. В конце концов, Драбчик нам угрожал, и наши действия, наверно, можно подвести под понятие «необходимая оборона». Этого мне было вполне достаточно, и на большее я не претендовал.

— Адам, — обратился я, — тут, как я вижу, сорок восемь клавиш. Может, ты и прав, но при самом оптимистическом предположении, что код состоит всего из восьми звуков… Ты помнишь из математики, сколько это комбинаций?

Он что-то промычал и проиграл начало «Революционного этюда».

— Хочешь сидеть тут до пенсии? — поинтересовался я под первые такты полонеза Огинского.

— Да, — его голос заглушили вступительные аккорды «Киевских ворот» Мусоргского. Затем кузен перешел к «Прогулке» из «Картинок с выставки» и произнес: — Ежели речь обо мне, то я добрался до своей последней станции. А вы все можете идти к чертовой матери. Приноси мне только пожрать. — Внезапно он сменил тон. — Ладно, не строй из себя кретина, лучше пошевели

мозгами. Чем они могли закодировать это свинство? Своим гимном? «Танцем с саблями»? Сталин больше всего любил «На сопках Маньчжурии». Как это звучит? — и он снова склонился над клавиатурой.

Так начался этот безумный концерт, во время которого мы с паном Фелеком только переглядывались, стоя вроде бы и возле дверей, но оставаясь под несомненным воздействием пистолета, лежащего рядом с Адамом. Я вдруг осознал, что ситуация стала настолько же безнадежной, насколько и гротескной; снизу долетали стоны химика, который пришел в себя и попеременно то скулил, то ругался — не знаю, от боли или со злости, — а Клещевский между тем в исполнительском трансе перешел от Чайковского через Хачатуряна, Прокофьева и Римского-Корсакова к «Волга, Волга, мать родная», «Пусть всегда будет солнце» и давно уже не слышанным мной позывным Интервидения. Синтезатор омерзительно мяукал, искажая некоторые произведения до неузнаваемости; да, мне стало ясно, что нам суждено остаться здесь навсегда. Затем он сыграл «Арлекино, Арлекино, надо быть смешным для всех», потом «Сердце» Дунаевского и — что в наших обстоятельствах прозвучало особенно

издевательски — марш из «Веселых ребят». И в тот самый момент, когда я уже почти созрел для того, чтобы вместе с паном Фелеком скрутить пианиста, колонны цифр на экранах исчезли и появилась надпись на русском: «Внимание. Система готова». Адам последним заметил это; он проиграл еще куплет из «Я люблю тебя, жизнь» и только после этого замер.

— Отлично, большое достижение, — насмешливо начал я и, взглянув в окно, поперхнулся словами.

Во дворе, а видна нам была его левая часть, стали появляться в тусклом свете единственного фонаря какие-то силуэты. Мы все трое стояли рядышком — словно совсем недавно никто никому не грозил пистолетом, — стояли, почти прижавшись носами к стеклу, чтобы хоть немножко отчетливей видеть. Люди вылезали по одному, по двое из маленьких подвальных окошек над самой землей. Они с трудом протискивались сквозь узкие отверстия, неуклюже вставали, неловко отряхивались и после этого оглядывались вокруг, словно пробудившись ото сна. С такого расстояния они выглядели, как маленькие фигурки из теста, еще мягкие, до конца не вылепленные, но уже оживленные случайным заклятием. Неко-

торые топтались на месте, другие неуверенно двигались в сторону ворот, ведущих на улицу. Никто из нас слова не промолвил, точь-в-точь как если бы мы увидели целую процессию призраков. Вдруг Адам оттолкнул нас и как сумасшедший понесся вниз, перескакивая через три ступеньки. Глянув в пролет, я увидел выражение его лица и испугался за него — сильней чем когда-либо. Бросив сторожу что-то невразумительное, не то «извините», не то «подождите нас», я помчался за ним. Но я был не в состоянии бежать так быстро, да и никто, наверно, не был бы.

Я выскочил во двор. Метрах в тридцати находились ворота, ведущие на улицу, там стоял Адам, останавливая каждого, кто выходил поодиночке или парами, — все они были в плащах из болоньи, — и заглядывал им в лица. Но в какой-то момент перестал, больше никого не задерживал, и они проходили мимо него, как зрители после закончившегося сеанса, некоторые на расстоянии, некоторые, не обращая на него внимания, почти касались его. Когда удалилась последняя фигура, я подошел к Адаму.

— Ты нашел ее? — тихо спросил я.

Он долго не отвечал.

— Скорей уж, — их.

— Так нашел?

А он все смотрел им вслед, и я подумал: «Наверное, да». Улочка опустела, остались только мы вдвоем. Он помотал головой.

— Представляешь, — наконец заговорил он, — эти автоматы… Эротические киборги, — голос у него задрожал, словно он сдерживал смех, — они, оказывается, старятся. Пыльные. Залежавшиеся. Облезлые. Просроченные. В вышедшей из моды одежде. Заплесневелые и грязные. Уже почти мертвые. Вот уж поистине «Веселые ребята». — Он прижался ко мне, совсем как ребенок. — Нет, ты представляешь?

Визит по приглашению

Отдавая себе отчет, что предуведомления подобного рода лишь убеждают читателя в том, что персонажи книги списаны с реально живущих людей, я тем не менее хотел бы уверить, что в данном случае действительно нет никакой связи между описываемым мной педагогическим коллективом и учителями из известных мне лицеев. И для большей веры моим словам добавлю: да, довоенное школьное здание с астрономической обсерваторией на крыше в Варшаве действительно существует. Ну хорошо, — Пуэлла тоже действительно существует. И это все. Остальное — вымысел.

Часть третья

Кто я? Про это знает только тот, кто знает, что я не существую.

Мициньский.[63] Плаун

Меня зовут Анджей Вальчак, и я являюсь автором этой книги. Поместить предуведомление об учителях потребовал от меня мой друг Ежи, вместе с которым мы учились в лицее имени Коперника на Воле, а сейчас он там преподает; Ежи чуть не ошалел, когда, читая только что законченную рукопись, сообразил, где происходит действие романа.

— Послушай, что ты себе позволяешь? — кричал он мне по телефону (признаться, я ожидал звонка с поздравлениями наподобие: «Старик, я просто не мог оторваться» или: «Ты же знаешь, старик, меня трудно растрогать, но на этот раз…» — короче, что-нибудь в том же духе). — Нет, ты понимаешь? Я притаскиваю тебя на выступление, а через полгода ты мажешь грязью учительский

[63] Примечания: 63

Мициньский Тадеуш (1873–1918) — поэт, прозаик, драматург, представитель польского модернизма. Роман «Плаун» был опубликован в 1910 г.

коллектив. Мне же этого не простят, ты должен с этим что-то сделать.

— Но, Ежи, — пытался я объяснить ему, — если только я напишу, что это вовсе не педагогический коллектив такой-то школы, читатели как раз будут убеждены, что имел я в виду именно эту школу, а мы с тобой прекрасно знаем, что все персонажи, кроме Пуэллы и Иолы, вымышленные.

— Ну, с кого списана Иола, я догадываюсь, — Ежи говорил уже спокойней, как это и бывает у холериков, — и тебе вовсе незачем сообщать адрес школы (спасибо тебе, Ежи), — напиши это как-нибудь округло, что, дескать, никого из известных тебе учителей ты не брал за прототип. Никого и ни из какой школы.

Это было совершенно бессмысленно, но я припомнил историю с фильмом «Основной инстинкт», против которого протестовали американские лесбиянки, потому что в нем была представлена одна крайне несимпатичная лесбиянка, а кроме того, я люблю Ежи, невзирая на его вспыльчивый характер, и, чтобы его успокоить, я добавил это предуведомление.

Кстати сказать, если уж вспоминать тот авторский вечер в лицее имени Коперника, то неизвестно, кто чей тут должник. Ежи тогда по-

просил меня:

— У нас тут будет школьный праздник, а в прессе столько пишут о твоих стихах, что было бы здорово, если бы ты на нем выступил. Я там только начинаю, и мне пойдет на пользу, если я тебя притащу.

Я попытался ему объяснить, что, кроме напечатанного, у меня больше ничегошеньки нету, и вообще я не могу с уверенностью сказать, насколько я написал эту книжку стихов, а насколько она написалась сама, однако в конце концов уступил ему, нарушив тем самым весьма важный для меня принцип. На другие авторские встречи я упорно посылал Марию, которая самоотверженно ездила на них и придумывала мне все новые болезни, так что в конце концов стали подозревать, что фамилия Вальчак на самом деле ее псевдоним. Мне это искренне нравилось, а ей, скорее, нет. Самые большие сложности у нее были в Кракове, но это уже не по моей вине; она там оказалась случайно по каким-то своим делам и увидела афишу, из которой явствовало, что я принимаю участие в некоем мероприятии; заинтригованная, она, естественно, зашла на него. Оказалось, что со мной никто (естественно) не договаривался, то есть организаторы каким-то

чудом добыли мой номер телефона, позвонили, я им вежливо ответил: «Посмотрим», — а они приняли это за согласие. Но хуже всего, что там к ней прицепился какой-то тип из «Газеты Выборчей» и стал домогаться, чтобы она познакомила его со мной, потому что нас (его и меня) связывают мистические узы, сходство судеб или что-то в этом роде. Подозреваю, что он просто клеился к ней, пользуясь мной, что я считаю отвратительным поступком, так как сам уже много лет безуспешно пытаюсь обольстить Марию. Она избавилась от него, а месяца через два шумиха вокруг моего сборника стихов утихла, и я мог вздохнуть спокойно. И тогда я начал писать роман.

Но с романом все оказалось гораздо сложней. Когда подписываешь договор с издательством, то наряду со многим другим обязуешься «принимать участие в рекламной акции», а это может означать все что угодно, но уж авторские встречи обязательно. А также интервью в прессе или участие в телевизионной программе «Кофе или чай» в шесть утра (я в это время еще сплю, и, если меня вытащат в телестудию, я могу дать самые непредвиденные даже для себя ответы, например, что я написал книгу о разведении кошек породы «шартрез», а потом начисто о том забыть;

я пытался объяснить это главе издательства, но она явно была убеждена, будто я шучу). Я уже мысленно видел, как я разъезжаю по городам и весям и пытаюсь объяснить, что я хотел сказать в «Визите без приглашения», а по возвращении меня встречает ироническая улыбка Марии, которая в довершение всего начинает подозревать, что на самом деле мне все это нравится.

— Если бы ты написал эссе, — говорила она, поглаживая за столиком в кафе мою руку, — то нашел бы отзыв у людей, которые, подобно мне, не ходят на такие встречи, так как знают, что они общаются с чем-то глубоким, только когда читают в тишине своего дома, а контакт с живым человеком всегда труден, как правило, поверхностен, и чаще всего от него ничего не получаешь. Кроме неприятного осадка.

Я понимал ее, по крайней мере, до определенной степени. Сколько я знаю Марию, она упрямо разыгрывает с миром некую игру, основанную на схеме торговли. Согласие на преходящесть собственной жизни она хотела оплатить решительным несогласием с бегом истории. С одной стороны, она преждевременно и неоднократно повторяла, что заранее радуется своей старости, с другой — выстраивала себе пространство, где

на равных правах могли пребывать Монтень и Амьель,[64] Манн, своего рода личная академия, которая действует на меня столь же возбуждающе, сколь и удручающе (как, спрашивается, написать эссе э таком обществе?). Или по-другому: несогласие с бегом истории было для нее уловкой, с помощью которой она разоружала, аннулировала индивидуальное чувство преходящности, ибо, если Монтень, Амьель и пр. продолжают жить, какое значение имеет ежедневное обрывание листка с календаря. Когда я иногда рассказывал ей, что вчера или позавчера видел по телевизору, она смотрела на меня с недоверием, и ее карие глаза гневно вспыхивали: зачем я так глупо шучу — разве возможно в столь интимном пространстве, каким является собственный дом, включать аппарат, который убыстряет бег времени, а главное, глушит нашу общую — как ей верилось — тоску по вечному? Ее квартира, вся в книжных полках от пола до потолка, наводила на память аранжировки Гила Эванса периода его сотрудничества с Торнхиллом: застывающее в недвижности матовое звучание труб, тромбонов и валторн, легко-

[64] Примечания: 64

Амьель Анри Фредерик (1821–1881) — швейцарский поэт, прозаик и моралист, автор «Интимного дневника».

мысленно относящихся и к свингу ударных, и к продолжительности импровизации, и чуть ли даже не к границам произведения, которое все-таки должно в определенный момент закончиться. Телевизора, разумеется, у нее не было, а радиоприемник имелся, но только потому, что ей не удалось найти центр с проигрывателем CD, в котором не был бы вмонтирован тюнер. Когда я приходил к ней, самой современной музыкой, которая тихо звучала из колонок, был Комеда,[65] хотя куда чаще Телеман, Боккерини, Бах, а также Вивальди и Гендель. Ее одежда — обыкновенно шерсть теплых тонов, кашемир, шелк, расписанный вручную, — ставили ее вне моды, за пределами современности, в некоем вечном «ныне», которое подвергало сомнению категории новаторства, актуальности, жизни *en vogue.*[66] В присутствии Марии любая новинка оказывалась случайностью, нечаянной морщинкой на поверхности Моря Спокойствия. Мне страшно хотелось ворваться в ее жизнь, всколыхнуть ее

[65] Примечания: 65

Комеда Кшиштоф Тшчиньский (1931–1969) — польский джазовый пианист и композитор, в частности, автор музыки к фильмам Романа Поланского «Нож в воде» и «Ребенок Розмари».

[66] Примечания: 66

Здесь: по моде *(фр.).*

своим пристрастием к громкой музыке (в конце концов, это мог бы быть «Вытесанный» Киляра[67]), к неоэкспрессионизму, эстетике видеоклипа. А также, будем уж до конца откровенны, к фаст-фуду, футболу и детским пластиковым костюмчикам, которые трогали меня своей бесстыдной недолговечностью. Когда я выдавал эти свои пристрастия, Мария приглядывалась ко мне с внимательностью энтомолога, который обнаружил у себя в квартире исключительно омерзительный, но нигде еще не описанный экземпляр камнеточца, или же — но это реже — злилась, оттого что я симулирую дружбу к ней, раз меня тянет к явлениям, враждебным ее миру. В сущности — думаю — мы оба декаденты, она в варианте «денди», я же, скорее, в варианте «богема»; она, не принимая к сведению того, что беспредельно раскинулось за дверями ее квартиры, я — извращенно наслаждаясь этим, словно изысканным, рисунком жилок на пораженной гангреной коже. А между тем мне рядом с ней легче дышалось, и я боялся, как бы что-нибудь (не я) не нарушило кокон, который она сплетала вокруг себя, и, когда мы вместе шли по улице, я старался

[67] Примечания: 67
Киляр Войцех (р. 1932) — польский композитор.

заслонять от нее самых отвратительных пьяниц и чувствовал бессмысленное недовольство тем, что они осмеливаются показываться ей на глаза, неразумный стыд, оттого что действительность не желает приспосабливаться к ее требованиям.

А между тем именно одному *пьянчужке* — иначе его не назовешь — я обязан сюжетом своего романа, который Мария из вежливости читала по мере его создания и с некоего момента даже, как мне казалось, со своеобразным ироническим одобрением. А дело было так: в начале 1999 года я поселился в квартире в точечном доме на улице Батория, сняв ее у человека, имевшего еще одну квартиру в соседнем доме. Как-то он мне позвонил и сообщил, что девушка, снимающая вторую квартиру, собирается выбросить старинный буфет и не пригодится ли он мне. А надо сказать что мое собрание из ста тринадцати видеокассет с телесериалами и фильмами (между прочим, включающее полный «Твин Пике») постыдно валялось на полу — все полки были заняты книгами. Я пошел по указанному адресу и договорился, что перенесу буфет к себе. Он был достаточно поврежден и красив, чтобы я мог быть вполне уверен, что он понравится Марии.

Сказать легко — трудно выполнить. У этой квар-

тиросъемщицы, миленькой студентки — как я догадался — находящегося неподалеку торгового техникума, не было никаких оснований помогать мне в транспортировке мебели, не говоря уж о том, что она отнюдь не выглядела богатыршей. Буфет был относительно легкий, однако его размеры настоятельно требовали второй пары рук. И тут я подумал о пане Кшисе.

Пан Кшись принадлежал — однако особенным и даже вызывающим симпатию образом — к группе ханыг, что каждодневно толклись, пошатываясь, у дверей продовольственного магазина, вливая в себя очередные бутылки вина марки «Запретный Плод» либо (в краткие периоды экономического процветания) пива, а может, наоборот. Он обращал на себя внимание черной бархоткой (старившей его), повязанной на шее с какой-то унылой аккуратностью, а также предупредительностью, с которой он отступал в сторону, пропуская в магазин покупателей, и еще он поражал меня пристрастием к питью в одиночку: пан Кшись нередко, когда его уже изрядно побагровевшие сотоварищи ржали на весь микрорайон, прятался за угол и там в одиночестве выкушивал из горла содержимое бутылки. Это была настолько характерная фигура, что

уже на третий день после въезда в квартиру на улице Батория я начал отличать его от прочих незнакомых мне соседей, хотя отдавал себе отчет, что, наверное, куда как вежливей с моей стороны было бы первым здороваться с дамой, живущей на третьем этаже, но ее я узнавал только в том случае, если она выходила на прогулку с парой своих йоркширских терьеров. Когда же я понял, что мне просто необходимо найти для переноски буфета какого-нибудь человека, то не без удовольствия подумал о пане Кшисе. Я предупредил владелицу буфета, что скоро вернусь, и отправился на поиски.

У магазина никого не было; смахивало на то, что февральский денек выморозил всех страждущих. Но ждать до завтра я не мог и стал растерянно оглядываться вокруг в поисках какой-нибудь альтернативы, однако в быстро спускающихся сумерках узрел только старушку в синем платке на голове (кстати сказать, ту самую, которая полгода спустя во время солнечного затмения поразила меня бесшабашностью, с какой она наблюдала космический спектакль через рентгеновский снимок своих восьмидесятилетних легких). Просить ее о помощи было бессмысленно: она могла бы покараулить мой буфетик, в крайнем случае

быстренько продала бы его, но для транспортировки определенно не годилась. И вот когда я уже принялся вполне серьезно размышлять, какая комбинация ремней и веревок позволит мне тащить буфет на спине, — если бы дело касалось не меня, я, пожалуй, с удовольствием полюбовался бы подобным *live-show* — за стеклом, отделяющим вестибюль ближайшего дома от улицы, неожиданно возник знакомый силуэт.

Пан Кшись сосредоточенно выслушал мою просьбу, неспешно кивнул и добавил к кивку еще какие-то галантные слова. Сейчас я думаю, что температура благоприятствовала моему будущему роману, выморозив из пана Кшися столько алкоголя, сколько это было вообще возможно, и мой — как это потом получилось — герой казался почти трезвым. Мы без происшествий перенесли буфет, пан Кшись по пути заботливо давал мне вполне вразумительные советы (надо сказать, с грузом он обходился гораздо умелее меня), а когда мы оказались в моей однокомнатной квартире, он заинтересовался синтезатором, который я купил в приступе безумия несколько дней назад.

— Вы играете? — спросил пан Кшись, вынудив меня к длительному объяснению, поскольку ответ был отнюдь не так прост.

В жизни я не учился играть на фортепьяно, но тяга к сочинению простеньких мелодий — назовем это скромно *изготовлением звуковых случайностей* — разрушила во мне барьеры здравого смысла, тем паче что в квартире, которую я снимал перед этой, стояло пианино, и оно воскресило мою атавистическую страсть. Так что, лишившись теперь инструмента, я подчинился голосу сердца и купил в магазине на площади Люблинской Унии самый дешевый синтезатор, причем все время разговора с продавцом дрожал, как бы не стала явной моя полнейшая некомпетентность в части того, что я хочу приобрести. Примерно это я и выложил пану Кшисю, а поскольку дорога с буфетом нас чуть-чуть сблизила, на улице же было по-настоящему холодно, я после того, как расплатился с ним за труды, спросил, не выпьет ли он чаю.

— Нет, — ответил он, — но, если вы не против, я хотел бы попробовать, как играют на этой штуке.

Я согласился не без колебаний, ожидая кош-

марной алеаторики[68] в моем духе (каковую в чужом, не своем исполнении я не переношу) или, того хуже, крайне смутных воспоминаний о «Турецком марше», «К Элизе» или песне «Сто лят».[69] Между тем пан Кшись, после того как справился с дрожью рук, проявил себя с совершенно неожиданной стороны; оказалось, что, в отличие от меня, он просто-напросто умеет играть. Я поинтересовался, где он научился, — и так начался этот вечер, затянувшийся до самого утра: я услышал рассказ, который лег в основу сюжета романа «Визит без приглашения». Естественно, в еще большей степени, чем рассказчик, от чьего имени ведется повествование в романе, который я начал писать спустя примерно неделю, я считал, что передо мною помешанный, выкладывающий свои белогорячечные видения. Но они произвели на меня впечатление, возможно оттого, что я с детства имею привычку, прежде чем заснуть, воображать себя роботом, которого на ночь кто-то выключает. Меня это очень успокаивает, так что

---

[68] Примечания: 68

Алеаторика *(отлат.* жребий, случайность) — метод музыкальной композиции XX в., предполагающий мобильность музыкального текста; здесь иронически — случайный набор звуков, получаемый методом «тыка».

[69] Примечания: 69

Сто лят («сто лет») — польская застольная заздравная песня.

по причине достаточно отдаленных ассоциаций я с пониманием выслушал историю об эротическом киборге родом из КГБ, который завел пана Кшися на кривую дорожку профессиональной деградации и алкоголизма. Ну а если быть честным до конца, за моей безучастной миной блефующего игрока в покер крылась безумная радость, ибо жизнь таким образом подбросила мне *божественную* тему сенсационного романа, написать каковой я мечтал уже несколько лет. Само собой, потом я кое-что изменил, для завершения интриги придумал концовку, а поскольку у меня была еще свежа память о посещении лицея, в котором я и сам когда-то учился, я сделал пана Кшися (теперь уже Адама Клещевского) учителем. Когда же я подписал договор на «Визит без приглашения», меня начала слегка грызть совесть, и я стал придумывать, как тактично предложить пану Кшисю некую долю гонорара (тогда под утро я заикнулся, что, может, он хочет взять мой синтезатор, но он улыбнулся и резонно заметил: «Он у меня долго не задержался бы, уж во всяком случае не дольше, чем пианола»). И можете верить или не верить, но именно тогда мой герой (соавтор?) исчез. Его сотоварищи по стоянию возле магазина с траурными минами

сообщили, что у него «вконец сдала печенка», что в равной мере могло означать и то, что пана Кшися увезли в больницу, чтобы излечить от алкоголизма, и то, что он покинул этот мир. Я надеюсь на первое, но с той поры я его больше не встречал.

Таково происхождение моей книжки, о чем я рассказал только Ежи, когда тот опять начал сетовать по поводу возможных последствий популярности «Визита без приглашения» среди учащихся лицея имени Коперника. Моя моральная проблема, которая мне виделась все явственней, закрыла в конце концов дискуссию на тему взаимоотношений Ежи с военруком, кстати сказать, вполне симпатичным человеком. Как я и предчувствовал, Ежи отнюдь не имел желания рядиться в тогу Катона и поначалу принялся меня убеждать, что в худшем случае я являюсь кем-то наподобие репортера, а репортер ведь не платит своим собеседникам (так нам обоим казалось, хотя полной уверенности у нас не было).

— Но ведь я же не репортаж написал, а по мере возможности верно воспроизвел историю, родившуюся в мозгу алкоголика, — под конец заметил я.

— Ну, раз ты его нигде не можешь найти, — предложил Ежи, — внеси какую-нибудь сумму в благотворительный фонд, безразлично какой, и перестань грызть себя. Если вообще ты получишь какие-то деньги.

Этот совет принес в мою душу некоторое спокойствие.

Обычно с подобными проблемами я отправлялся к Марии, но на сей раз я опасался ее реакции. Дело в том, что у Марии на полке над шезлонгом — рядом с польским первоизданием «Лючии де Ламмермур» Вальтера Скотта, пятитомной «Историей польской культуры» Брюкнера и подпольным изданием (1982 года) «Проблемы вины» Ясперса — стоял переплетенный в холстину репринт «Кодекса» Бозевича, и она могла совершенно искренне возмутиться тем, что я предал огласке чужую тайну. Тщетно я объяснял бы ей, что намерения у меня были самые (точнее, умеренно) чистые, что пан Кшись не просил о сохранении тайны, и даже напротив того, впечатление было такое, что его околомагазинные дружки знают эту историю наизусть. Я мог бы даже приврать, что добавил от себя куда больше, чем на самом деле, — для Марии повествование о людях, не о книжках само по себе являлось

проступком, а в данном случае отчаяние, оттого что ее друг запятнал себя, раструбив в двух тысячах экземпляров (такой планировался тираж) историю, которую ему рассказали с глазу на глаз, могло привести ее к замораживанию отношений со мной на многие месяцы. А возможно, и навсегда. Потому я подавлял в себе желание признаться в своей вине, как подавлял и само чувство вины, стараясь — что, наверное, было не слишком честно — попросту не думать обо всем этом деле. Но такова уж Мария — нравственный образец из севрского фарфора, притягивающий и одновременно раздражающий нас, несовершенных. Перспектива откупиться внесением денег в какой-нибудь благотворительный фонд давала мне надежду, что с собой-то я как-нибудь в сторонке договорюсь.

Между тем перед Рождеством книжка наконец вышла в свет. Момент несказанно волнующий, и я уже испытал его благодаря томику стихов, хотя разве могут сравниться его двести экземпляров с тиражом, обещанным издательством? («Анджей, уж не мечтаешь ли ты о славе?» — неприятно удивилась бы Мария.) И это единственный случай, когда я радуюсь, что живу один: благодаря этому, кроме меня, никто не был свидетелем несколь-

ких часов моего морального падения, когда — вопреки безжалостно ясному пониманию, что выход моей книжки ни на йоту не изменит судеб мира, — возбужденный автор (увы, я) не способен оторвать взгляда от обложки, бесконечно восхищается ладностью и красотой первой фразы, сует нос между страницами, принюхиваясь к бумаге, любуется в зеркале собой, держащим книгу под мышкой, и вообще ведет себя как помешанный. Вечером я помчался к Марии, неся ей экземпляр с дарственной надписью, которую я придумал и отточил в мыслях еще полгода назад *(Марии — для которой, без которой и которая… — Анджей В.),* и договорился назавтра зайти к Ежи. Утром я купил в киоске все газеты в дурацкой надежде найти там хвалы на тему «проникновенного диагноза современной жизни…» и т. п. Ни одной рецензии не было. Короче говоря, меня охватил амок, и пусть тот, кто сам без греха, первым бросит в меня камень. А спрашивается, почему я не хотел участвовать во встречах с читателями? Совершенно ясно: чтобы не утратить на публике контроля над собой…

Тем не менее встречи вскоре начались. Вторая из них происходила в Кракове, куда мы отправились втроем на машине издательского редактора:

сама Алина, я и Ромуальд, актер, который своим бархатным баритоном должен был прочитать фрагмент моей прозы со страницы 136. Где-то на полпути Алина вдруг говорит:

— А знаешь, у тебя, наверное, есть поклонница. К нам дозвонилась какая-то женщина и буквально умоляла дать твой номер телефона. Но мы ей сказали, что такой информации не даем, и предложили ей оставить свой номер, но она отказалась.

После этого сообщения я испытывал приятное возбуждение на протяжении примерно полутора километров, но потом мои мысли вновь обратились к Кракову — городу, который я безумно люблю, в котором хотел бы жить, но который в тот день пугал меня: ведь я должен был там встретиться с краковянами, а я им вполне мог и не нравиться, или, хуже того (бродили у меня и такие мысли), они могли вообще не прийти. Но они пришли, я им нравился, вернее, те, кому я нравился, пришли, и вечер прошел куда приятнее, чем я ожидал. В общем-то до того приятно, что на обратном пути я с беспокойством думал, а что я скажу Марии. Ведь не мог же я допустить, чтобы она начала подозревать, будто мне нравятся такие встречи.

Постепенно ритм моей жизни возвращался к норме. Годом раньше мне удалось получить работу в рекламном агентстве, занимающемся среди прочего фигуркой, олицетворяющей продукт для детей в возрасте от десяти лет, — пластиковым *мачо,* к которому можно докупить мотоцикл, лендровер на батарейках, базуку, крупнокалиберный пулемет и тому подобные радости. Супермен этот имел блистательное имя Какао-Ман, поскольку его изображение фигурировало (для улучшения здоровья самой младшей части мужского населения нашей страны) на банках растворимого какао. В агентстве придумали — еще до моего прихода туда, — что идеальным методом обеспечения сбыта дополнительных аксессуаров к Какао-Ману будет создание Почтового клуба Какао-Манов; на практике же это означало переписку с двенадцатилетними детьми, чьи письма следовало прочитывать, обращать внимание на орфографические ошибки, уговаривать юных корреспондентов хорошо учиться и рассылать блестящие наклейки. Естественно, хоть авторов и соавторов у идеи было множество, заниматься перепиской никто не хотел, так что жребий пал на поэта, то есть на меня, и таким образом я на долгие месяцы увяз в мире малолет-

них монстров, у которых ручонки так и чесались устанавливать справедливость посредством базуки. Иногда мне думалось, что причина той стремительности, с какой мне удалось написать роман, была в трагической жажде бегства от необходимости изображать из себя мускулистого моторыцаря, ибо переписку я вел в соответствии с директивой, озаглавленной «Философия привлечения и привязывания (!) клиента к продукту Какао-Ман», — разумеется, от первого лица. После завершения серии авторских вечеров и прочтения трех рецензий, одна из которых была положительной, а две других так себе (Алина утверждала, что вполне приличные), я вернулся к пачке писем, ожидавших меня в агентстве. И когда в соответствии с образцом, который я успел выучить наизусть, я уже в седьмой раз за день писал: «Привет. Твое письмо очень порадовало меня. Я тоже считаю, что неплохо держать в доме животное, конечно при условии, что мамочка не против» (ведь это мамочка покупала какао), у меня на столе зазвонил телефон.

Звонил Ежи, у него в этот день было только три урока, и в двенадцать он (счастливчик!) уже пришел домой.

— Наверно, я должен извиниться перед то-

бой, — озабоченным голосом начал он, — но у меня, понимаешь, частенько бывает запоздалая реакция, и я боюсь, что ты можешь рассердиться.

Я что-то невнятно пробурчал; мы с Ежи знакомы уже лет двадцать с хвостиком, и я знаю, что его неумение предвидеть результаты своих действий неоднократно приводило к необратимым последствиям. Однако на этот раз его слова не предвещали ничего катастрофического.

— Дело было так, — рассказывал он, — в школу сегодня позвонила какая-то женщина и спросила, знает ли кто-нибудь из учителей Вальчака. Позвали меня. Я сказал, что знаю, а она — что она умоляет (именно так она и выразилась) дать ей твой номер телефона, так как у нее для тебя есть неслыханно важное сообщение. Ну, я ей твой номер и продиктовал, — закончил Ежи голосом, каким признаются в совершении государственного преступления.

Признаюсь, что из двух гипотез: что это была та же самая женщина, о которой говорила мне Алина, и что это совсем даже другая, я без колебаний выбрал вторую. Приятнее иметь двух поклонниц, нежели одну. Я отпустил Ежи грехи и вернулся в шкуру Кака, как называли мы в агентстве иг-

рушку (само собой, втайне от производителя). Нет, правда, мне иногда безумно хотелось написать кому-нибудь; «Слушай, засранец, если ты в твоем возрасте все еще веришь, что тебе пишет пластиковая кукла…» Я пообещал себе, что, если мой роман перевалит за барьер десяти тысяч экземпляров, я действительно сделаю это и, не дожидаясь последствий, уволюсь. М-да, десять тысяч… Пожалуй, стратегии *привязывания* клиентов ничего не грозит… В тот день я написал два десятка писем, в том числе одно шестнадцатилетнему члену клуба — ох, искушение предложить ему заняться чем-нибудь полезным было поистине велико, однако я сдержался, а вечером пошел к Марии. Мы слушали фортепьянные концерты Шопена в интерпретации Циммермана (с Польским фестивальным оркестром, запись — «Дойче Граммофон»), и я даже пожалел, что Клещевский не готовил для конкурса фа-минорный концерт, так как он мне гораздо больше понравился, и о поклоннице я почти забыл. Почти — потому что все-таки я рассказал Марии об извинениях Ежи; она чудовищно возмутилась: как можно давать без разрешения чужому человеку номер телефона друга, а потом возвела очи горе и с улыбкой произнесла:

— Ну да, теперь все женщины будут у твоих ног. — Мне на миг почудилось, что в ее иронии я слышу нотку ревности, и это меня порадовало. Но, увы, Мария была по-прежнему недоступна. И на том мы попрощались.

А назавтра ранним утром, то есть без нескольких минут восемь, когда я медитировал над чашкой кофе на тему, что сделать, чтобы через час не перевоплощаться в Какао-Мана, зазвонил телефон.

— Пан Анджей Вальчак? — услышал я женский голос, странно приглушенный, как будто он проходил — даже не знаю? — *через носовой платок,* осенило меня.

— Да, — ответил я.

— Простите, я вынуждена говорить кратко. Через несколько секунд я должна отключиться. Вспомните, куда Адам не попал на консультацию. На этой самой улице в пиццерии сегодня вас будет ждать посылка. У бармена. Умоляю вас, получите ее. Настоящее имя Адама — Кшиштоф. Мне это известно. Пожалуйста, никому не рассказывайте об этом звонке. И умоляю, возьмите посылку. — Двадцать секунд. И щелчок положенной трубки.

Я отдаю себе отчет, что цитирование собствен-

ных произведений свидетельствует как минимум о возникновении нарциссизма, но мне пришла на память фраза из «Визита без приглашения»: «Начать жить внутри телесериала: приключение для идиота». А внутри собственного романа? Я пялился на телефонный аппарат, словно он только что влетел ко мне в окно в обличье миниатюрного НЛО, пожал плечами и стал одеваться (кофе кажется куда вкусней, если ты пьешь его еще в пижаме). Ребус был нетрудный: квартиру профессора Ц., куда Адам ходил на консультации, я поместил на улице Смольной, значит, речь шла о пиццерии на этой улице, где любительница — по всему похоже, криминальных фильмов и по случаю моего романа — и оставила мне у бармена подарок. Вышитую салфеточку? Медвежонка? На минутку я представил себе, что меня ждет там коробка с тем, о чем говорил Кшисю (а равно и Адаму К.) агент ЦРУ, которого я окрестил Хэлом Стерлингом в память об одной из самых моих любимых в детстве книжек «Призраки Тернового холма». Кстати сказать, у одного рецензента его имя ассоциировалось с Кларенсом Старлингом из «Молчания ягнят», и на этом он выстроил интерпретацию романа. Читал я его, не отрываясь, — это была именно та единственная

рецензия, которая показалась мне чуть ли не восторженной, хотя на самом деле получалось, что она посвящена не совсем тому тексту, который я написал, а какому-то другому под тем же названием. В сущности, замысел передать мне посылочку, воспользовавшись правилами игры «Визита без приглашения» показался мне эксцентричным, но очаровательным, тем более что он отрывал меня как бы отраженной после написания книжки волной от проблем Какао-Мана и уровня продаж пластиковых игрушек. Поэтому я решил, что сразу после работы сяду в трамвай и поеду взглянуть, где на Смольной пиццерия. «Возможно, заодно я что-нибудь узнаю о Кшисе, — подумал я, поскольку моя читательница явно знала его. — А может, это он сам после успешного излечения от алкоголизма подсылает ее ко мне?» Я был в некоторой растерянности, так как тембр ее голоса в общем-то о том не свидетельствовал, и тем не менее в подобных обстоятельствах у нее вполне могло быть желание передать мне его претензии. Однако это не изменило моего решения. И вот ранним вечером я вышел из трамвая у бывшего Дома партии и пошел по Смольной мимо столиков с пиратскими компактами и колготками по десять злотых. Уже через несколько шагов я

увидел в перспективе улицы неоновую вывеску пиццерии; она находилась в подвале дома довоенной постройки, на задах магазина «Дигиталь». Я спустился по ступенькам и вдруг понял, что я страшно голоден, и потому решил совместить приятное с полезным. Я заказал американский пирог и, назвав свою фамилию, осведомился, не оставили тут случаем что-нибудь для меня. Кельнер, по лицу которого все время блуждала ироническая улыбка, усмехнулся еще явственней и через несколько минут принес мне одновременно с дымящейся тарелкой небольшой пакет, завернутый в серую бумагу. Я развернул его. Там был «Волхв» Фаулза. Несколько секунд я искал какую-нибудь записку, надпись — ничего не было. Голод одержал верх, я взял вилку и лишь поглядывал на книжку, соображая, неужто это все. И вдруг рассмеялся от довольно нелепой идеи. «Ладно, если уж мы играем в шпионский роман, то будем продолжать»; — пробормотал я, схватил первый том и стал искать сцену, которую Адаму подчеркнул Стерлинг: «Там он держал свою коллекцию автоматов, кукол почти человеческой величины…» И разумеется, там было кое-что — моя поклонница явно насмотрелась фильмов про Бонда и иже с ним. Имя Мирабель

было подчеркнуто карандашом, а на полях написано: «Неважно почему, важно как».

Я мог бы воспринять это как оригинальное признание в любви. Но я достаточно хорошо знал «Волхва»: в начале восьмидесятых я безмерно восхищался им; кто-то дал мне тогда экземпляр, и я проглотил его за два дня; я ездил тогда в Брудно заниматься английским языком и помню, что последние страницы книги дочитывал, сидя на скамейке у дома моей преподавательницы и бесстыдно опаздывая, — но я должен был узнать, чем все кончится. Я догадался, что приписка эта отсылает к сцене во втором томе, где Николас наконец-то занимается любовью с одной из таинственных сестер-двойняшек — то ли с Джуной, то ли с Джулией, сейчас я уже не помнил, — и она после всего, за минуту до вторжения в комнату шайки бандитов, говорит ему что-то в этом роде. Я принялся искать это место, потратив на поиски некоторое время, — мне казалось (ошибочно), что оно находится в самом конце книги, меж тем как аппетит подсказывал мне не позволить остыть американскому пирогу, — но в конце концов я нашел его. «Николас, прошу тебя, запомни одну вещь (я взглянул абзацем выше: все-таки Джулия). — Что? — Я улыбнулся. — Что существует

не только почему, но и как». На сей раз подчеркиваний не было, однако внизу та же самая рука приписала какой-то адрес. И еще: «Дата по телефону». Доев пирог, я еще раз перелистал оба тома. Но ничего больше найти мне не удалось.

Я поехал к Марии — благо, повод был — и все ей рассказал. Ну, не совсем все, потому что свои былые взаимоотношения с паном Кшисем я упорно скрывал, вследствие чего сама мысль о какой-либо реакции на звонок незнакомой женщины априорно выглядела идиотской и даже более того. Мария принялась причитать, что я сошел с ума, что позволяю втянуть себя в какую-то сомнительную аферу, что кто-то подшучивает надо мной, а кроме того, что если я один пойду туда, то меня, вне всяких сомнений, ограбят, изобьют и т. п., поскольку место встречи, судя по адресу, находилось в той части Праги,[70] которую жители этого берега Вислы, скорее, побаиваются. Действительно, этого нельзя было исключить, но меня страшно заинтересовал человек, который пожелал поиграть со мной и с моей книгой. Потому от Марии я поехал прямиком к Ежи, попав,

[70] Примечания: 70

Прага — некогда предместье, а ныне часть Варшавы, расположена на правом, восточном, берегу Вислы; пользовалась славой хулиганского и даже уголовного района.

кстати сказать, к семейной трапезе. Подождав, когда его жена пойдет купать маленького Томека (чудовищного сорванца), я показал Ежи «Волхва». А он, похоже, начал уже страдать от однообразия учительской жизни.

— Представляешь, — несколько минут назад рассказывал он мне, — у меня три вторых класса, и сегодня я три раза подряд вынужден был растолковывать им понятие мессианизма.[71] Старик, я уже блюю видением ксендза Петра.

Видимо, потому таинственность этой истории несказанно воодушевила его, и он (по сути дела, как я и предвидел) стал расписывать мне сценарий: он отвозит меня на своей машине в Прагу, стоит возле дома и ждет условного сигнала — передвинутого цветочного горшка на подоконнике или чего-нибудь в этом роде.

— Так ты же не будешь знать, на какое окно смотреть, — охладил я его пыл, и Ежи несколько поник.

Время было уже позднее, а я, имея в голосах

---

[71] Примечания: 71

Мессианизм — здесь имеются в виду идеи польского мистика и религиозного философа А. Товианьского (1799–1878), в частности, о польском народе как народе богоизбранном, и спасительном смысле для всего человечества его страданий. Идеи мессианизма были подхвачены великими польскими романтиками и в том числе А. Мицкевичем, который поэтически выразил их в драматическом цикле «Дзяды», в частности, в сцене видения ксендза Петра.

приятелей ничью 1:1, все так же не знал, как повести себя.

Прошло несколько дней, во время которых ничего не происходило; поначалу я воспринимал это с облегчением, поскольку слегка остыл и начал принимать сторону Марии: действительно, что за мысль шляться по запретным улицам только лишь потому, что некая читательница отличается изобретательностью (правда, она знала Кшися), но к концу следующей недели я уже испытывал нетерпение и разочарование. И это все? Значит, жизнь не бывает такой же интересной, как книжки? Однако в воскресенье утром зазвонил телефон, и в трубке сквозь туман каких-то чудовищных потрескиваний я услышал знакомый голос:

— Сегодня в пятнадцать. Прошу вас, придите ради Кшиштофа. В конце концов, вы обязаны ему.

И вновь, прежде чем я успел ответить, связь прервалась.

Это уже звучало как настоящий вызов. История явно материализовалась: сегодня в пятнадцать, а поскольку было действительно рано, в моем не до конца проснувшемся мозгу начали рождаться гротескные картинки — мы с Ежи в бронежилетах (а у меня на груди еще укрыт крохотный

микрофончик) подъезжаем на красном «чинкиченто», за рулем которого сидит Ежи (ну ладно, ладно, пусть это будет черный «мерседес»), останавливаемся за два квартала до назначенного дома, я говорю: «Выскакиваем на счет три. Раз, два, три!» — мы выпрыгиваем из машины, бежим, прижимаясь к стенам домов…

— Охолони! — бурчу я себе, прерывая этот поток бессмыслиц.

Я сделал кофе (женщина позвонила в воскресенье, в семь утра, а все благодаря кому — благодаря Ежи, — так что не слишком ли легко я простил ему то, что он сообщил ей мой номер?), разложил план города и задумался. Разумеется, мне очень хотелось поехать. Но в Варшаве вот уже несколько лет как стало небезопасно. Я выждал два часа и позвонил Ежи. Судя по его голосу, мне следовало выждать еще некоторое время.

— Слушай-ка, — сказал я ему. — Звонила та женщина. Назначила мне встречу сегодня.

Я дал ему полторы минуты прийти в себя и сопоставить факты. В прошлый раз мы разговаривали с ним десять дней назад, и потом не он же, а я постоянно думал об этом. Через полторы минуты я повторил информацию.

— О! — правильно отреагировал он, значит, уже

понял, о чем речь. — И ты сказал, что придешь?

— Ничего я сказать не успел, она положила трубку, но я все равно собираюсь узнать, чего она хочет. Ты не подвез бы меня туда? К трем часам.

— Понял. Боишься?

— Нет. Скорее нет, да и время вполне нормальное, в любом случае не ночь. Но я был бы увереннее, если бы кто-то знал, где я. Скажем, ты посидишь с книжкой в машине, и если, не знаю, через час или через два я не выйду, ты поинтересуешься, что со мной происходит.

— А меня там случайно не пришибут? Ты уж прости, что я спрашиваю, но это все-таки Прага.

Я не мог не признать, что в словах его есть доля правоты.

— Тогда сделаем по-другому. Ты отвезешь меня туда, посмотришь, куда я вошел, а я, когда вернусь, позвоню вам. И если звонка от меня не будет, например, до девяти вечера, ты сообщишь в полицию.

— Твою мать, старик… — начал Ежи и замолчал. На том конце провода чувствовалось какое-то смятение. — Черт, кажется, Томек слышал. Теперь будет повторять, — объяснил Ежи удрученным голосом и закончил: — Ты прямо как на войну собираешься.

— И вероятнее всего, зря, — отвечал я, — но, знаешь, береженого Бог бережет. Верней всего, это какая-то шутка, вот только я не знаю, в чем дело, и потому как-то… — Я чувствовал себя все глупее. Похоже, Ежи ощутил это.

— Ну, значит, договорились. Приезжаю к тебе в половине третьего. Пока.

И вот мы поехали без пистолетов и не на «мерседесе», но вдвоем. Место оказалось не такое уж страшное, почти сразу же за кинотеатром «Прага». В машине мы рассказывали друг другу анекдоты, не без нежности немножко сплетничали о Марии, Ежи очень интересовало, увидела ли моя мама свой портрет в англичанке Иоле, и я сказал чистую правду, что не знаю. Потом мы пожали друг другу руки, может, чуть крепче, чем обычно, и я вылез из машины. Я еще раз сказал, что позвоню до девяти вечера. Когда я входил в подворотню, было без пяти три.

У этого дома были два двора, и он представлял собой странное соединение двух миров. С фасада он был отремонтирован, пахнул свежей штукатуркой, но флигель являл собой кирпичные руины, хранившие на себе, как мне показалось, следы пуль времен сражения за Варшаву. Держа второй том «Волхва», я поднимался наверх; лест-

ничные перила во многих местах утратили свою деревянную часть и пугали ржавыми краями, о которые невнимательный гость мог порезать руку даже до кости. На лестничных площадках воняло мочой. Должен признаться, что при всем моем многолетнем обожании Марии я представлял себе женщину, приславшую мне «Волхва», этакой эффектной блондинкой, но сейчас это представление спешно развеивалось. Я уже жалел, что не попросил Ежи сопутствовать мне при встрече. Наконец я оказался перед нужной дверью; звонок по всем признакам не действовал, и потому я постучал. Ответом была тишина, которую я воспринял с устыдившим меня облегчением: значит, все-таки просто глупая шутка, а сейчас, дражайший автор, бери ноги в руки и не забудь зайти на минутку в костел Святого Флориана поблагодарить за то, что никто не дал тебе по зубам. Но я подумал о Марии, о том, что вряд ли она хотела бы иметь рядом с собой труса, и чтобы произвести на нее, пусть даже временно отсутствующую, впечатление, нажал для очистки совести на дверную ручку. И в тот же миг меня бросило в пот — дверь стала приоткрываться.

— Пан Вальчак? — услышал я.

Пути назад уже не было, и я вошел. В квартире

практически отсутствовала мебель. Дверь по левую руку вела из крошечного коридорчика в две смежные комнаты. Во второй из них стояли письменный стол и два стула; на том, что подальше, спиной к окну сидела женщина неопределенного возраста в темных очках, которые были модны лет двадцать пять назад и назывались «велосипед», и чудовищном лохматом парике. Солнце, опускающееся за Вислой, ярким светом освещало ее со спины. Мы были одни. У меня мелькнула мысль, что, когда я писал «Визит без приглашения», у меня все-таки было больше налажено с чувством правдоподобия.

Кто-то или что-то разыгрывало меня. Воспринимать иначе это было невозможно.

— Пан Анджей Вальчак? — еще раз уверилась женщина, указывая мне на стул перед столом.

— Да, — подтвердил я и уселся с неприятным чувством, что дверь у меня за спиной и я даже оглянуться-то не успею. Ежели что.

— Я рада, что вы не испугались прийти сюда. Я тоже немножко боюсь. Возможно, вам это покажется странным, но я рискую больше, чем вы.

— Простите, не понял, — ответил я, соображая, сколько ей может быть лет. Шестьдесят? Тридцать?

— Вы описали историю, которую мог вам рассказать только Кшиштоф. Я не ошиблась?

Несколько секунд я молчал.

— Да, один человек мне нечто подобное рассказал, и возможно, мы имеем в виду одно и то же лицо.

Она оживилась.

— Видите ли, когда ваш роман попал мне в руки, я какое-то время полагала, что это всего-навсего невероятное стечение обстоятельств. Но я нашла в нем подлинную подробность. Медальку с именем Аглаи. И тогда я поняла, что должна связаться с вами. К счастью, мне пришло в голову, что если вы описываете Вольский комиссариат и расположенный поблизости лицей, то, значит, вас там кто-то может знать.

Начать жить внутри телесериала: приключение для идиота. Начать жить внутри телесериала: приключение для идиота. Начать жить внутри телесериала: приключение для идиота. Черт, ничего другого в голову мне не приходило. Действительно, я заменил все имена из тех, кстати сказать немногочисленных, что называл пан Кшись, но имя Аглая мне понравилось, и я его оставил. Но я все равно не мог поверить, будто в «Визите без приглашения» я описал нечто, про-

изошедшее в действительности. И потому ждал, чем кончится этот розыгрыш.

— Я ценю то, что вы затушевали реалии, — продолжала она, — но в общем описали вы все достаточно верно. Я должна найти Кшиштофа, и вы мне поможете в этом. Раз вы все это описали, значит, вы знаете, где он находится.

— Простите, — прервал я ее. Все изрядно затянулось, и я хотел лишь установить, кто со мной затеял эту игру. — Уж не хотите ли вы, чтобы я поверил в фабулу собственного романа? И между прочим, я не знаю, где сейчас пан Кшись. Не говоря уже о том, что не знаю, с кем разговариваю. Может, будет лучше, если мы попрощаемся?

— Прошу вас, не уходите. Я ради того, чтобы увидеться с вами, подвергаю опасности свою жизнь. Потому что все это действительно правда. При одном исключении. Вы переоценили технический уровень этого проекта. Да, контур управления замкнутый, но не все время. Эти роботы не были самоуправляющимися.

Она сделала паузу; мы смотрели друг на друга, и солнце светило из окна мне прямо в глаза. Оно слепило меня — я плохо видел свою собеседницу, — и потому я пошевельнулся. И тогда она произнесла:

— Это я была оператором Аглаи.

Часть четвертая

Я проникла в узилище… и рекла: «Да пробудится от тяжкого сна тот, кто слышит!» И тогда Адам, заливаясь горькими слезами, возрыдал: «Кто назвал мое имя? И откуда приходит надежда, ежели скован я тюремными цепями?»… «Восстань и запомни: тот, кого ты слышишь, ты сам».

Апокриф Иоанна

1

— Разумеется, я не скажу вам, как меня зовут на самом деле. Вы знаете меня под двумя именами — Аглая и Зофья, которое вы в своем романе заменили на Лиля. «Зофья», так я представилась Кшиштофу, когда мы познакомились с ним на том дне рождения под Варшавой. Но только, конечно, то была не я, а Аглая, которую я вела… Нет, как видите, так ничего невозможно будет рассказать. Все это выходит за пределы вашего опыта и, в сущности, в определенной степени моего тоже:

в том смысле, что проект «Венера», в котором я принимала участие, ставил под сомнение — не в принципе, а так, мимоходом — наше интуитивное представление относительно идентичности человека, относительно его присутствия среди других людей, относительно наших тел. Дело в том, что сейчас я не знаю, сколько мне отпущено жизни, и хотела бы обо всем этом рассказать, раз уж вам и без того столько известно, тем паче что по лицу вашему видно, что вы хороший человек. Да, да, лицо у вас хорошее, так что пусть уж вы узнаете все.

Вот только для простоты условимся: МОЕ имя — Ирена. В конце семидесятых я училась на информатике. Неплохо знала языки, меня безумно интересовали компьютеры, а особенно электронная имитация процессов, происходящих в живых организмах. Я была некрасивой, но компанейской девушкой. Четкая, толковая. Знаете, из тех, кто является отличным товарищем и хорошо чувствует себя в компании парней. Не как объект ухаживаний, а как партнер. Я люблю это слово. Да, именно партнер.

Несколько месяцев назад выяснилось, что у меня серьезное заболевание. Как бы вам объяснить… Это вовсе не конец, но все выглядит настолько

серьезно, что не считаться с этим невозможно. И должна признаться, что вы для меня оказались чем-то наподобие Божьего перста, да, да, перста Господа Бога, в которого, впрочем, я не верю, — ее голос задрожал от печального смеха. — Поверите ли, я лежала в больнице на обследовании, и мне хотелось чем-то занять мысли, я спустилась вниз, в киоск, и купила вашу книгу. Случайно. Прошу простить меня за откровенность, просто других, кроме женских романов, которые я не читаю, не было. И вдруг после нескольких десятков страниц я поняла, почему у меня случилась эта болезнь, поняла, что это кара и я должна, если у меня еще останется немножко времени, найти Кшиштофа. И когда оказалось, что исполнение мне приговора пока что отсрочено, я стала искать вас. Хотя знаю, что они отпустили меня на свободу вовсе не для того, чтобы я выбалтывала их секреты. Нет, я имею в виду не врачей… Не сомневаюсь, что они уже взяли на заметку вас да и его тоже. Но сейчас, как мне кажется, решают не они. Не они решают, буду ли я жить. Хотя кто именно, я не знаю. У меня с Ним не самые лучшие отношения. А вы… все, о чем вы узнали, вы написали в книжке. Так что вам, наверное, ничего не грозит. Вот только Кшиштоф… Мне бы очень не хотелось, чтобы он

попал к ним в лапы. И сейчас я разговариваю с вами, потому что вы еще увидитесь с ним, не правда ли? А я — не знаю. Но может, вы мне сказали неправду? Может, вы знаете, где он? Я хочу, чтобы вы знали, что сейчас во мне нет дурных мыслей, ни единой… Я хочу только успокоиться или помочь ему… если это возможно, — совсем тихо произнесла она. — Потому мне так важно, чтобы вы мне доверяли.

Знаете, я не считаю, что следует переоценивать подобные воспоминания, но, может быть, это что-то для начала вам объяснит: мне было восемнадцать, когда моя сестра Дануся, которая была младше меня на четыре года и которая была такая женственная — она всегда меня умиляла, хотя и вызывала некое чувство превосходства: в детстве я играла ею как куклой — оставила у меня в комнате свой любимый синий жакетик. Не знаю почему, она свернула его и спрятала в картонной коробке под окном. Видимо, к нам неожиданно кто-то пришел. И забыла. Обычная безалаберность. Потом случилась гроза, с подоконника что-то натекло. А недели через две она при мне стала искать свой жакетик, открыла в конце концов эту коробку и — безмерное отчаяние. Материал намок и то ли прогнил, то ли

плесень по нему пошла, точно не помню. В сущности, не хочу помнить. Да, кажется, прогнил. А еще Дануся оставила в кармане свой любимый брелок, которым восхищалась с детства, не знаю уж по какой причине, и он покрылся мерзким налетом. И вот она вытащила все это и страшно расплакалась, видимо, это было нервное, потому что она вроде бы собиралась на первое свидание и, разумеется, опаздывала. Плакала она, как маленький зверек. Зверек из мультфильмов Диснея. Помните, у него есть такие две белочки, Чип и Дейл? И представьте себе, что кто-то их обидел. А поскольку все происходило в моей комнате, я почувствовала себя виноватой. Тем более что — сейчас все это, к счастью, звучит несерьезно — у меня была морская свинка, которую я выпускала из клетки, и я, прежде чем вспомнить про ту грозу, подумала, а вдруг она написала в эту коробку и все случилось, выходит, из-за меня. Я почувствовала себя виноватой, и мне так жалко было Данусю, что я стала плакать вместе с ней, и — знаете — плакала и ненавидела себя за это. Терпеть не могу такие настроения. Когда я чувствую, что мне они угрожают, я убегаю. Простите, но человек не должен пускать нюни. Я не выношу быть слабой. Не выношу.

Итак я училась на информатике, и была хорошей студенткой, действительно очень хорошей. Это практически мужской факультет, и я отдавала себе отчет, что должна быть лучше всех парней. Много, много лучше. И была. Да, я была лучшей на курсе. И к концу учебы кто-то там вызвал меня на собеседование и предложил работать по военной тематике. Вы, наверное, думаете, что мы были идейно индифферентными, безнравственными и бог его знает что еще, но то был семьдесят восьмой год, и все выглядело совсем не так, как сейчас говорят. Для меня же главным было только то, что я буду иметь доступ к машинам, которые новее на два-три поколения, чем те, с которыми я работала бы в гражданской сфере. Политикой я не интересовалась, родители у меня были спокойные — говорю это, так как догадываюсь, что предварительно меня насквозь просветили, — к тому же я вступила в Социалистический союз польских студентов, потому что они устраивали отличные летние лагеря, одним словом, хлопот не доставляла. Так что предложение это я приняла с ликованием. Диплом я писала, уже работая в одном из институтов Министерства обороны.

Я была молодая, общительная, креативная.

Представляете, я получила несколько военных патентов. Это меньше чем за год. И тут оказалось — было начало восьмидесятого, — что я могу принять участие в какой-то работе у советских. Может, я и колебалась, сейчас уж точно не помню, но это было как раз мое увлечение: бионика. Идея биоэлектрического управления, работы над мышечным усилителем, над управляемыми на расстоянии манипуляторами — так это тогда представлялось. Вы знаете ведь, что уже в 1958 году был продемонстрирован так называемый биоэлектрический манипулятор, макет руки, повторяющий движения реальной ладони. С той поры была усовершенствована моторика, отказались от проводной связи, но оставалась неразрешенной проблема рецепторов. То есть надо было, чтобы рука оператора ощущала то, что держит захват манипулятора. Вот что примерно я знала, когда говорила «да», но когда в марте восьмидесятого прилетела в Советы и увидела, на каком уровне *в действительности* ведутся работы, я была потрясена. Поверите, но это был двадцать первый век, научная фантастика. И это когда мы смеялись над советской техникой — у них, видите ли, холодильники ломались. Ясное дело, денег на холодильники у них не было. Но

можете мне поверить, военные отрасли стали испытывать отсутствие средств последними.

Называлось это проект «Венера», и сначала я не понимала, откуда такое название. Надо сказать, этот агент, о котором вы пишете, оказался очень сообразительным, хоть я и не думаю, чтобы он работал на ЦРУ. Военной разведкой занимались, скорее уж, натовские службы. Простите, я забегаю вперед. Но во всяком случае все было в точности так, как он реконструировал: у русских были огромные традиции, а тут как раз появились микропроцессоры, и в конце семидесятых годов их конструкторы разработали технологию изготовления электронных имитаций человека. Но сконструировать машину, которая издали выглядит, как рамолик генсек, чьих черт к тому же никто точно не знает, потому что все фото в прессе отретушированы, это, поверьте мне, банальность. А вот сконструировать нечто, что создаст полнейшую иллюзию, причем *вблизи,* что будет восприниматься, скажем, как молодая, красивая женщина с быстрой реакцией, с естественными, плавными движениями, или будет выглядеть молодым, спортивным мужчиной… Подходя теоретически, тут можно было искать решение по двум направлениям. Одно — это то,

которое вы представили: замкнутый управляющий контур, создание такой системы, которая собирает информацию из окружающей среды и на основе обратной связи выбирает какую-нибудь из заранее подготовленных программ поведения. Программа эта реализуется исполнительными механизмами, а рецепторы тем временем контролируют изменения, произошедшие в процессе работы автомата, корректируют программу или прерывают и выбирают другую. И так постоянно. В соответствии с этой моделью работает нервная система в человеческом организме. Вот только число комбинаций программ, помещающихся в человеческом мозгу, а к этому добавьте еще механизмы обучения, таково, что не хватит размеров, я уж не говорю, головы нашего автомата, а всего его тела, чтобы разместить ячейки, на которых все это будет записано. Не забудьте еще и об исполнительном механизме. Это только сейчас начинают вырисовываться перспективы так далеко идущей миниатюризации. А тогда это выходило за пределы наших возможностей.

Оставалось другое направление поисков. Оно состояло в том, чтобы не отказываться от человеческого соучастия. Часть простейших реакций, прежде всего тех, что не приобретены, обобщенно

говоря, в процессе социализации, мы оставляем в виде небольшого контура управления внутри автомата. Например, машина сама симулирует дыхание, устанавливает размер диафрагмы в камерах, иначе говоря, в глазах, в зависимости от освещения, инстинктивно закрывает глаза, когда внезапно раздается громкий звук, и так далее. В то же время основные ее реакции — движения рук, ног, тела, речь — управляются оператором. И тут вырисовываются две трудности. Первая — это сочетание двух линий управления: замкнутой, между блоком обратной связи и программным блоком, и открытой, связывающей автомат и оператора. Синхронизация их. Вторая трудность — это обеспечение быстрого обмена информацией — разумеется, на основе беспроводной связи, — причем информации взаимной, между автоматом и оператором. Вам понятно?

Ну, в таком случае слушайте дальше. Когда мы приехали в Союз — я говорю «приехали», потому что из Польши взяли нескольких человек, — работа уже была на завершающем этапе. Через год начались испытания. Погодите, по очереди. Генеральная схема выглядела следующим образом: каждому автомату — мы их называли *марионетками* — соответствовал скафандр, который

надевал оператор. Между оператором и автоматом поддерживалась радиосвязь. Скафандр — мы говорили *упряжь* — был наполнен между внешней и внутренней оболочками жидкостью, перекачиваемой с места на место маленькими поршнями. Это создавало ощущение осязания. Оператор, например я, висел в конструкции, состоящей из трех перекрещивающихся подвижных обручей. Она напоминала ажурный глобус. Благодаря ей мое тело принимало по отношению к земле то положение, какое занимала в этот миг марионетка. Очки передавали мне ту картинку, которую видела она. Через наушники я слышала то, что слышала она. Лицевая часть упряжи была, надо сказать, величайшим достижением технической мысли, и работали над ней дольше всего, почти до самого конца; вообще-то вполне могло оказаться так, что я не познакомилась бы с Кшиштофом, потому что решение о переходе к экспериментальной фазе было окончательно принято в феврале восемьдесят четвертого. А не позже чем в апреле наш человек должен был установить с ним контакт. Я имею в виду того журналиста. Кстати сказать, большая был сволочь. Имелся какой-то другой сценарий на случай, если бы мы не успели к отбору на шо-

пеновский конкурс, не знаю какой, потому что этим занимались совсем на другом уровне, а я же за две недели до того приема в Лесной подкове получила папку с данными моего партнера и сценарием моей роли. Но на его месте мог оказаться кто угодно.

Видите, я опять забегаю вперед. Я всегда была очень систематична, но сейчас вот тороплюсь. Возможно, боюсь, что вы уйдете. Или что нас прервут. Или что в какой-то момент я просто не смогу больше говорить. Потому что понимаете… это вроде бы называется исповедь, да? Я очень долго думала, что все идет в общем-то нормально, собственно, до последнего дня проекта так думала, до того самого утра, когда сопроводила Аглаю в центр и, сняв упряжь, услышала, что сворачиваемся. И тут произошло внезапное озарение: я осознала, в чем участвовала и что он не сможет подняться. И что я обязана ему помочь, но они, наверное, сделают все, чтобы я не сумела… Вы правда не знаете, где он?

— Не знаю, — ответил я. — Правда не знаю.

— Но вы выслушаете меня до конца?

Я криво улыбнулся.

— Знаете, я не думаю, чтобы еще когда-нибудь мне подвернулась оказия разговаривать с геро-

иней собственного романа. Откровенность за откровенность: вы уж извините, но у меня такое ощущение, как будто… как будто со мной заговорила настольная лампа. Или электрокофеварка.

Теперь и она улыбнулась. Грустной улыбкой.

— Как бы мне хотелось, чтобы так оно и было.

2

— Я начала о лицевой части, ну, так и закончу, хотя в тысяча девятьсот восьмидесятом году существовала лишь модель Н., мы называли ее Наташа; это был прототип серии, практически еще не обладающий мимикой. Но послушайте, до чего мы дошли. Прежде всего необходимо было одновременно передать Аглае, то есть той версии, которая потом работала с Кшиштофом, информацию о моем голосе, движениях губ и языка. Потому что ей необходимо было говорить совершенно естественно: Кшиштоф не должен был задумываться, каким образом его любимая артикулирует «р» или «л», — с полуоткрытым ртом и при неподвижном языке. Наташа была еще, собственно говоря, чревовещательницей… И вот перед сеансом мне на язык наносили металлизированную субстанцию, благодаря которой

его положение фиксировал маленький лазерный датчик, установленный у меня перед губами рядом с микрофоном. Была еще трудность с установкой во рту Аглаи маленького динамика, передающего мой голос, чтобы двигающийся язык марионетки не заглушал его. В конце концов решено было установить миниатюрные мембраны в коренных зубах и на твердом нёбе, а динамик низких частот — над диафрагмой. Эффект был вполне удовлетворительный, хотя если Кшиштоф действительно вспоминал о хрипотце своей возлюбленной, то это означает, что не все удалось, так как никакой хрипоты не должно было быть. Хорошо, что ему нравился хриплова-тый тембр…

Зато мимику Аглаи в романе вы переоценили. Часть реакций мы передали замкнутому управляющему контуру, размещенному в самой марионетке. Мы передавали Аглае самые общие распоряжения касательно ее настроения, выбором программ занимался техник, который слушал мои разговоры и отвечал за *анимацию.* Плюс к этому использовался эффект Кулешова. Вы, наверное, слышали об этом эксперименте времен немого кино: одно и то же лицо актера было смонтировано с кадрами, изображающи-

ми тарелку супа, женщину и кладбище, — и зрители восхищались тем, как актер тонко-мимически модулирует чувство голода, желания и скорби. Оказалось, что и в реальной жизни этот эффект тоже действует. Это обстоятельства и воображение Кшиштофа придавали лицу Аглаи выражение, хотя у нее, разумеется, были запрограммированы почти два десятка гримас. И три оттенка цвета глаз. Это был своего рода бонус, игра в необычность. Только и всего.

Итак, начало восьмидесятого года, и Аглаи еще нет. Есть Наташа, у которой не двигаются ни язык, ни губы и которая, по сути дела, бесполая, никто бы с ней в постель не лег, и к тому же за нею тянется провод: это наша Служба безопасности подняла крик, что если мы будем передавать команды по радио, то американцы в конце концов перехватят и им станет известно, над чем мы работаем. Потому следующие годы я провела под водой.

— Где?

— Под водой. Конец весны восемьдесят первого… Атмосфера была ужасная, говорили, что поляки взбесились, что будет польско-советская война, что «Солидарность» готовит террористические акты, вооруженное восста-

ние; о проскрипционных списках, про которые вам говорили, кажется, в декабре восемьдесят первого, я услышала полугодом раньше. Можете пожимать плечами. Но знаете ли вы, что такое жить где-то за Уралом на секретной базе, в городе, которого нет ни на одной карте, и получать одну «Правду», и то с двухдневным опозданием? А кроме того, вы понимаете, что это *било по мне?* Потому что я как полька сразу же оказывалась под подозрением. А у меня был доступ к самой передовой технологии в этой части мира. И тут какой-то Валенса вылезает с мессой по радио и независимыми профсоюзами! И с правдой о Катыни! И с призывом к народам Советского Союза восстать! Какое мне было до всего этого дело? А за мной начинают сразу следить! Как я вас, здешних, ненавидела за это. И вынуждена была притворяться, что ненавижу еще сильнее. Все-таки я не была слепой. Я ведь уже училась в университете, когда убили Пыяса.[72] Сколько лет вам было тогда? — неожиданно поинтересовалась она.

---

[72] Примечания: 72

Краковский студент Станислав Пыяс был жестоко избит, как небезосновательно предполагали, милиционерами и от побоев скончался. Официальное следствие убийц уе нашло, однако для общественного мнения вина милиции была несомненна.

— Когда убили Пыяса? Четырнадцать.

Она махнула рукой, словно бы с гневом, словно бы этот мгновенный гнев оставался в ней, запоздалый, сдвинутый по фазе, и произнесла уже спокойно:

— Сейчас-то я знаю, что все это выглядит иначе. И я это вижу теперь иначе. Немножко иначе. Но Рейган называл страну, в которой я тогда жила, «империей зла». И если бы он направил на нее ракеты, то они упали бы на меня. И я боялась. А ведь я делала нечто важное. Мне вовсе не казалось, будто я участвую в чем-то дурном. Тогда еще нет. Я хотела только работать. Хотела увидеть, удастся ли это сделать. Сперва я думала, что марионеток будут посылать в какие-нибудь места, где опасно, — в шахты или куда там еще… Я была наивной? Хорошо, пусть я была наивной. Дело в том, что там у меня ни разу не возникала ситуация, когда необходимо делать ясный, недвусмысленный выбор. Меня подталкивала любознательность, а перспективы проекта «Венера» открывались передо мной постепенно. Ну и не будем обманываться, я кожей чувствовала, нет, не кожей, просто хорошо понимала: чем больше я знаю, тем меньше у меня шансов вырваться. Если бы в ту пору мне кто-то сказал, что я когда-нибудь

буду вести такой разговор, какой мы ведем с вами, то знаете что? Я бы даже не испугалась. Я бы сразу на него донесла. Потому что это мог быть только либо провокатор, либо сумасшедший. А максимальная категория секретности работ обосновывалась вовсе не целями разведки, хотя, разумеется, нас попеременно навещали люди то из КГБ, то из ГРУ, которые друг друга терпеть не могли, а тем, что попади марионетки в руки бандитов или безумцев, то это будет нечто ужасное: самоубийственные террористические акты, дерзкие налеты среди бела дня, анонимные преступления — и полная безнаказанность. Такие могли бы быть последствия.

И вот весной восемьдесят первого года всех нас с сохранением строжайшей секретности погрузили в транспортный самолет и вывезли во Владивосток. Там нас ждала подводная лодка, огромная, я себя вправду почувствовала как героиня научно-фантастического романа, нет, вовсе не кофеварка, как вы выразились, а самая настоящая героиня; раньше мне редко доводилось путать явь со сном, помню, меня немножко раздражала сестра, для которой постоянно что-то было, как сон — парень, как сон, фейерверк, как сон, дискотека, как сон; я ей говорила: «Дануся,

приземляемся, алло, алло, это говорит действительность», — но в том порту я поняла, что она имела в виду, поняла, когда мы спустились в люк этой лодки; там, в ее огромном черном корпусе, надо было сойти вниз на три этажа, ступени гудели у нас под ногами; вы знаете такой фильм «2001: Космическая Одиссея»? Вот примерно то же самое. А потом все это движется с чудовищным трудом, потому что лодка огромная, начинается качка, а поскольку окон нет, горизонта вы не видите, морская болезнь прихватывает вас еще до выхода из порта, буквально через несколько минут, а потом происходит что-то ужасное, вы себя чувствуете, как в самолете, который идет на посадку, пол убегает у вас из-под ног, боль в ушах, и вдруг — никакой качки и смертельный покой, только легкая вибрация, которая ощущается где-то в низу живота, нежная такая вибрация, и вдобавок тишина. Где-то топот ног, какие-то далекие голоса и металлическое эхо, в коридорах красные лампочки, как в фотолаборатории, а нормальные только в каютах. По одной, потому что экономят энергию. Вам кажется, что становится душно, но это нервное: вы по-прежнему погружаетесь. Этакое длящееся часами приземление, только без облаков за иллюминатором;

вместо него металлическая стена, и вы можете лишь с тревогой думать, какое давление она выдержит. Ну не она, конечно, потому что есть еще внешний корпус. Но в любом случае миллионы тонн воды на расстоянии вытянутой руки. И звенящая, вибрирующая тишина. А в конце внезапный толчок; они нас вроде предупреждали, но все равно сердце ушло в пятки, оттого что это может быть конец. Мы приплыли на какую-то подводную военную базу. Кажется, на глубине трехсот метров. Прошли по сырому, словно бы протекающему, рукаву. Внутри холодное зеленое освещение, однако достаточно яркое, помещения низкие, но просторные, и четкие разграничения, куда разрешается входить, а куда запрещено. Там нам предстояло испытывать радиосвязь с марионетками. Вы же знаете, вода глушит электромагнитные излучения, так что мы могли передавать, сколько душе угодно, хотя и на малые расстояния. В отпуск нас выпустили через полгода. И когда нужно было снова возвращаться туда, я думала, что сойду с ума. Но было, ради чего. Я уже знала: было, ради чего возвращаться.

А работа в упряжи — это вообще неправдоподобное ощущение. Полной иллюзии действительности нет, поскольку вы отдаете себе отчет,

что вы что-то на себя надели; в очках в правом нижнем углу загораются сообщения от руководства эксперимента; в общем это является тем, что сейчас называется *виртуальное пространство.* Вы поворачиваете голову и видите картину, увиденную теми глазами, которые глядят туда, куда вы хотите. Вы протягиваете руку и чувствуете то, к чему прикасается автомат. Вы не чувствуете ни температуры предмета, ни, скажем, степени его влажности, но есть ощущение прикосновения. Вы находитесь в каком-то совершенно другом месте. Не двигаясь, вы идете по коридорам, открываете двери, ложитесь на тахту, которая находится за много метров от вас. Ну, и вы не являетесь собой; если марионетка стоит перед зеркалом, вы видите в нем ее, а не себя. Внезапно вы оказываетесь молоденькой, красивой девушкой. Поначалу немножко шалеет вестибулярный аппарат. Но это вопрос тренировки, просто нужно наново настроить чувство ориентации. Из целой группы тех, кого готовили в операторы, у меня это произошло быстрее всех. Выбрали меня, потому что эксперимент проводить нам предстояло в Польше, после введения военного положения это стало совершенно ясно. Так что в упряжи должна была быть полька.

Мне бы хотелось, чтобы вы меня правильно поняли. Речь идет вовсе не об оправдании, я прекрасно отдаю себе отчет, что сделанному мной, тому, на что я тогда решилась, прощения нет и быть не может. Но я и вправду не могу представить себе никого, кто бы на моем месте, обладая моей психической настроенностью, сумел бы устоять перед искушением. Разумеется, то, что я скажу, является плодом позднейших размышлений; тогда, на базе, у меня не было для этого достаточно времени, но прежде всего отсутствовала дистанция. Однако мне кажется, что я ничего не прибавляю к тогдашним моим мотивациям, лишь развиваю их, тогда как на базе они возникали одна возле другой в плотно упакованные пачки, которые я воспринимала как целое, и с очевидным выводом на выходе: *принимать.*

Попробуйте представить себе. Мне была предложена, да, согласна, с намерениями далеко не благородными, другая жизнь. Другое тело. Тело без боли и жизнь без ответственности. Красивое тело и легкая жизнь, лишенная риска: обратная связь не передавала раздражителей выше определенного напряжения — что, впрочем, составляло проблему технического характера, —

чтобы Аглая не выглядела полностью лишенной инстинктивного испуга, чтобы в случае падения поднималась достаточно медленно, чтобы, обо что-то ударившись, реагировала естественно. Понимаете, Аглая могла попасть под трамвай или выпасть из окна. Но я бы осталась жива. По сравнению с ней я была относительно бессмертна, была свободна и неприкосновенна. Возможно, вам это покажется странным, но перед первыми сеансами нас исследовали на реакции в состоянии аффекта, на содержание неосознанных грез и так далее; это называлось проверкой этического уровня. Да, во время сеансов, когда я руководила Аглаей, меня, находящуюся в скафандре, окружала целая команда техников, но я все равно могла бы, прежде чем кто-либо из них успел моргнуть, причинить любому встретившемуся ей человеку физический вред. А этого никто не хотел. Мы должны были манипулировать партнерами, а не увечить их.

А кстати, вам знаком механизм воздержания от принятия решения, которое и так осуществляется без вас? В нескольких очередных фазах проекта «Венера» я чувствовала, что подчиняюсь ему, и я не верю, что то была моя, и только моя особенность. Вы не говорите ни «да», ни «нет», а в

результате все идет так, словно вы сказали «да». Но все это происходит как бы вне вас. Можно в таких случаях говорить: «Вот так у меня сложилось». Думаешь: «Я еще не приняла решения», а на самом-то деле: «Пусть так и идет». И все происходит словно само по себе.

По-настоящему кризисный момент наступил, когда нам доставили сексуальный модуль, и наконец-то стало окончательно ясно, почему так назван проект. Я говорю «модуль», потому что это была отдельно созданная программа, наиболее расширенная, самоуправляемая реакция. И отдельный комплекс рецепторов в эрогенных зонах, подсоединенных только к внутреннему компьютеру марионетки. И кроме того, гениталии, результат кропотливой работы наших художников и электронщиков. Я должна была доводить только до введения члена, затем через несколько секунд включалась программа «эрос», марионетка переставала реагировать на сигналы, идущие по каналам связи, и на мне оставался лишь контроль ситуации на основании иконок и сообщений, поступающих мне на очки. После симуляции оргазма марионетка постепенно принимала позицию, установленную в данный момент положением упряжи.

Имелось тут некоторое неудобство, поскольку, понимаете, вокруг было много техников, при которых я должна была ложиться, разведя ноги, реагировать в соответствии с ситуацией Аглаи в течение нескольких секунд, пока не включалась эта чертова программа, да и потом я не могла принять позицию, радикально отличающуюся от эротической, например, встать, чтобы Аглая после всего не выскочила бы автоматически из-под Кшиштофа; к счастью, к тому времени мы уже так сработались с техниками, что достаточно скоро стали это воспринимать шутливо, а потом попросту привыкли и не обращали внимания. Но о немногих людях из тех, о ком рассказывал мне Кшиштоф, я думала с таким пониманием, как о его этой — как вы ее у себя обозвали? — а, Барбаре, хотя настоящее ее имя было, если я правильно помню, Ева…

— Да, Ева. Но, понимаете, сексуальная инициация героя через подглядывание за Евой под деревом… На мой вкус, слишком символично.

Она сняла очки. Кажется, глаза у нее были серые. Но против солнца я плохо их видел. Она довольно долго молчала, и до меня дошло, что я ляпнул нечто неуместное.

— Я все время забываю, что вы думаете о нас

как о созданиях собственной фантазии. А ведь мы действительно жили, неужто вы этого не понимаете?

Я разозлился.

— Кшиштоф действительно жил, неужто вы этого не понимаете? — парировал я.

— Да, вы правы. — Я ждал, что она что-нибудь еще добавит, но она после небольшой паузы всего лишь продолжила: — Так вот, я с пониманием думала об этой Басе или Еве, когда этот юный извращенец подглядывал за нею, потому что такое удовольствие я имела каждодневно. И знаете, у меня иногда появлялась мысль, что это моя маленькая месть. За нее. Ему.

3

К концу восемьдесят третьего у нас были подготовлены к работе три марионетки, две женщины и один мужчина. Продолжалось внесение исправлений в лазерный датчик, так как оказалось, что он дурит, выключается, когда оператор закрывает рот, и в определенный момент это, как я уже говорила, поставило под угрозу гармонограмму всего проекта. Химики, работавшие над вкусом кожи и запахом Аглаи, ну и те, что делали

сексуальный модуль, были, о чудо, уже давно готовы. А носитель их изобретений давал сбои… Я уже вполне поняла, что работаем мы отнюдь не на благо шахтеров, вовсе не для того, чтобы избавить их от опасностей, а еще чуть позже, что моя работа информатика начинает опасно сближаться с участием в порнофильме, и наконец, что объектом эксперимента будет какой-нибудь ни в чем не повинный и ничего не ведающий человек, к тому же из Польши. Нравилось мне это все меньше и меньше.

Но когда я увидела биограмму человека, который должен был стать моей жертвой — у нас говорили «партнер», — его оперативные данные, а потом, когда при посредстве Аглаи я в первый раз с ним разговаривала, то отметила нечто, чего, наверное, не заметили мои шефы. Наверное, не заметили. И я подумала, что могу сделать в каком-то смысле доброе дело. Вопреки им. Да, вы можете иронизировать, что я намеревалась сыграть этого Валенрода в юбке; да, несомненно, на том этапе я уже была рабом, который полуосознанно искал обоснований своему рабству, и потому ухватилась за эту мысль. Но понимаете, у Кшиштофа была пустота внутри, ничего в нем не было своего, все внешнее, подобно скорлу-

пе, наклеенной его токсической матерью. И я подумала: когда он вот так погрузится в себя, свернется, спустится ниже всех возможных норм и задач, которые ставились ему извне… Когда он будет в состоянии реализовать все желания, даже самые инфантильные, сожмется до точки, до чистого хотения, то, может, там найдет себя. И тогда начнет жизнь еще раз, сначала, но уже не потому, что кто-то ему так когда-то сказал, но потому, что он выберет что-то в себе, в себе таком, какой он в действительности, и разовьет. Возможно, он не будет пианистом, нет, наверное, не будет. Но он станет собой, цельным, подлинным человеком.

Я пыталась это сделать. Но знаете, попытки эти стали для меня таким страшным разочарованием, потому что он действительно ушел очень глубоко в себя — и там и остался. Я не могла дождаться от него никакого движения, ни тогда, ни потом, когда Аглаю от него забрали, а я его нашла. Он словно бы стал некой черной дырой — представляете? — которая никогда уже не будет излучать свет.

Но по порядку. В начале восемьдесят четвертого подготовка шла полным ходом. Последние дни, проведенные на подводной базе, заполняли тренировки рефлексов оператора — до полного

изнеможения. Для каждой из трех марионеток в Польше уже были сняты квартиры, они были воссозданы в виде фанерных декораций в тренировочном зале. Речь шла о том, чтобы даже в случае каких-нибудь затруднений с обратной связью можно было проводить их там, словно *с закрытыми глазами.* Проверяли также разными способами программу «Эрос», ну, эта Аглая такое выдавала тогда… — Женщина неожиданно рассмеялась. — Ребята утверждали, что она высший класс. Я уже говорила вам, что некая неловкость нескольких первых дней сменилась циничными шуточками; такое же, наверно, происходит со студентами-медиками после первого или второго семестра, когда им начинает становиться ясно, как все это просто действует. Я имею в виду наше тело. Тогда-то нам пришла идея насчет идентификации марионеток с помощью браслетов, потому что степень иллюзии была просто невероятной: я несколько раз наблюдала Аглаю в действии, когда в упряжи сидели мои сменщицы, и при всем моем специфическом знании о ней просто поверить не могла, до чего мы дошли. Так вот, чтобы охрана, которая должна будет сопровождать марионеток, не сомневалась, вне зависимости от уровня интеллекта, кого, к примеру, эвакуиро-

вать в случае необходимости и не прихватила по ошибке какую-нибудь случайную девушку, мы снабдили Аглаю, Анастасию и Алешу браслетами, которые первоначально надели им на правую руку, а потом я предложила, чтобы девушки носили их на лодыжке. Они не так бросались в глаза и создавали особый эффект напряжения, что-то среднее между элегантностью и утонченной испорченностью. Заодно Алешу переименовали в Филиппа, потому что поляки поинтересовались, как объяснить соблазняемой девушке в Польше, почему ее избранник носит педерастический браслет с русским именем. Впрочем, мне кажется, что мужская марионетка так и не дошла до фазы эксперимента, но точно не знаю, потому что с какого-то момента из-за работы у меня прервались все контакты с двумя остальными группами.

Насколько я слышала, в Польше к тому времени завершили сбор оперативных данных о наших будущих партнерах. Предварительно отобрано было девять человек, и не только из музыкальной среды. У Анастасии и Аглаи было по три оператора — главная и две сменщицы. Одна постоянно находилась на месте во время сеанса, своего рода аварийная помощь, потому что нельзя было допустить, если бы со мной, к

примеру, случился обморок, чтобы и марионетка потеряла сознание; каждый врач был нашим врагом: рано или поздно он сориентировался бы, что дело тут нечисто. Вторая сменщица ждала у телефона, месяца через два-три я стала использовать ее ночью, чтобы чуточку отоспаться. Ну, об этом я еще подробней расскажу. Итак, рабочая смена включала меня и аварийную сменщицу, аниматора лица, техника по памяти и руководителя группы. Он, короче говоря, следил за мной. Итак, пять человек плюс охрана: двое на улице, трое в квартире по соседству.

— А что такое «техник по памяти»? — поинтересовался я.

— Он был очень полезен, особенно первое время, когда существовал риск, что я не смогу охватить всю фиктивную биогр а фию моей героини. Он давал мне информацию, темы для разговоров, раза три подсказал даже шутливые реплики. Иногда объяснял поведение Кшиштофа.

— Значит, он тоже все слышал? Как и аниматор? Она пожала плечами.

— Все слышали. То, что я видела в очках, им демонстрировалось на мониторах, а параллельные наушники были у всех.

— Но это же чудовищно. Пожалуй, это ужасней всего.

Она несколько секунд смотрела на меня, а потом опять нацепила на нос свой «велосипед».

— Да не будьте вы ребенком. Там не шла речь ни о каких сантиментах, это был чистой воды шпионаж. Подготовка к широкомасштабной психологической войне. Что же касается меня, моего отношения ко всему этому, я уже говорила вам: то была техника маленьких шажков, постепенных уступок. Если бы во время учебы мне кто-нибудь вдруг сказал: доведи мужчину до откровенных признаний, обнажи его физически и психически и пусти это все на экран для пяти человек, я бы, конечно, ответила «нет». Но после нескольких лет, в течение которых я входила в это все глубже и глубже… Кстати сказать, я боялась, но, может, то был не страх, скорее, возбуждение, как во время игры, состязаний… Состязания с большим уровнем риска. Помню тот кризисный момент, когда я почувствовала, что Кшиштоф вырывается от меня, — после его разговора с агентом; я в точности не знала, в чем причина, но было очевидно, что дело плохо, и тогда я использовала аварийный план, подбросила сказочку о проституции, однако не знала, что дальше. Я упрятала Аглаю

в другую комнату, сбросила очки и намордник с лазером и микрофоном, он и вправду выглядел как кожаный намордник, и в панике принялась совещаться с группой: «Что делать?» Было понятно: у нас в запасе три-четыре минуты, он вот-вот войдет, и все зависит от удачного решения. Сама бы я не справилась. Мне велели все снова надеть, положить Аглаю ничком на кровать и наперебой стали втолковывать, какие могут быть варианты поведения. Окончательный вывод был таков: раз уж так получилось, идти дальше, хотя потом мне врезали за то, что я использовала план «Б» без приказа, по собственной инициативе. Однако впоследствии признали, что я была права.

Я вижу, какое у вас выражение лица. И прекрасно понимаю вас, нет, правда, понимаю. Но ведь я все это потом пыталась исправить… Ну хорошо, вернемся к техническим проблемам. По сути, я вела к тому, что финал книги у вас совершенно неправдоподобный; я уж не говорю о толпе автоматов — вы представляете себе, сколько бы это стоило? — главное в том, что для аппаратуры на одну марионетку требовалось как минимум тридцать квадратных метров, а вы разместили все это в какой-то каморке на чердаке. Ведь там же располагались рядом рабочие места руково-

дителя группы, двух техников, мои обручи, и все это находилось в квартире несколькими кварталами дальше. Это туда Аглая *шла па службу,* а я в это время ложилась спать. Разумеется, не на шесть часов, как написали вы, а на восемь; на шесть она уходила только в самом начале, когда моего партнера нужно было отвлечь от рояля. Потом придумали какую-то причину, по которой его возлюбленная должна была работать дольше, так что у меня были восемь часов на восстановление сил. Но все равно это была каторга, продолжавшаяся четыре года, потому что в Аглае я не могла заснуть по-настоящему, и ночью приходилось бодрствовать, потом долгие годы у меня был сбитый суточный ритм… Ела я, когда Кшиштоф ее не видел, а уж если была очень голодна, то Аглая обыкновенно *отправлялась в туалет.* Ну вот вы возмущаетесь мной, а я как раз не хотела совсем уж обманывать его, я была добросовестна, как лучшая студентка на курсе: если он с самого начала имел дело со мной, то пусть уж и дальше только со мной. А не с моей напарницей. Она сменяла меня лишь иногда ночью, и то только спустя несколько месяцев, но это было такое облегчение; у меня тогда начался кризис, я была полуживая, но он, к счастью, уже

чуть-чуть унялся, впрочем, ночью у Аглаи могла быть немножко другая реакция, а кроме того, как бы это деликатнее выразиться, вся работа оператора ночью заключалась в том, чтобы вести марионетку от одного включения программы «Эрос» к другому…

Я захохотал.

— Простите, чисто нервное. Жаль, что вы не слышали, как он мне рассказывал про это. Для него то были главнейшие минуты в жизни. Вся ваша команда была шайкой подлых сукиных детей.

Она так шарахнула ладонью по столу, что я даже подпрыгнул.

— Он не воспользовался шансом, который я ему дала! Даже такой опыт, даже нечто подобное можно было обратить себе во благо, нужно только захотеть. Но он не хотел, не сумел захотеть. Я не могла этого знать заранее.

— Хотите послушать меня? Если бы я сейчас и знал его адрес… я ни за что не дал бы его вам.

Она как-то съежилась за этим своим столом. Было в ней что-то отвратительное, я совершенно неожиданно осознал это, словно бы на ней было слишком много кожи, словно она под ней усыхала на протяжении всего нашего разговора. А руки

у нее были уродливые и старые, настоящие лапы хищной птицы. И они дрожали.

— Вы считаете, мне прощения нет? — еле слышно спросила она.

Я пожал плечами.

— Не знаю, знакомы ли вам такие стихи: «И не прощай, воистину не в твоих силах прощать от имени тех, кого предали на рассвете…»

— Прошу вас, воздержитесь с оценкой. Послушайте меня еще немножко.

Я глянул на часы.

— Да, конечно, я вас слушаю.

4

— Отдельной проблемой было овладение особого рода кокетливостью, которая должна была отличать Зофью. Такое имя было выбрано для фиктивной личности, которую играла Аглая, ведомая мной, — рассказчица на миг прервалась, словно что-то отвлекло ее. Потом сняла очки и принялась массировать переносицу. И уже совсем другим тоном произнесла: — Знаете, несколько лет назад я укрылась в одной фирме, торговавшей программным обеспечением. У меня были основания полагать, что, пока я живу

тихо и спокойно, как другие люди, меня тоже оставят в покое. И однажды на Инфофестивале, были такие компьютерные торги в Кракове, я неожиданно встретила свою бывшую одноклассницу. В лицее мы особой симпатии друг к другу не испытывали, но встреча после стольких лет да еще в чужом городе всегда впечатляет. Кончилось тем, что она пригласила меня потом к себе в гости. Они с мужем построили себе виллу в Мендзылесе. Через какое-то время мы стали рассматривать старые снимки, и вдруг Марта с внезапным блеском в глазах подает мне фотографию и говорит: «Муж больше всего любит вот эту. Помнишь?»

А я этой фотографии вообще не знала. В нашем классе была компания немножко шальных девчонок, наверное милых, но я держалась от них на расстоянии. Нет, нет, никаких конфликтов, просто — «Здравствуй» — «Здравствуй» — не больше. И они в четвертом классе поехали ранней весной, как объяснила, посмеиваясь, Марта, в Кампиновскую пущу (там еще снег лежал) и сфотографировались топлесс, этакие эмансипированные девушки. По правде сказать, только одна сняла с себя все сверху — холодно еще было, а может, другие побоялись, что кто подсмотрит;

короче, остальные, их там было шестеро, кто свитер поднял, кто что… Невинное развлечение девочек, у которых ветер в голове гуляет, возможно, даже забавное по прошествии стольких лет. Марта хихикала, похоже, до нее не дошло, что меня на этом снимке нет и быть не могло.

Глядя на этих черно-белых голышек двадцатилетней с хвостиком давности, я вдруг осознала: а ведь что-то прошло мимо меня, некая атмосфера, поскольку я была из другой сказки — водилась с мальчишками, мне нравилось, когда они обращались ко мне: «Привет, старая», я помогала им по тригонометрии, а когда один из них на стодневке сказал, что хотел бы поцеловать меня, я посоветовала ему сходить к психиатру. Было это почти тогда же, когда они в лесу фотографировали свои обнаженные бюсты и с хихиканьем обсуждали всех мальчиков в радиусе пятисот километров… Тогда у Марты я об этом не жалела, потому что, понимаете, нельзя жалеть, что ты не был кем-то другим. Ведь верно же? Тем более что, как это ни парадоксально, благодаря Аглае я превратилась в такую *femme fatale*,[73] стать какой ни одна из них и мечтать не могла… Вспомнилось

---

[73] Примечания: 73
Роковая женщина *(фр.).*

мне это сейчас, потому что отсутствие… опыта в некоторых областях, кокетливости, чувственного обаяния затрудняло мне работу и даже привело к такой ситуации, что мне грозило понижение до роли сменщицы. А я, как вы уже знаете, всегда должна была быть самой лучшей. К счастью, конкурентка оказалась явно слабее меня в части моторики, ориентация в пространстве у нее тоже была хуже, и когда летом восемьдесят третьего стало известно, что на эксперимент мы едем в Польшу, для моего обучения вызвали актрису. Фамилия ее очень знаменита, так что называть я ее не буду; то была звезда советского кино тех лет, когда я еще ходила в начальную школу; ее фото было у меня в альбомчике, куда я наклеивала изображения своих идолов (потом я отдала его сестре за пластинку Дина Рида, которую отец привез из Минска. Обмен так себе, потому что через год эту пластинку можно было свободно достать в Польше). Несмотря на годы, актриса все еще была красива, чуть в стиле Одри Хепберн, короче, сплошное очарование, да прибавьте к этому величественное обаяние русской княгини. Она обучала меня жестам, движениям, взглядам, учила, как ходить, как садиться; само собой, она не знала, зачем мне это нужно, а жила я тогда в

таком ритме: неделя на берегу с этой актрисой, неделя на базе с Аглаей. В сумме полгода.

Но думаю, больше всего мне дали воспоминания о Данусе. Тогда я вдруг поняла, зачем она встряхивала волосами, кокетливо стреляла глазками в моих приятелей, когда они приходили ко мне, зачем так клала ногу на ногу, лодыжка к лодыжке, отчего я заходилась неудержимым смехом и спрашивала, не собирается ли она устроиться на работу в «Студио 2», потому что вела эту передачу Вожена Вальтер, которая именно так и садилась. До меня дошло, что Дануся с ее чувствительностью, склонностью к слезам, с миной беспомощной принцессы, когда перегорала лампа на ее письменном столе, интуитивно была, как мне думается, чемпионкой Польши по обвораживанию мужчин. По подаче своей внешности. К счастью, мне не нужно было учиться макияжу — у Аглаи он был постоянный, и каждый день, пока я спала, декораторы подправляли его, — потому что одна только мысль о том, чтобы водить щеточкой по ресницам, до сих пор вызывает у меня ужас. А вот Дануся и это тоже умела замечательно делать. Да, то, чем я пренебрегала, неожиданно оказалось важным, может быть, столь же важным, как и решение полиномов, что

я всегда делала за нее.

— Так что же с ней стало? — прервал я ее, потому что меня осенило, что женщина опять говорит о сестре и опять в прошедшем времени.

— С кем? С Данусей? — Она пожала плечами. — Вышла замуж. Уехала в Венгрию. Знаете, у нас был очень странный дом. Поразительно теплый, душевный, а, однако, рассыпался. Мы посылаем друг другу открытки на праздники. Она очень ловкая, практичная. Думаю, она всегда такой была.

— Ну и как, вы овладели этим искусством? — поинтересовался я. Я все больше убеждался, что для нее наш разговор крайне важен, куда важнее, чем для меня, и что поэтому я могу не сдерживать ни иронию, ни сарказм, могу не скрывать своих чувств. Это страшное ощущение власти: она была в моих руках. Мне даже стыдно стало.

— У вас есть право на такие замечания, — бросила она, словно прочла мои мысли. — Во всяком случае занятия с актрисой меня многому научили. Настолько, что к концу восемьдесят третьего года и речи уже не было, чтобы отобрать у меня Аглаю. Но если я правильно поняла ваш вопрос, то нет, это не вошло мне в кровь. Впрочем, вы, наверное, сами видите. Я всегда держала дистан-

цию. И думаю, что, если бы Аглая передавала мою мимику, эффект был бы не слишком удовлетворительный, потому что у меня, наверное, на лице все время было бы выражение недоверия, скуки, а возможно, даже презрения. Да, кстати, когда я начала играть Зосю, то никак не могла поверить, что Кшиштоф на это клюнет. Какая все это дешевка, думала я, а он на это покупается. Самые дешевые средства производили на него ошеломляющее впечатление. Бедный. Из-за этого я очень поздно начала испытывать к нему симпатию. Он ничего не ждал от меня, то есть от Зофьи. Ничего не требовал. Все принимал с восторгом, даже если мне что-то не удавалось.

— Он вас любил.

— Вы не думаете, что любовь — это нечто такое, что приходит в движение при помощи предсказуемых процедур? Алгоритм действий: доведение мужчины до неистовства. Первый шаг: обратить на себя внимание. Второй шаг: грациозно изгибаться, когда на меня смотрят. Третий шаг: слушать его сосредоточенно, буквально впивая каждое слово. Рекомендуется широко распахивать глаза. Четвертый шаг: сказать ему, что он самый замечательный мужчина, какого я знаю, а потом отойти, чтобы он обдумал эту информа-

цию. Пятый шаг…

— Прекратите, прошу вас.

— Но разве не так все было? Меня он заинтересовал бы, если бы пренебрег мною. Мне бы пришлось беспокоиться, пришлось бы снова устанавливать контакт, как-то это обосновывать, пришлось бы поработать аналитикам, но он шел за мной, как я хотела, все было страшно просто. Его можно было безошибочно программировать. Сказать по правде, мне он стал симпатичен, только когда покрасил прихожую. И не потому, что мне это было нужно, совсем напротив. Просто это была первая вещь, о которой я его *не просила.* Маляр, кстати сказать, из него был никудышный. Но он захотел это сделать. Сам захотел. И тогда я подумала, что он славный. Старается. — Она тускло улыбнулась. — Возможно, во мне проявился материнский инстинкт. У меня было преимущество перед ним, и это меня трогало.

Другое дело, что многое нам облегчила его мать; я, кстати, хотела обратить внимание коллег, что аналитики, похоже, выбрали для нас не вполне ту жертву, но потом подумала: все отлично, я сделаю для Кшиштофа доброе дело. Освобожу его. А потом у меня начались сомнения; такая работа, больше двенадцати часов в день, со сдвинутым

на первую половину дня сном, в постоянном напряжении, очень ослабляет способность к рациональной оценке фактов — так что я потеряла уверенность в том, каково мое отношение ко всему, что я делаю, к проекту «Венера», к самому Кшиштофу, и я пришла к такому выводу: ладно, буду заниматься только тем, что я должна делать, выполню эту работу на «пятерку» и не стану соваться со стратегическими предложениями.

Временами мне хотелось, чтобы у другой группы, ведущей Анастасию, ничего не получилось, потому что через несколько месяцев Кшиштоф мне уже по-настоящему нравился, во всяком случае так мне казалось, и мне было любопытно, до чего мы можем дойти вдвоем. Я стала думать о нем действительно как о партнере. Оценила его наблюдательность, когда он засек Гришу, который ходил за нами; впрочем, он был самый слабый из охранников, Андрей и Степа умели следить за мной незаметно, но руководитель проекта решил, что если Кшиштоф будет за меня бояться, то это может стать дополнительным фактором, сплачивающим нас как пару. А потом оказалось, что нас действительно кто-то засек, и несколько дней были даже сомнения, а не прекратить ли эксперимент; вот тогда я и

спросила, через сколько лет пианист не сможет вернуться на сцену; я хотела получить аргумент в пользу продолжения. И поверите, это решило дело. Но нас в буквальном смысле слова охватила паника, когда Аглаю попытались похитить; если бы не Кшиштоф, произошел бы скандал мирового масштаба; Грише со Степой, видимо, пришлось здорово объясняться, не знаю, как они оправдывались, но они *не должны были* позволить захватить себя врасплох. Странно, что их не отослали обратно в Союз. Поверите ли, но это страшно запутанное чувство. Чувствовать угрозу и в то же время не чувствовать ее, потому что, когда похитители схватили меня, я боялась за Аглаю, боялась за свое тело (так я ее воспринимала), и в то же время была уверена, что при самом худшем исходе я выйду из упряжи и пойду спать, и дальше пусть беспокоятся другие. У меня были две жизни, как в компьютерных играх. Вы иногда думаете о смерти? — внезапно спросила она.

— Я? Как каждый, — пожал я плечами. — Иногда.

— Ну да, *иногда,* как каждый. А вот я интенсивно думала о смерти три раза в жизни. Первый, когда закончился эксперимент. Меня отправили в отпуск. Я больше двух суток беспробудно спала,

а потом проснулась и подумала: а может, это так и будет выглядеть? Я теперь другой человек, помню, что пережила Зофья, но теперь я опять стала Иреной. И должна заново учиться видеть свое отражение в зеркале, должна привыкнуть к тому, что я несколько старше Зофьи и совсем не красива и что теперь в поле моего зрения справа уже никогда не загорится правильный ответ на вопрос. А второй раз это произошло на пляже в Орлове… Но об этом позже. И недавно в больнице. Во всем этом по-настоящему и исключительно позитивным было первое осознание смерти, близости ее. Оно приносило не только печаль, но и облегчение. Наверно, впоследствии облегчение это осталось во мне, возможно, не само облегчение, скорее, некая его аура, особенно когда я думаю, что в конечном счете и мое собственное тело тоже может оказаться машиной. Машиной, из которой я выйду.

— Кстати, а какая у меня может быть уверенность, — бросил я, поскольку мне вдруг пришла в голову странная мысль, — что я сейчас разговариваю не с машиной? Используя ваше выражение, не с марионеткой?

— Никакой, — сухо отрезала она после некоторого замешательства. — Вас спасает то, что вы,

в сущности, не до конца верите мне. Если бы вы увидели марионетку, то легко бы пришли к выводу, что являетесь единственным подлинным человеком на свете. Ага, вы могли бы начать калечить людей. У марионеток нет крови. У Аглаи даже не было регул. Через каждые двадцать девять дней я симулировала недомогание. Не хотите ли, — она протянула руку, — уколоть меня и проверить, подлинное ли у меня человеческое тело?

— Вы же знаете, что я не стану проверять.

Она кивнула.

— Хороший ответ. Сожалею, пан Анджей, но уверенности никакой. Только вера. Доверие, если вам угодно.

— Доверие? К вам?

— Вы человек исключительно неприятный. Но мы обязаны сотрудничать, потому что Кшиштофу действительно грозит опасность. И сейчас вы можете его спасти, вместе со мной. Не я. Не я одна… Где вы его встретили? Он ведь не стал учителем?

Я услышал собственный голос:

— Я пока еще не знаю, сказать ли вам. Рассказывайте дальше.

5

— Когда в феврале восемьдесят четвертого года мы окончательно покидали базу на дне моря, в подводную лодку я садилась уже с совершенно другими чувствами, нежели в первый раз. Ясное дело, за время занятий с актрисой я так часто плавала с базы на берег и обратно, что уже привыкла. А кроме того, мы сработались в нашем коллективе, как-никак мы, группы, занимающиеся отдельными марионетками, — конструкторы, визажисты, химики, так называемый наземный обслуживающий персонал, то есть те, кто занимался текущим ремонтом, и, наконец, мы, группы операторов — были вместе два с половиной года и стали добрыми знакомыми, чуть ли не друзьями. Но главное, у нас было волнующее ощущение мощи, ведь мы отправлялись померяться силами с действительностью, с другими людьми, а также дрожь волнения, поскольку до конца не было ясно, как покажут себя марионетки *в боевых условиях,* но одновременно и ощущение власти, так как в глубине души мы все верили, что покорим мир. Да, то было преждевременное ощущение триумфа, преждевременное, потому

что никто из нас, наверное, не представлял, каких усилий это от нас потребует, а я — сколько сомнений ежедневно будет пробуждать во мне наша деятельность. И вот я сидела на *гробу* с Аглаей, то есть на сосновом ящике, выложенном синтетической стружкой, как для перевозки стеклянных бутылок, и представляла себе, что она сейчас видит; во мне уже было некое раздвоение, я ощущала себя одновременно и собой, и ею. Когда ее укладывали в ящик на спину, руки свободно вдоль тела, я чувствовала в мышцах ее инертность, а когда какой-то солдат рукавом зацепил браслет у нее на ноге, я — вы не поверите — ощутила боль в лодыжке. Рядом стояли два других ящика, дальше — огромные коробки с запасными частями, а уже в следующем отсеке за овальной дверью, стальные чемоданы с электроникой, наше *hardware.*

Подъем лодки со дна — особенный опыт, чрезвычайно патетический: это словно вознесение, полет к поверхности моря, к свету; все те же ощущения, о которых я уже рассказывала, только в обратном порядке и с противоположным психическим вектором. Мы как бы рождались, исполненные страха, но и силы, и, знаете, было в этом что-то от Вагнера. Вибрация всех пере-

борок, сливающаяся с глухим шумом — звуком воды, вытесняемой из балластных цистерн; мы почти видели эту пену, которую выблевывало черное тулово нашей лодки, становившееся все легче, все стремительней возносящееся вверх. Я много раз мысленно возвращалась к той минуте: при всех сомнениях, а в последнее время уже и при угрызениях совести, она оставалась в моей памяти окруженная каким-то неизгладимым светлым ореолом, и, знаете, иногда, в минуты депрессии, мне казалось, что я просто-напросто с удовольствием, укрытая от всего мира, жила бы в полной безопасности в такой лодке только ради того, чтобы изредка переживать такие вот моменты всплытия на поверхность. Надо сказать, жизнь осуществила мою мечту, но, как она всегда это делает, страшно коварным образом. Потом на двух тяжелых транспортных самолетах мы прилетели в тот город за Уралом — мне-то тогда казалось, что *перед* Уралом, карта, как и все прочее, у меня тоже переориентировалась, — а потом был еще один перелет на военный аэродром Окенче. Разгрузка производилась ночами, чтобы не бросаться в глаза.

Несколько следующих дней заняли пробные запуски: мы проверяли поведение Аглаи на ули-

це, сперва на боковой, где стоял дом, потом стали уходить все дальше, с ней осваивалась охрана, я начала здороваться с соседями, а первый разговор с киоскером вызвал у меня эйфорию, потому что было ясно: он не понял, с кем, а вернее, с чем, разговаривает. В общем-то так и должно было быть, но после ее возвращения мы выпили шампанского. Как было установлено с самого начала, квартиру Аглаи я видела только ее глазами и ни разу там не была; официально объяснялось, что это для того, чтобы я не могла привыкнуть к иному восприятию интерьера, кроме как при ее посредничестве, и чтобы не возбуждать ничьих подозрений, но много позже я пришла к выводу, что тут имелась еще одна, скрываемая от меня цель: чтобы я не установила с этим местом непосредственных эмоциональных связей, чтобы воспринимала его как некую иллюзорную, несуществующую реальность или, вернее, существующую только в компьютерной программе. Вскоре мы получили материалы о Кшиштофе — его фотографии, информацию о семье и отношениях в ней, о склонностях, о профессиональном пути, ну и несколько анекдотов из его жизни, одним словом все, что смогли рассказать о нем его болтливые знакомые. А я, когда не ра-

ботала в упряжи, заучивала наизусть биографию моей героини. В определенном смысле уже шел обратный отсчет: мы знали, что журналист установил с Кшиштофом контакт, мы получали все самое интересное и существенное из его записей — как интервью, которые ему давал Кшиштоф, так и неофициальных их разговоров, поскольку у «Владека» по гэбэшной методе в галстуке все время спрятан был микрофон. Затем следующий шаг: мой партнер принял приглашение на день рождения. Передающая станция была установлена в подвале виллы; там же сидела я в своей упряжи. Потом, когда наш человек повез их в машине в Варшаву, контроль над Аглаей переняла моя сменщица на центральном пункте, в соседнем доме. Дело было в том, чтобы не допустить запаздывания в реакциях марионетки, а оно при большом расстоянии от оператора могло быть… нет, не то чтобы заметным, а, скорее ощутимым. Это было первое свидание, и оно могло стать решающим. Но все пошло как по писанному. Ночью мы перебрались снова в Варшаву и больше таких вылазок не совершали. В случае чего Зофья должна была говорить, что терпеть не может выезды за город.

Первая ночь с Кшиштофом… Странное чув-

ство. Сейчас-то я думаю об этом, в сущности, с нежностью и грустью; нет, нет, я не пытаюсь представить себя лучше, чем я есть на самом деле, но мне действительно жаль, что ему не встретилась настоящая женщина, хотя бы… я. Ведь то было для него бегство из дома, этакий *отрыв,* как когда-то называла это молодежь, *отрыв* двадцатипятилетнего мужчины, который не заметил, что стал взрослым, — и к любой отдавшейся ему женщине он испытывал бы точно такое же чувство собачьей благодарности. Тогда я, по правде сказать, не верила, что он не заметит разницы, хотя внутренне отдавала себе отчет, что руководство проекта облегчило себе задачу, выбрав того, у кого, по полученной нами информации, в этой сфере не было никакого опыта и сравнивать было не с чем. И прежде всего я почувствовала облегчение, когда оказалось, что он так сильно вовлекся, так стремительно втянулся. Мы рассчитывали, что он поселится у меня перед первым отборочным туром и что я уговорю его не пойти на какое-нибудь прослушивание, а он уже через два или три дня был мой. Мы тогда много разговаривали, он был страшно трогателен со своей наивностью, с полнейшим неверием в существование зла, с восхищением своей мамочкой, хотя

он и рассказывал о ней ужасные вещи, но так, словно не понимал, что говорит. А когда я попросила его рассказать о дальних родственниках, он начал преподносить какие-то истории, которых не было в его досье, и у меня это вызвало замешательство, но я не могла показать, что удивляюсь; успокоила меня только надпись, которую зажег техник по памяти: «СОЧИНЯЕТ». Поначалу я не могла понять зачем, но в какой-то момент меня осенило: ведь в его предшествующей жизни был только рояль, а Кшиштоф чувствовал, что я не люблю говорить о музыке; ну а, кроме рояля, у него всего-то и было, что несколько травматических сцен с матерью, неудачный роман с Евой, который у нас был задокументирован благодаря болтливости «Викинга» — представляете, он еще спустя многие годы хвастался за пивом, что имел женщину на глазах у подростка, и от этого у него, как он, сволочь, выражался, «стояло со страшной силой». Вот, в сущности, и все. Ну, еще какие-то легенды о тетках, о родственниках во время восстания. Так что бедняга Кшись заполнял пустоту, как мог. Мне он тогда не нравился. Я думала: «Старик, если бы не проект „Венера", ты никогда бы не добился ни одной женщины, и кончилось бы тем, что тебя соблазнил бы какой-нибудь пе-

дик из балета или оркестра…» Потом я сожалела, как и сейчас, когда об этом рассказываю. Вот вы говорите, он любил Зофью. Да, любил. А что ему оставалось делать?…

Со временем я стала жалеть, что не чувствую его тепла. Я имею в виду тепло его тела. Знаете, я всегда считала себя человеком трезвым, противницей всяких там романов; разумеется, у меня были мужчины, и там, под водой, тоже — мне вот интересно, занимался ли еще кто-нибудь любовью на такой глубине? — но без всякого растворения в любимом; да, было очень приятно, но потом «Привет» — «Привет», и на этом конец. Мужчины хороши как приятели, но когда дело касается чувств, они впутывают нас в какие-то совершенно нелепые отношения. Неясные. Неблагородные. Вроде бы на коленях, но доминируют. Так что, возможно, Зофья действительно психически заражала меня собой, а с осени восемьдесят четвертого года, думаю, так даже очень заметно. Я знала, что в декабре у меня будет первый отпуск, а ведь я уже начала чудовищно уставать. И в то же время я не хотела уступать свое место в упряжи: я успела проникнуться симпатией к партнеру, и мне казалось, что если я так поступлю, то это станет еще большим

свинством, чем все, что было до того. Чем предсказуемой становились его реакции, тем больше я относилась к этому как к приятному фильму с перерывом в виде той попытки похищения. Ах да, я уже говорила. Когда же наконец наступил декабрь и я поехала на отдых, а вернее сказать, на регенерацию, то думала, что с облегчением вернусь в себя, в собственную личность, и не на шутку перепугалась, осознав, что мне не хватает и его, и ее. Я начала бояться за себя. Я знала, что реакции Кшиштофа весь этот период совершенно неизвестны, и когда я работала над собой под наблюдением психотерапевта, который еще больше напугал меня, сказав после десяти дней, что подобная игра, если будет продолжаться долго, грозит шизофренией, то пришла к выводу, что для меня лучше было бы, если бы мой партнер взбесился и возвратился к матери, к роялю, избавив меня от необходимости продолжать игру. Однако он не взбесился и не возвратился. После первых минут раздражения я почувствовала — даже сама не знаю, как это назвать, — уважение? Растроганность? Благодарность? Кшиштоф был верный. Возможно, вы удивитесь, но это имело значение. Даже для меня.

Было несколько трудных проблем, о которых

я аккуратно сигнализировала в еженедельных отчетах. Писать их была мука мученическая. В понедельник, после практически сорокавосьмичасового дежурства, иногда с крохотным перерывом на сон? И первая проблема возникла, когда Кшиштоф начал готовить. У Аглаи ведь не было вкусовых сосочков; естественно, это помогало изображать влюбленную женщину, особенно вначале, когда у него могло что-то не получиться, — она с каменным лицом проглотила бы как ни в чем не бывало все, что угодно. Но нужно было брать в расчет и то, что когда-нибудь он может приготовить такую гадость, которую сам будет не в состоянии съесть, и спокойствие возлюбленной в этом случае выглядело бы уже утрированным. Кшиштоф заподозрил бы, что тут что-то не так. Я старалась делать первый глоток после него, чтобы видеть его реакцию, но все равно постоянно существовал изрядный риск, этакая рулетка. Но как-то проносило. Другая проблема, но, кажется, это случилось раньше — я уж в точности не помню, — это когда ему попала в глаз соринка. Вы знаете, я собственными руками ни у кого из глаза ничего не выну, мне сразу нехорошо от этого становится, но вот такая уж я уродилась, а что уж говорить о том, чтобы сделать это при посредни-

честве машины. Образно говоря, я могла бы через Аглаю попытаться вести автомобиль, но стать через нее часовщиком у меня явно не получилось бы. Не тот масштаб точности. Кстати, Кшиштоф действительно таким образом проверял вас?

— Нет, он только вспомнил, как пришел к выводу, каким образом можно распознавать марионеток. А именно по их неумению оперировать с очень маленькими предметами и по неспособности приправлять пищу…

— А про телевизор вспоминал?

— Нет, о телевизоре он ничего не говорил.

— Понимаете, это была драма. Кшиштоф вызвал изменения в электронной системе Аглаи в процессе нашей работы! В начале восемьдесят восьмого он купил телевизор. Из-за частоты передачи картинки в моих очках я не могла смотреть на телеэкран, он чудовищно мигал. Оказывается, этого не предусмотрели. Мне подсоединили специальный модуль, сделали это быстро, потому что удалось использовать одно устройство из камер формата BETA, которые как раз появились на телевизионном рынке; но те трое или четверо суток, пока его не подключили, у меня была жуткая мигрень; устройство установили на ноутбуке, а переключатель, чтобы смотреть

телевизор, смонтировали на упряжи, точнее, на моих очках, а не на пульте техников, и я все время боялась, что Кшиштоф начнет задумываться, что за навязчивый невроз у Зофьи, потому как всякий раз, когда они садились перед телевизором, она проделывала какой-то странный жест у виска, а это просто я нажимала на кнопку — в *своей* действительности, а не в их. Вы долго были знакомы с ним? — неожиданно спросила она. Я пожал плечами.

— Не пытайтесь вытянуть у меня какие-нибудь сведения. Я по-прежнему вижу, что вы были палачом, а он жертвой. Почему же я должен вам помогать? — Я неожиданно отдал себе отчет, что втягиваюсь в ложь, так как, даже если бы она растрогала меня продолжением своего рассказа до слез, я все равно не мог ей ничего сообщить: пан Кшись развеялся, как золотой сон. Но было уже поздно отыгрывать назад.

— Вы знаете «Фауста»? — вдруг услышал я.

Я не понял, к чему она клонит.

— То есть? — дипломатично ответил я вопросом на вопрос.

— Я как-то видела по телевизору. Кому вы больше сочувствуете, Фаусту или Маргарите?

— Знаете что, рассказывайте дальше.

6

— Однажды мы пошли на танцы. Это было через несколько месяцев после попытки похищения Аглаи; когда я думаю о моей жизни с Кшиштофом, то вспоминаю главным образом этот период. Видите, я говорю «моей жизни»; эксперимент довел меня до очень тяжелого психического состояния, через два-три месяца я переставала различать, что произошло со *мной,* а что с *ней,* и эти двухнедельные перерывы были необходимы скорее уж мне, чем механизму, который действительно в это время ремонтировали; но по-настоящему ремонтировать надо было меня: я уезжала в специальный рекреационный центр и работала с психологом, который старался восстановить целостность моей личности; между прочим, когда после того, как проект «Венера» был свернут, я стала искать Кшиштофа, официальная интерпретация моего поведения, насколько мне известно, была такой: моя привязанность к нему является следствием проникновения в мое сознание психического содержания Зофьи… Другими словами, что меня нужно скорее лечить, а не наказывать; кто знает, не это ли спасло мне жизнь, это и пе-

рестройка, я уж не говорю о распаде Советского Союза, потому что он произошел позже, но в какой-то мере я обязана и ему, так как определенные процессы уже шли… Ну да ладно. Значит, пошли мы на танцы; мы вообще в ту пору много ходили по кафе, особенно любили одно заведение на углу Маршалковской и Крулевской, там подавали великолепный чай, десятка полтора сортов, по тем временам это было потрясающее место, Кшиштоф даже стал пить его без сахара, чтобы различать вкус. С питьем у Аглаи проблем не было, следовало только избегать газированных напитков, так как у нее тут же начиналась икота, и я тут повлиять никак не могла, у меня не было возможностей контроля того, что у человека является системой внутренних мышц, ну а все прочее вливалось в нее без всяких препон, то же самое и с едой, главное только, чтобы немного; на следующий день в центре управления все это удалялось, кажется, методом отсоса; химики разработали какой-то механизм, имитирующий пищеварение: то, что она проглотила, разлагалось в желудке, но до определенной степени, чтобы не булькало. Впрочем, хватит об этом.

Видимо, ее смутило выражение моего лица.

— Нет, нет, я собираюсь рассказать совсем о

другом. Итак, мы были на танцах. В тот период финансовая база жизни любовников изменилась просто фантастически, потому что курс доллара лез вверх, за один зеленый уже давали девятьсот злотых, а на эти деньги можно было купить, не знаю, помните ли вы, два килограмма сыра или килограмм ветчины, так что денег у Зофьи с Кшиштофом было как снега зимой, поскольку ее сбережения были в долларах, только частью фальшивых, а за квартиру, разумеется, платил КГБ. Мы ходили в дансинги или на дискотеки. Я, признаюсь вам, безумно любила танцевать *в Аглае*, потому что между моей реакцией и реакцией марионетки было небольшое запаздывание, всего в несколько микросекунд, но тем не менее; поэтому быстрый танец требовал большой ловкости, хорошего чувства ритма, а заодно давал такой эффект инерции, что если сделаешь какое-нибудь размашистое движение, закружишься на месте, то уже трудно остановиться, и тебя так и несет. Так и несет. Замечательное развлечение. Упоительное. Поначалу руководитель группы был против дансинга, но я переубедила его, говоря, что в худшем случае Кшиштоф почувствует, что танцует он лучше, чем Зофья, а результатом при той степени его зависимости,

какой мы добились, может стать лишь некая покровительственная нежность ко мне, легкое чувство превосходства, так что бояться нечего. Но потом, когда оказалось, что все прекрасно, это стало отличным развлечением… для меня. Охотней всего мы ходили в «Викторию», тогда самыми большими шлягерами была песенка Тины Тернер «We Don't Need Another Hero», а еще негритянского квартета «Бэд Бойс Блю» «You Are a Woman». Кшиштоф перевел припев этой песенки, то есть якобы перевел, в шутку, и звучало это так: «Баба ты, а я мужик, я хочу тебя, как бык, клёво будет, аж невмочь, только дай мне в эту ночь». Он страшно смеялся над этим переводом и вообще был тогда как мальчишка, то есть вел себя по-мальчишески, но мне это даже нравилось, потому что, когда я узнала его, он был скованный, неуверенный в себе, а тут вдруг поверил, что он никому ничего не обязан и что такой, какой он есть, он способен в глазах Зофьи, то есть моих, найти одобрение. Потом, уже узнав из газеты о смерти отца, он заметно потускнел, но тот восемьдесят шестой год был, наверное, для него самым лучшим… Мы танцевали до рассвета, у меня суточный ритм уже давно был сбит, так что я практически не страдала, а вот он через какое-то

время выбился из сил и, изрядно пьяный, смешно каялся, ну, мы вернулись домой. А перед этим какой-то незнакомый мужчина пригласил меня на танец, Кшиштоф не возражал, хотя я заметила, что он смотрит на нас, кружащихся на паркете, с таким страшным напряжением, с напряжением собаки, которая ждет еды; для вида, чтобы не уходить с площадки, он переминался с ноги на ногу в ритм музыки, а на самом деле следил за мной — Кшиштоф был страшно ревнивый, особенно после той сказки о проституции. А я вдруг прочла в глазах пригласившего меня мужчины вожделение и поняла, что химики напитали кожу марионетки чем-то, воздействующим не только на Кшиштофа, но и на каждого мужчину, — и с некоторым смущением, но и с чувством превосходства подумала, что могла бы сделать то же самое с ними со всеми, никто не оказался бы в безопасности, ни у кого не было бы средств защиты против могущества Аглаи. Руководству я не сказала ни слова, потому что они, несомненно, пришли бы к вполне резонному выводу: эксперимент на этом можно кончать. Страшно представить, что будет, если кто-то когда-нибудь разработает технологию дешевого производства подобных марионеток, так как эта была все-таки

безумно дорогой игрушкой, этаким *эксклюзивом* для политических противников, причем всего лишь нескольких, которых необходимо было устранить, а при массовом производстве, думаю, можно было бы полностью прекратить, скажем, естественный прирост населения в какой-нибудь стране, потому что в соперничестве с марионетками у женщин не было бы никаких шансов. Стерилизация целых народов, канализирование сексуального влечения — вы представляете себе? Нет, я вовсе не восхищаюсь такими вещами, они меня ужасают. Ну, может, восхищаюсь, самую чуточку. В конце концов, я все-таки принимала участие в работах, которые когда-нибудь смогут оказаться переломными.

— Да, да, переломят хребет человечеству. Мне думается, что вы, по счастью, ошибаетесь. Если вы правы, то достаточно было бы спрыскивать агенток такими духами.

Она вежливо улыбнулась, словно удивленная моим низким уровнем интеллекта.

— Вы не понимаете. Духи смешиваются с естественным запахом кожи, и окончательный эффект предвидеть очень трудно. А это *был* естественный запах ее кожи, под ним уже ничего не крылось. И ко всему этому специально раз-

работанная, уникальная масса, имитирующая поверхность тела и обеспечивающая скольжение, когда гладишь рукой. Такого удовольствия от прикосновения я никогда не испытывала. Я, — она исподлобья взглянула на меня, — я — женщина — до вас это доходит? Я уж не говорю о пропорциях ее фигуры, результате компьютерной обработки данных со снимков многих манекенщиц… — Она умолкла, словно не желала больше ничего сообщать.

— Вы говорите страшные вещи.

— Извините, — через несколько секунд с поразительной кротостью произнесла она. — Я вновь была в том зале, ощутила то мгновение, забыла о своем позднейшем знании. Позднейших размышлениях. Вы правы. Понимаете, очевидно, это побочные следствия той работы: легко отрываешься мыслью от действительности, воображаемое становится на миг реальным. Почти реальным.

Потом, в восемьдесят седьмом году, после смерти отца Кшиштофа, было уже не так хорошо. То есть для нашего проекта просто великолепно. Кшиштоф менялся прямо на глазах: вел себя все более странно. Он мог часами смотреть на меня или вынюхивать как собака следы моего присут-

ствия. Если бы между ним и мной не было Аглаи, я бы стала его слегка побаиваться. Тогда-то он и начал пить. Его привязанность ко мне обрела какой-то… дикий, двусмысленный характер. Как я думаю, двусмысленный даже для него. Как-то ночью он ни с того ни с сего проснулся; дежурила тогда не я, мне рассказали… И вот представьте такой диалог: Кшиштоф, еще полусонный, открывает глаза, смотрит на Аглаю и говорит: «Мне приснилось, что я был на небе?» Моя сменщица гладит его по лицу: «На небе? А я там была?» А он в ответ: «Да. Ты была Снежной королевой». Интересное объяснение в любви, да? Но утром он сказал, что ничего не помнит.

Думаю, в тот период до него стало доходить, что он превратился в некое подобие наркомана, и ваша книга подтвердила это мое предположение. Как раз тогда он мог еще что-то сделать для себя, и я очень желала ему этого, но в то же время вынуждена была держаться установленных правил. Я расхваливала его стихи, но он бросил писать, словно осознав, что слова не удовлетворяют его. И вообще любая творческая реакция на события перестала быть для него необходимостью. За эти три года из человека, который играл по десять часов в сутки, он превратился в нечто наподобие

гриба. Я все время думала, как вырвать его из этого состояния, но меня сдерживали правила проведения эксперимента, и к тому же меня все время прослушивали, так что я не могла сказать ему напрямую: «Старина, возьми себя в руки. Делай что-нибудь: карьеру, деньги, да что угодно!» Человек, черт возьми, это не простейшее с хлорофиллом внутри, а тот, кто осуществляет активный взаимообмен с миром… Что-то получает, но и что-то отдает. Но и я тоже увязла в Аглае. Мы оба были в западне. И вот я неожиданно получила приказ привести марионетку в центр управления, вошла внутри нее в дом, в наш зал, увидела — ее глазами — себя в тех обручах, марширующую на месте. Услышала, как обычно, сообщение: «Стоп. Конец работы». И когда сняла упряжь, стала переодеваться в нормальную одежду, обратила внимание на улыбку на лице руководителя, в которой было безмерное облегчение: «Ребята, мы закончили с этим! Собираем манатки». А мне он сказал: «Ты заслужила полугодичный отдых на Черном море, если только не предпочтешь Кубу». Я стояла как громом пораженная. Техники далее смеяться стали: «Гляньте, как она зависла! Иренка, где у тебя кнопка, чтобы включить?» Один из них схватил меня за грудь,

я дала ему по физиономии. Все смолкли. Вообще, он имел право удивиться: за четыре года они насмотрелись на меня в этих обручах, наслушались того, что я говорила Кшисю, особенно по ночам, — я понимала это, не хотела понимать, но понимала и внезапно ощутила себя шлюхой. «Извини, нервы, — сказала я ему, — это все-таки шок». Руководитель обнял меня: «Придется тебе, Иреночка, заново учиться жить. А потом будешь тренировать наших девушек». А я думала только одно: если через десять минут я не окажусь в одиночестве, то кого-нибудь точно убью.

Женщина впервые сделала неожиданный, резкий жест, а так все время она сидела неподвижно как сова, только надевала и снимала эти свои очки; сейчас она закрыла глаза ладонью.

— Они это предвидели, — через какое-то время произнесла она. — За мной тут же приехала военная санитарная машина. Меня увезли из города… на природу…

7

Женщина довольно долго молчала. За ее спиной я видел панораму того берега Вислы с багровым солнцем, касающимся крыш высоток: идеаль-

ный вид на открытку с приветом из Варшавы. А напротив меня, вновь неподвижно замерев, сидело это духовно и физически отвратительное существо, кажущееся еще уродливей из-за бурого косматого парика и нелепых допотопных очков. Я подумал, какую мину скорчил бы пан Кшись, увидь он ее так же, как вижу я, и мне захотелось смеяться. За спиной у меня что-то скрипнуло — во мгновение ока веселье бесследно развеялось, я резко обернулся, но никого, кроме нас, не было. Мое движение вырвало Ирену из задумчивости.

— Нет, не думаю, чтобы кто-то сюда пришел. Мне кажется, я предприняла все меры предосторожности. Адрес отдельно, срок встречи отдельно, контакт установлен с помощью кода, известного лишь немногим… Разумеется, там тоже работают профессионалы. Вы могли разбудить чудовище, у которого по-настоящему длинные руки. Но раз уж нам позволили встретиться… Когда будете уходить, мы откроем дверь из кухни на другую лестницу, вы выйдете на соседнюю улицу. И как можно быстрей идите в сторону трассы Восток — Запад, там для них слишком много народа. А мне все равно.

— Не преувеличивайте. Это только говорится легко.

Она ответила мне какой-то неопределенной улыбкой и продолжила рассказ:

— Ту местность даже нельзя было назвать сельской, санаторий находился среди Мазурских лесов. Я была какая-то совершенно одурманенная и уже засыпала, но все-таки помню последние километры: с шоссе мы свернули на гравийную дорогу возле щита: «Въезд воспрещен, лесопитомник». Потом еще поворот налево у очередного щита: «Заповедник, прохода нет». Через несколько сотен метров очередной резкий поворот, на сей раз в противоположную сторону, и тут взгляду открывались будка часового и шлагбаум. «Военный полигон». Опять долго ехали, и вот показался небольшой дом, бывшая лесная сторожка, в которой устроили пансионат. Не молвив ни слова, я как автомат прошла в отведенную мне комнату и рухнула на постель. Потом мне сказали, что я проспала двое суток.

Я уже говорила вам, что ощущение это было похоже на смерть. На то, как люди воображают себе смерть. А места там очаровательные и совершенно безлюдные: огромные луга, по которым бродят цапли, а из-под ног вспархивают куропатки; длинные аллеи верб — когда-то там была деревня, — березовые рощи, еловые леса. Весна.

И ни живой души в радиусе многих километров. Озеро с чистейшей водой, с удобными спусками на берег, вдоль которого трудолюбивые солдатики вырубили тростники. В таких декорациях все то, что происходило со мной, очень скоро начало мне казаться сном, в общем-то кошмарным сном: да может ли быть, чтобы я, студентка-отличница факультета информатики, в продолжение нескольких лет обманывала приличного человека, которому сломала карьеру, ради того только, чтобы предоставить советской разведке психологическое оружие? Чтобы без любви или, что еще хуже, с любовью симулировала любовные акты, выводившиеся на экраны мониторов для каких-то типов, которым хотелось поиграть в мирную войну? Неужели это была я? Проблема моя состояла в том, что я уже не знала, кто я. Я уже не была Зофьей, это было совершенно ясно, но и Иреной тоже нет. Ирена осталась где-то там, в комнате, где в картонной коробке под окном тихо покрывался плесенью Данусин жакетик… В первый и последний раз с каким-то облегчением я поддалась чувствам и подолгу плакала, глядя вечерами на огонь в камине, и уже не знала, почему я плачу, — от радости, что все наконец кончилось, или от стыда, а может, от тревоги и тоски.

Ведь меня вырвали из самого средоточия некоей жизни, пусть странной, основанной на лжи, но жизни, которая, я не могла не признать, была по-своему притягательна. В пансионате жили три человека: заведующая, мой психолог и я. Несколькими сотнями метров ближе к обитаемому миру, неподалеку от шлагбаума с часовым, стоял еще один дом, где жила обслуга, четверо не то пятеро солдат, которым, похоже, строго-настрого приказали не приближаться ко мне ближе чем на двести шагов. Но и те двое в пансионате обращались со мной, как с каким-то хрупким предметом. Все делалось так, как я хотела; не помню, чтобы раньше или после кто-нибудь относился ко мне с такой же деликатной предупредительностью. Вот только психолог следил, чтобы я ужинала не позже девяти, а когда наступала темнота, решительно отправлял спать. Я любила играть с псом, который вроде был цепным, но ластился, как обычная комнатная собака; иногда я спускала его с цепи, и мы шли на прогулку. В одну сторону я довольно скоро доходила до высокой сетки, но когда шла в противоположную, мне ни разу не удалось дойти до границы этой территории. Вечером мы слушали музыку или жгли около дома костер. Я была у них задокументирована так же

подробно, как когда-то Кшиштоф: на кассетах и компакт-дисках были мои любимые произведения времен учебы в университете, заведующая готовила мои любимые кушанья, которые я и сама-то уже позабыла: во время работы с Аглаей есть приходилось наскоро, и кормили меня, как спортсменку, калорийной пищей, пить давали напитки, восстанавливающие силы, а сейчас вдруг гречневая каша, омлет с зеленым горошком, однажды даже была кулебяка. Я все больше разговаривала с приставленным ко мне душеведом; да, я знала, что он работает на них, но, в конце концов, чем я была лучше его? А он, несомненно, хотел мне помочь. Я отдавала себе отчет, что полностью расклеилась. И это была не только проблема самоидентификации, хотя разделение моих и не моих воспоминаний составляло для меня большую трудность; гораздо хуже было то, что, если не считать чисто физических удовольствий — сидеть на солнышке или смотреть на окно, по которому стучит дождь, — я не сумела выработать однозначного эмоционального отношения к миру. Я думала: «Мне хорошо», — и одновременно: «Я этого не заслуживаю». Мне недоставало тех устройств и приборов, того пространства, и, когда я уже готова была разрыдаться от тоски, неожи-

данно разражалась смехом, до того нелепым все это мне казалось. Я испытывала гордость, и в то же время мне хотелось спрятаться со стыда в какую-нибудь мышиную норку. Психолог успокаивал меня, уверял, что это пройдет.

Ну что ж, он оказался прав.

Он велел мне проводить много времени перед зеркалом, приносил фотографии, которые каким-то образом добыл из моей квартиры, хотя она все эти годы стояла запертая, под присмотром родителей; он велел мне рассказывать о себе, но, если я начинала говорить о Зофье, не возражал.

«Выброси все это из себя, девочка, — повторял он. — Вещи названные перестают доминировать, позволяют облечь себя в слова и с этой минуты становятся мертвыми. Никто не переживал ничего, подобного тому, что пережила ты, ты, словно космонавтка, рассказывай же мне, рассказывай».

И я говорила, но я вовсе не хотела убить в себе Зофью, то есть Зофью-то, наверное, да, но вовсе не чувство верности Кшиштофу. И все чаще задумывалась, как он там справляется без меня. Я выработала поразительную ловкость: сперва рассказывала о своей жизни в течение последних лет, почти не вспоминая о Кшиштофе, но потом, когда мне пришло в голову, что психолог,

должно быть, пишет какие-то отчеты и в конце концов поймет, что означает отсутствие в этих монологах моего партнера, начала придумывать. Кшиштоф стал литературным героем, да, да, стал он им впервые именно тогда, а не под вашим пером. Я плела истории, почти неотличимо похожие на те, что я переживала в действительности, но все-таки другие. А когда перебирала в выдумке или касалась проблем, о которых психолог имел подробные данные, он, случалось, прерывал меня и, поглаживая по руке, говорил: «Тебе показалось, деточка, этого не было». Я соглашалась, что он прав, и продолжала врать, но уже тоньше. Я хотела счистить с себя Зофью, но *не* вымести вслед за нею Кшиштофа, вопреки душеведу, который так определил мою задачу: «Ты должна очиститься от всего, что там с тобой происходило. Кто такой Кшиштоф? Чужой человек, с которым ты по-настоящему и знакома-то не была. Ты ведь даже не видела его собственными глазами». Вроде бы так; иногда я с тревогой задумывалась, а узнала бы я его, если бы увидела его своими глазами, а не через очки упряжи? И однако он не был мне чужим: все то, что раздражало меня в первые месяцы, пьянство, которое под конец нашей акции я старалась как-то ограничить, канализировать,

перестало иметь какое-либо значение. А воспоминания о тех минутах, когда он умел проявить зрелую нежность, преданность — таких минут было страшно много, — совершенно выбивали меня из колеи. Словно я обидела не только и не столько его, сколько себя. Словно перестала всерьез относиться к чему-то, что постоянно происходит между людьми и без чего нет настоящей жизни. Словно я это что-то измарала. Чудесное слово, не правда ли? Никто его сейчас не употребляет. А мне приходится.

Вот так это и шло. Минули апрель и май; с началом лета я научилась идентифицировать себя как Ирену — ту Ирену, которая спокойно живет где-то к югу от Ольштына, играет с собакой и как раз заново начала учиться плавать. Когда первый раз входишь в воду, ощущение не слишком приятное, отдаленно напоминавшее ощущение от надевания упряжи, — но потом я почувствовала, что озеро, оно естественное, настоящее, мокрое. Я ныряла и превращалась в подводную лодку. На дне переворачивалась на спину и смотрела на солнце. И позволяла вытолкнуть себя наверх, выпуская постепенно воздух и гудя, как двигатель корабля, а когда выскакивала на поверхность, то взрывалась смехом. Однажды я начала расспра-

шивать, что с моими сменщицами, что с группой, работавшей с Анастасией, однако психолог отрезал: сейчас это уже не имеет значения. Я поняла, что никогда про это не узнаю. И одновременно чем лучше мне было, чем большую радость я чувствовала от пребывания там, тем отчетливей понимала, что так просто это не может кончиться. И я решила вернуться. Вырваться из этой сладостной тюрьмы. Да, потому что, если я была Ирена — а я была ею, — я не могла согласиться с несправедливостью, причиненной тому человеку. «Никакой тренировки „наших девушек"», — с яростью думала я. Но я была уже настолько разумна, что ни с кем этими мыслями не делилась.

Я старалась выиграть время и потому вела себя, как раньше. Ходила на прогулки, читала книжки, которые привозили по моему заказу, в пансионате наконец появились газеты. Однажды весь дом заполнился мухами, это было подлинное нашествие. После обеда разразилась чудовищная буря, хлынул проливной дождь, молнии вспыхивали одна за другой и причем рядом друг с другом. Видно, мухи чувствовали дождь. Я объявила, что с меня хватит мухобойства — мы их били все утро, — что я предпочитаю вымокнуть, и села на скамейку возле дома. Я говорила себе: «Ирена,

не затем ты изучала точные науки, чтобы сейчас не суметь вести себя разумно». Рассуждения мои выглядели так: из-за того, что я знаю, они никогда не выпустят меня из своих лап. Либо я буду готовить им кадры, либо, а это вполне возможно, они меня убьют. Ежели я буду проявлять признаки выздоровления, они в конце концов заберут меня в Союз. А ежели не буду, засадят в дурдом. Там, наверное, полно людей, рассказывающих истории, подобные моей. А вот ежели я сбегу и установлю контакт с Кшиштофом, вдвоем мы что-нибудь придумаем. Внезапно Кшиштоф стал моим спасением. Помогая ему, я могла помочь себе.

И тогда до меня дошло, что любой старательно разработанный план бегства отсюда будет хуже, чем незамедлительный побег (мне тогда пришло в голову выражение *непосредственная акция).* Во-первых, потому что на должности психолога у них, вне сомнений, специалист высочайшего класса, а я все, что делала в течение последних трех лет, делала при посредстве марионетки; мое собственное тело легко могло подвести меня. Кроме того, существовала опасность, что, прежде чем я придумаю надежную дорогу бегства, они предпримут средства предосторожности. (Так можно сказать? Ведь вы не филолог.) Во-вторых, в

том случае, если меня поймают, я превращаюсь в опасную преступницу, способную выдать строго охраняемый секрет, а вот если я убегу немедленно, без подготовки, у меня есть шанс предстать в роли сумасшедшей. Относительно не опасной. Так значит — в путь! Я и так засиделась здесь. Я вскочила и помчалась под ливнем в ту сторону, где, как я знала по прогулкам с собакой, была ближе всего металлическая сетка. На мне был тренировочный костюм, я промокла до нитки, ветки хлестали меня по лицу, и вдобавок все произошло так же быстро, как завершение проекта «Венера», — что называется, отсечь одним ударом. Но, возможно, так и должно было быть, возможно, так было для меня легче всего. После десяти минут безумного бега я буквально врезалась в сетку, благодаря чему могла не мучиться сомнениями — под током она или нет. Я вскарабкалась по ней, впервые за много лет благодаря Бога за то, что в детстве дружила с мальчишками и лазала по деревьям. Я побежала дальше, молясь, чтобы то шоссе, по которому меня сюда привезли, не делало какого-нибудь гигантского поворота вправо, потому что тогда я вполне могла бы бежать параллельно ему до самого вечера — то есть до того момента, когда меня поймают. Поворот

был, но в мою сторону, так что я довольно скоро уже стояла на обочине. Время от времени по шоссе проезжали машины, уже начались отпуска, и под таким ливнем у нестарой женщины в мокром тренировочном костюме были большие шансы, что ее подвезут. Третий водитель затормозил. Мне безумно повезло, в России говорят: «Дуракам везет»: он ехал в Варшаву.

8

Она умолкла, а у меня возникло неприятное впечатление, что я просто-напросто выловил из моря житейского двух сумасшедших: сперва алкоголика, а теперь вот эту. В ее рассказе таилось безумие, я это явственно чувствовал: подводные лодки, искусственные тела, даже эти мухи перед дождем — все словно бы тронутое ржавчиной сумасшествия, которому, возможно, я сам дал толчок, напомнив своей книгой какой-нибудь давнишний, может быть, происходивший много лет назад разговор с паном Кшисем. Невозможно было отрицать, что она знает настоящее имя Клещевского. И теперь все это вырвалось из нее бурлящей, горячечной фантазией. Фантазией, отводящей ей центральное место во всей этой

истории. И центральное место в мире: кто, как не она, вкусила вторую жизнь, эрзац бессмертия, а сверх того такое чувство, ради которого мужчина бросает все? Теперь я уже не опасался, что за моей спиной что-нибудь произойдет, — что там может произойти? — я боялся женщины, сидящей напротив меня, ненормально экономной в движениях, быть может, собирающейся с силами для неожиданной атаки, а может, как раз и атакующей меня словами, миазмами своего изуродованного воображения. Я жалел, что пришел сюда, почти жалел, что написал этот роман, который должен был стать чем-то очищающим, ни к чему не обязывающей игрой, реакцией на мои личные неприятности, возможно, в какой-то мере также воображаемым обольщением Марии *(поскольку признаемся откровенно, пан Вальчак, кто стоял перед вашими глазами, когда вы так трепетно писали эротические сцены? На кого это должно было произвести впечатление? На Ежи?)* А здесь сидело это больное чудовище и, похоже, выходило уже из терпения, оттого что я погрузился в собственные мысли и ничего не говорю.

— Это было в июне восемьдесят восьмого года? — спросил я, чтобы прервать молчание.

Она отрицательно покачала головой.

— Нет, в конце июля восемьдесят восьмого. Я попросила водителя подвезти меня, если это для него не большой крюк, к тому дому, где я жила с Кшиштофом. И только когда мы подъехали, меня вдруг ударило, что я совершила страшную неосторожность: тут они, надо думать, уж точно поджидали меня. Однако я знала места, где они обычно стояли, и там их не было. Все окна были темные, и в той квартире, этажом ниже, где все годы эксперимента бдела остальная часть охраны, — тоже. Я на цыпочках поднималась вверх, около их двери буквально умирала от страха. Нажала на кнопку звонка, но Кшиштоф не открыл. И вообще там никаких признаков жизни не проявилось. Я позвонила второй раз. Но ведь если он меня — то есть не меня, а ее — любил, то должен был ждать этого момента. Но, может, он напился до положения риз. Если он только вообще жив. В третий раз я звонить не стала, мне было страшно. Удирала я оттуда, словно за мной гнались. Остановилась — поверьте, я не преувеличиваю — только через несколько кварталов.

Ситуацию, в какой я оказалась, благоприятной не назовешь. Была она, прямо скажем, кошмарная. Еще в пути, в машине, я начала понимать, что стратегия импровизированного побега имеет

свои скверные стороны: в Варшаве я оказалась без документов, без денег, без одежды на смену. В чуть просохшем тренировочном костюме. КГБ не было нужды бросаться на поиски меня: первый встречный милиционер мог совершенно спокойно задержать меня. К тому же, думала я, если им известно, какие кассеты я любила слушать десять лет назад, то и предвидеть каждый мой шаг для них не составит большого труда. И однако они не подняли тревогу, не поджидали меня у дома Кшиштофа. Это могло означать что угодно: либо они сторожили его, а он куда-то уехал, либо не придали большого значения моему бегству (вполне возможно, психолог боялся признаться в собственном недосмотре и надеялся найти меня утром где-нибудь неподалеку), либо Кшиштофа уже не было в живых, а без него кто мне поверит.

Я как помешанная блуждала по улицам. Все было такое же, как когда-то, и, однако, изменилось. Дома страшно высокие. Что-то у меня произошло с восприятием, подумала я. И речь тут шла не только и даже, главным образом, не о зрительных ощущениях. Я чувствовала себя голой. Более того. Чувствовала себя так, будто с меня содрали кожу. Каждый порыв ветра причинял мне боль.

Тогда-то я оценила свое пребывание на Мазурах; думаю, если бы не оно, в городе я точно сошла бы с ума. Чересчур много раздражителей. Да и сейчас я не была уверена, что не свихнусь. Вдобавок я еще расчихалась: как следует промокнув, я простудилась, ведь это был первый дождь за четыре года, под который я попала. К себе в квартиру я пойти не могла: раз они привезли мне фотографии, значит, у них были ключи, и они вполне могли поселить там кого-то. Например, Гришу. Мои родители, у которых были на всякий случай вторые ключи и которые, по нашей договоренности, приезжали ко мне поливать цветы, спокойно спали у себя на Садыбе, уверенные, что их дочурка делает научную карьеру в Москве (позже я узнала, что они регулярно получали от меня письма, хотя я им не писала). А до утра было еще страшно далеко.

Но одно я понимала совершенно ясно: если я хочу, чтобы у меня получилось, мне нужно действовать парадоксально, бессмысленно, непредсказуемо. Как сквозь туман мне припомнилось, как во время проведения эксперимента мои русские коллеги восхищались одним своим знаменитым гроссмейстером, который выиграл у компьютера, использовав следующую тактику:

десятка два первых ходов у него были совершенно абсурдные, тем самым он не давал машине выстроить стройную стратегию, а затем, в эндшпиле, нанес точные решающие удары. Мне надо было действовать так же, как он. Я стала вспоминать своих соучеников; прошло уже десять лет, и многие из них могли неоднократно сменить место проживания. Но мне терять было нечего, а перед рассветом свалиться без гроша за душой кому-нибудь из них на голову выглядело как идиотизм, вполне соответствующий выбранной мною стратегии. Три адреса мне удалось вспомнить. Я шла пешком. Ходьба немного меня разогрела. В первой квартире никого не было. Или же мне не открыли со страха — было два часа ночи. В следующем доме меня через домофон обозвали пьяницей и пригрозили вызвать милицию, я молниеносно удрала. В третьем мне открыл перепуганный мужчина, который что-то держал за спиной, возможно даже, нож (был уже четвертый час). Я в полном соответствии с правдой сказал, что ищу Януша Д., на что он мне ответил, что такой здесь не живет, и захлопнул дверь. Я чудовищно устала, мне хотелось расплакаться, но уже светало. В июле день начинается рано.

И тогда я подумала, что мне уже все равно,

остановила такси, сочинила жалобную историю о том, что меня обокрали и что мне нужно добраться до Садыбы, и поехала к родителям. Вид у меня был бесконечно несчастный, и таксист даже не стал дожидаться, когда я ему вынесу деньги. Приличный оказался человек. Перед домом никого не было, ни топтунов, ни засады. Я ничего не понимала. Они что, ушли с рассветом, не веря, что я решусь на что-нибудь подобное? Вообще-то у родителей мог и разрыв сердца случиться. У отца, когда он мне открыл, лицо была такое… Единственное в своем роде, словами и не описать.

— И что же вы им сказали?

— Немного. Придумала, что неожиданно прилетела вечером из Москвы, но было уже поздно им звонить, а ночью вышла зачем-то на площадку, и дверь захлопнулась. Меня поразило, что отец как-то удивительно торопливо заталкивает маму обратно в спальню. Чуть ли не грубо. Он произнес что-то наподобие: «Как славно, что ты приехала, утром поговорим». А когда мама, явно вырванная из глубокого сна и еще как следует не проснувшаяся, снова легла, отец указал мне на мои кроссовки, все в грязи и мазурской траве. Думаю, то была отменная немая сцена. Он вопро-

сительно глянул на меня, а я приложила палец к губам. В ответ он поднял бровь, я с детства любила эту его гримасу. Я поцеловала его в щеку. Он взял меня за руку и потащил в кухню. «Если бы на твоем месте стояла Дануся, — прошептал отец, — я бы знал, что она как минимум убежала из постели арабского террориста. Но ты? Ну, давай выкладывай».

Я все время действовала как автомат, но в тот момент по-настоящему растрогалась. И стала говорить что-то вроде: «Папа, я не хочу тебя обманывать, но правды сказать не могу. Дай мне все деньги, какие можешь. *(Я помнила, что перед выездом в Советский Союз оставила им все свои сбережения в валюте, чтобы они не лежали в пустой квартире. Я боялась перевозить их через границу. Он добавил еще немножко своих денег.)* Кроме того, я хочу взять рюкзак и палатку Дануси. Объясню все, как только смогу». И через час я была уже на вокзале с автомобильными правами, которые я получила, еще когда училась, а потом они мне не понадобились. А вот сейчас пригодились: не удостоверение личности, но все-таки хоть что-то. Какой-то милиционер, едва я вышла из дома родителей, проверил у меня документы. Возможно, случайность. Но я на всякий случай

первым утренним поездом поехала в Гдыню.

— За Кшиштофом?

— За Кшиштофом. Я знала, что оставаться в Варшаве мне нельзя. Проверить, не живет ли он и дальше в нашей с ним квартире, я могла и из другого города — номер телефона я помнила. А если он уехал, то только туда. Я же сама ему наговорила те глупости, и он мог попытаться отыскать меня. Не меня, Зофью. Вот только — я это осознала в поезде — гэбэшники могли рассуждать точно так же. Так что это был далеко не гроссмейстерский ход. Меня охватила паника. В результате в Гданьске я пересела на электричку и вышла в Вейхерове. А оттуда — первым же подъехавшим автобусом — еще дальше. Не помню, как называлось то место. Там были рядом два небольших озерка. Дикий палаточный лагерь, какие-то дачи. Наконец-то я почувствовала себя в безопасности. Понимаете, случайный выбор, никакого плана. Чистой воды комбинаторика, бросок костей. Им пришлось бы прочесывать палаточные лагеря по всей Польше. Ну, по крайней мере, на всем Балтийском побережье. И притом до Гдыни было совсем не далеко. Вот только я жутко боялась поехать туда.

Необходимо было взвесить два фактора (я все

время твердила себе, что должна сейчас блеснуть точным мышлением). С одной стороны, необходимо было на какое-то время затаиться. Не станут же они искать меня до бесконечности. С другой стороны, Кшиштоф тоже не будет бесконечно искать Зофью, и в конце концов может вернуться в Варшаву. А мне, кстати сказать, надо было найти какой-нибудь заработок.

Тем временем я ездила в разные места — в Вейхеров, Румию, а один раз так даже в Тчев — и звонила в квартиру Кшиштофа. Безрезультатно. Все время безрезультатно. Родителям я звонила реже, смешно сказать, но тут я больше боялась. Временами мне приходило в голову, что, прежде чем гэбисты схватят меня, меня прихватит нормальная паранойя. Вы знаете, до чего страшно жить в страхе? Вы все время заняты наблюдением за окружающими и поиском возможных путей бегства. Все время взвешиваете свои шансы. А вокруг отпускники, дети кричат, люди валяются на матрацах, сидят в шезлонгах, солнце, из приемников звучит «Лето с радио» — фон, подходящий для чего угодно, но только не для моей ситуации. Так я дотянула до последней недели августа и наконец решилась на Гдыню. Проход по центру стоил мне столько же, сколько все

прочее до того. Нет, я просто была не в состоянии надолго обосноваться там. Но лето кончалось, и в старой палаточке, да при том что деньги таяли… В Вейхеров я возвращалась с газетой под мышкой. Я начала изучать объявления. И вот нашла в Сопоте предложение, которое меня устраивало: опека над пенсионеркой за какие-то гроши, как раз, чтобы не подохнуть с голоду, и ночлег. Свободное время с четырех до шести.

Я пыталась припомнить, что именно я говорила Кшиштофу как Зося о ее занятии проституцией (тогда я уже думала о Зофье — *она),* и прикинуть, где я могла бы его встретить. Хотя мне неоднократно приходила страшная мысль, что прошло несколько месяцев и его тут может уже не быть. В одной гостинице я заговорила с женщиной, по которой было видно, чем она занимается, и спросила про него: тридцатилетний мужчина, ищет брюнетку с браслетом на ноге — это была самая большая удача за последнее время, а может, даже и за последние годы, потому что ока принялась издевательски хохотать на всю гостиницу: «Может, это он и тебя искал, три вечера лапшу мне на уши вешал, да только описывал он настоящую принцессу». Я поинтересовалась, когда это было; по всему выходило, что в августе, недели две

назад. Недели не месяцы, уже этого одного мне было достаточно, чтобы радоваться. Ведь из этого следовало, что он не покончил с собой, не запил, а ищет меня… Правда, проститутка весьма резко напомнила мне, что ищет он не меня, а Зофью, однако Зофья была для него потеряна.

— Да Зофьи никогда и не было, — прервал я ее. Она кивнула.

— И я — представляете? — я хотела ему об этом сказать.

Но тот разговор был для меня чрезвычайно важен, потому что я уже пала духом, мне постепенно становилось ясно, что Кшиштофа нет и, возможно, больше не будет, а я со своим пристрастием к бионике нашла себе довольно странное применение: убираю за симпатичной, впрочем, старушкой. И похоже было, что продвижение мне никакое не светило, — она вновь рассмеялась сухим саркастическим смехом. — Даже на трудовой стаж я не могла рассчитывать, ведь это же происходило еще в ПНР. И тут я его встретила.

9

— Как вам это рассказать? — произнесла она через несколько секунд, но исключительно

невнятно, словно у нее произошло что-то с дикцией или словно (впечатление было как раз такое) она каким-то незаметным для меня образом заглотнула под столом несколько рюмашек. — Да и надо ли? У вас не возникает впечатления, что в словах и вправду есть нечто… лишающее жизни? Этакая подозрительность поименованного? Я уже столько зла ему причинила, что, наверное, должна была бы молчать, уберечь это ради него и ради себя. Только вот если вы об этом не узнаете… то он тоже не узнает. В его глазах я останусь странной особой, которая прицепилась к нему на улице. Хотела его заклеить. Похоже на то, что никаких предчувствий не существует. Нет ничего, ни порывов сердца, ничего такого, чем нас пичкают в школе. Как ее звали? А, Изольда… Изольда ведь всегда узнавала Тристана, да?

— Нет, — чуть усмехнулся я, — не всегда.

— Нет? Видимо, я плохо помню.

Во всяком случае с нами, не вдаваясь в общем в подробности, было так: я обошла уже, наверное, все гостиницы и питейные заведения в городе и после того разговора с проституткой приняла решение ежедневно два часа прочесывать центр Гдыни. Я уже перестала верить в кагэбистов за каждым углом. «Может быть, я переоценила свое

значение?» — думала я. Что-то подсказывало мне, что сейчас начинается действительно опасный период: я утрачиваю инстинкт самозащиты. Утрачиваю бдительность, а ведь они, если они действительно существуют, по-прежнему жаждут схватить меня. Но, с другой стороны, утешала я себя, я ведь применила стратегию гроссмейстера. «Я так умно, — льстила я себе, — запряталась, переждала, и теперь в любой день могу встретить его». До обеда я занималась своей старушкой, временами ходила по ее просьбе в магазин, читала ей. А в четыре — на два, а иногда и на три часа исчезала. Потом возвращалась: умывала ее и укладывала спать за ширмой. Она удивлялась, что меня устраивает такая работа, но, похоже, не слушала моих объяснений. Кстати сказать, достаточно туманных.

Но встретила я его не тогда, когда у меня было свободное время, а когда утром возвращалась от мясника: у моей пенсионерки иногда просыпался волчий аппетит, и она требовала бифштекс с кровью; я всякий раз, когда готовила их для нее, боялась, что кончится это обвинением в убийстве, потому что старый организм может не выдержать такой пищи, и я буду виновата, однако дочка, которая платила за уход, успокаивала

меня (не думаю, что она хотела избавиться от матери): «Знаете, не надо идти маме наперекор, она этого не переносит, злится. А инсульт куда опасней несварения желудка». Надо сказать, старушка обычно съедала небольшой кусочек, видимо, дело тут было в том, чтобы почувствовать вкус, а может даже, просто вспомнить его. И вот как-то она послала меня к мяснику за вырезкой. Возвращаюсь я и вдруг вижу — он.

Человек, которому я поочередно вынуждена была причинить зло, хотела помочь, причинила зло. Идет как ни в чем не бывало, чуть ссутулясь, в волосах появилась небольшая седина. Но это он. У меня не было ни малейших сомнений, хотя еще десять минут назад я могла тревожиться на предмет того, узнаю я его или не узнаю. Кшиштоф. Я замерла с этой своей сумкой, в которой лежал кровавый кусок мяса, а он, разумеется, прошел мимо — меня ведь он не знал и притом думал, наверное, о чем-то другом. Он был трезвый. В мятом плаще, похудевший, но трезвый. Пришелец из иного мира.

Я повернула и пошла за ним. И вдруг поняла, что не знаю, что дальше. Быть может, нужно просто пойти своей дорогой: Кшиштоф не умер, как-то приспособился, я могла принести только

еще больше смятения в его жизнь. Кто знает, возможно, самое худшее из причиненного мной ему было сделано как раз тогда, потому что я не оставила его в покое, не дала ему идти каким-то своим путем. Но человеку всегда мало того, что есть. Знаете, если он что-нибудь чувствует, то у него ощущение, что это самое важное предчувствие, важнее быть не может, и уж оно-то не подведет. А чувства, как раз напротив, обманывают. Подсовывают самые худшие решения. Самые глупые. Можете качать головой; но я-то знаю. И внезапно меня как ударило: ведь я за ним слежу. А он дошел до станции, сел в электричку, доехал до Гдыни Главной, а потом прогулочным шагом двинул в сторону сквера Костюшки. А там вошел через служебный вход в Музыкальный театр. Я переждала минутку и спросила у вахтера, кто этот человек. И вот так я узнала, что он работает аккомпаниатором. Для начинающих актеров.

То обстоятельство, что он поселился в Гдыне постоянно, что нашел работу, хоть чуточку связанную с профессией, которую я отняла у него, растрогало меня. Но в том его отсутствующем взгляде, который я поймала на улице… мне показалось и, как выяснилось, верно показалось, было что-то скверное, какая-то… пассивность.

Что-то его несло, и он покорялся этому, но сам уже ничего не хотел, ничего не ждал. Знаете, как мертвец. Мертвец, который по привычке ходит, двигается. Мне было жаль его, но я бы не хотела, чтобы вы сочли, что это была жалость. Кто знает, быть может, он мне был нужен куда больше, чем я ему. Он по-прежнему оставался самим собой, оставив в стороне все прочее. А я уже не могла дать ему Аглаи. — Что-то, похожее на улыбку, мелькнуло у нее на губах. Какое-то время она занималась очками, передвигая их туда-сюда по столу. Наконец, не глядя на меня, произнесла: — И запаха ванили тоже.

В тот день в свободное время я сразу же отправилась к Музыкальному театру. Когда он выходил около шести, — я должна была бы уже возвращаться к моей старушке, которая, надо сказать, в тот день изрядно нервничала, так как я вернулась от мясника на углу только через два часа, — я подошла к нему и с наивным видом спросила, не может ли он порекомендовать что-нибудь из репертуара, потому что я тут недавно, а слышала… Короче, этакая незамысловатая чушь. Возможно, он решил, что к нему пристала одинокая девушка, которая ищет общества; мужчины, знаете ли, склонны к таким умозаключениям…

Он вежливо отвечал мне, и по тому, как он со мной разговаривал, было совершенно очевидно, что он чудовищно одинок. Он никуда не торопился, вы понимаете, что я имею в виду? А я ведь для него была никем. Он проводил меня до вокзала, я сказала ему, что живу в Сопоте. Да, тогда я попыталась воспользоваться советами той русской актрисы. Опять. Но впервые без недобрых намерений.

Так мы начали встречаться; было ясно, что он убивает со мной время, которого в его жизни стало страшно много. Он перестал искать Зофью. Смирился, как смиряются — даже не знаю, с чем сравнить, — с собственной смертью, если после нее что-то чувствуют. От него веяло ощущением поражения, прикрытого, можно даже сказать, обаятельной элегантностью. Временами цинизмом. Я старалась слушать его, но он говорил куда меньше, чем когда-то. Словно отвык от излияний. А может, считал, что слишком мало знает меня. Уже на второе свидание я шла с твердым решением рассказать ему все. И на третье тоже. И на четвертое. Все никак не могла собраться с духом. Однажды я попыталась дать ему знак, использовать свое знание о нем. Я перечислила ему его любимые кушанья. Он обратил это в

шутку, словно вообще не заметив, что я говорю. Я разозлилась и — я понимаю, что это, наверное, страшно, упомянула «Песню Роксаны». Сказала что-то в том духе, что мне она нравится. Он бросил на меня такой взгляд, какого я вообще не видела у него; то была невероятная смесь злобы и боли. Потом, когда мы уже прощались в тот день, он сказал мне: «Ты смотрела „Касабланку"? Помнишь, там Рик запретил играть в своем кафе „As Time Goes By"? Это чудачество, но я не хочу слышать о „Роксане"». Я извинилась и приняла решение, никогда больше ничего подобного не делать. Ведь вполне достаточно было с ним подружиться. Чтобы он не был один.

Однако оказалось, что недостаточно. В следующий раз он пришел на свидание со мной в таком состоянии, что я едва узнала его. Небритый и, сказать по-честному, не очень чистый. Он что-то бормотал, что едва встал с кровати, что у него бывают такие дни, что ничего не может с этим поделать. Тогда он рассказал о себе чуть больше, чем обычно, у меня даже возникло впечатление, что он мне исповедуется, однако вечером, когда я занималась своей пенсионеркой и восстанавливала в памяти все, что он говорил, я поняла: он говорил это себе. А то, что я его понимала,

проистекало в основном от того, что я обладала этим чертовым запретным знанием о нем, о чем он, естественно, не подозревал. И совершенно не замечал этого. Я попыталась достучаться в нем до каких-нибудь планов на будущее. Сказала, что я понимаю: что-то у него в жизни не получилось, но у него еще многое впереди. Надо только попробовать. Кажется, — по лицу Ирены вновь пробежала тень улыбки, — вела я себя как дура, охотящаяся на мужа. Он мог меня осадить, высмеять, ранить. Понимаете? Сделать *что-нибудь*. — Она умолкла, словно внезапно опять перенеслась в то кафе.

В комнате быстро темнело, и через какое-то время в голове у меня возникло абсурдное предположение, что так мы и просидим до утра, не двигаясь, в молчании. В темноте. Я выждал минуту, может, две и решил напомнить ей о своем существовании.

— И что же он? — полюбопытствовал я.

— Я помню все до мельчайших подробностей, слово в слово, — продолжила она, словно не было никакого перерыва. — Наверное, ничего в жизни я так хорошо не помню. Он закурил и с сигаретой во рту бросил: «Попробовать? Еще раз? Но с кем? Ведь ежели по-настоящему, то ее не было. Я любил часть себя, выброшенную вовне,

отождествленную с чем-то мертвенным. Даже не с человеком…»

— А вы что?

— Да, то был тот самый момент, когда у меня появился шанс. Возможно, то была даже моя обязанность. Просто сказать: «Неправда. Я сижу рядом с тобой». Другое дело, поверил бы он мне, но после всего, что было… — Она передернула плечами. — Однако все дело в том, что я только что приняла решение подружиться с ним. Стать для него близким человеком, не той женщиной, но кем-то новым. А если бы я сказала, то получилось бы, что к нему в дружбу втирается некто, кого он должен ударить. Как минимум.

— И вы не дали ему этого шанса.

— Да, этого шанса я ему не дала. Я услыхала свой голос: «Не понимаю». Он глянул на меня и произнес: «А ты и не должна понимать». И попрощался со мной.

— А что дальше?

— А ничего дальше. — Звучало это, как смягченный приступ эхолалии,[74] словно ей проще было паразитировать на моих словах, подпираться ими. Ее лицо, насколько я мог видеть его

---

[74] Примечания: 74

Эхолалия — болезненное подражание, состоящее в повторении слов, только что произнесенных другим лицом.

в сумерках, оставалось неподвижным. — Дальше ничего, — повторила она. — Это была наша последняя встреча.

— Он уехал?

Сухой смешок, похожий на кашель.

— Не уехал. То есть не он.

10

— На следующий день Кшиштоф не пришел на свидание, а я после тридцатиминутного ожидания вспомнила наш вчерашний разговор, и меня охватила паника. Больше десяти дней я была с ним и не набралась смелости сказать ему правду! Возможно, тело Аглаи было не так уж важно, может, я переоценила его значение, может, Кшиштофу помогло бы сознание, что нечто от той женщины, сведшей его с ума, осталось и находится рядом? Я стала думать, где его искать; разумеется, проще всего было бы отправиться к нему, но он не сообщил мне своего адреса, а я так и не придумала повода, чтобы спросить об этом. Мне казалось, что мы с ним начинали становиться ближе, но близость эта казалась какой-то формальной, холодной на фоне той близости — с Зофьей… И тогда я вдруг вспомнила, как он

как-то сказал, что когда у него бывает скверное настроение, он вечерами гуляет по берегу моря. Я вскочила из-за столика, заплатила за недопитый кофе и выбежала. Уже смеркалось, но вечер обещал быть теплым, так что предположение, что он, бедняга, бродит где-нибудь по пляжу, казалось весьма правдоподобным. Только вот где его искать… Во мне что-то начало кричать: «Да, если я встречу его, все ему скажу, во всем признаюсь, хватит этой лжи, сперва мнимая любовь, потом мнимая дружба, обе основывающиеся на умолчаниях, я признаюсь ему, и, может, он поймет, почему я это делаю». (Хотя, вероятнее всего, он первым делом спросил бы, зачем я это сделала.) Моя старушка могла подождать, она и так проявляла безмерное терпение, после того как я ей нагло солгала, что безумно влюбилась; она просила только, рассказывать, как прошло свидание. PI я врала ей как нанятая, и даже не без удовольствия, потому что видела, что это ее развлекает. Я пошла по бульвару за Музыкальным театром, пристально всматриваясь в гуляющих, а потом, когда бульвар закончился, спустилась на пляж. Становилось все темнее, но я думала, что чем темнее, тем больше я ему буду нужна, если эта чертова тоска действительно выгнала

его к воде.

Я защищалась от подобных мыслей, но можете поверить, идя по пляжу, я тогда, в сущности, отправляла большую панихиду по Кшиштофу. Я суммировала все, что он успел мне рассказать, все, что успела заметить, представила его жизнь изнутри, представила, как он должен чувствовать себя, лишенный всех своих амбиций, подсознательно осознающий, что его обманули, — хотя неизвестно, не была ли действительность стократ хуже его представлений, — разыскивающий женщину, о которой он успел сказать, что ее не было, разыскивающий себя, непонятно какого, неопределенного, и мне показалось абсурдным, что он все еще (я на это так надеялась) живой, что находит в себе силы продолжать все это. Я припомнила так рельефно и ярко, как давно мне уже не случалось, все, что видела как Зофья, но теперь это было обогащено его запахом, легкой влажностью ладоней и столькими различными нюансами, которые я даже не смогла бы назвать и которые ускользали от Аглаи. И мне приходилось заставлять себя высматривать его на берегу, а не в воде. Его недвижное тело, покачивающееся на волнах. Я оплакивала его и, наверное, немножко себя — знаете, человек все-таки эгоист и проще

всего вживается в другого посредством аналогии, а ведь моя ситуация была отнюдь не лучше, а может, даже хуже, потому что претензии я могла предъявлять только к себе. В сотый раз я оценивала свои поступки, пыталась понять, как могло получиться, что я впуталась во все это, а потом растущие любопытство и страх (потому что было страшно узнавать все больше и больше) не дали мне своевременно выйти. Правда, я могла говорить себе, что благодаря этому я узнала его, и сейчас мне казалось, будто он был чувствительнее, тоньше, чем мои друзья, в компании с которыми в школе и в университете мне было так хорошо, — и в моем восприятии Кшиштоф становился все значительнее, он был уже не глупым мальчиком-переростком, отравленным ядовитым тщеславием его матери, но живым, достойнейшим человеком, которого я искалечила. Тем временем я дошла до мола в Сопоте, было уже страшно поздно, и я поняла, что на этот раз я Кшиштофа не увижу. Я даже и не думала, что не увижу уже никогда. Во мне была такая уверенность, что у меня даже мысли не возникло, что никаких встреч у нас больше не будет. Хотя несколькими минутами раньше было такое чувство, будто я его похоронила — в море.

Надо было возвращаться, но когда я подошла к «Гранд Отелю», мне показалось, что около беседок стоят какие-то мужчины, которых я когда-то уже видела. Ничего конкретного, то были вовсе не Гриша или Андрей; бдительность пробудило только то, что самым краешком сознания я зарегистрировала знакомые типы. Откуда-то знакомые. Я тотчас же повернула и, заставляя себя не бежать, пошла обратно. Я уговаривала себя: «Спокойно, Иренка, где-где, но только не в Сопоте, не сейчас, они давно уже перестали тебя искать», — но тем не менее я вновь испытала стресс, который не отпускал меня после бегства с Мазур. Я уж почти забыла про этот страх, и вот он вернулся. Я спугнула чаек, которые устраивались на пляже, готовясь ко сну, и, когда они с криками взлетели, подумала, что птицы выдают, где я. Привлекают ко мне внимание. Я боялась оглядываться. А идти по песку было страшно трудно. И я думала, только бы добраться до новых раздевалок, а там я сверну в курортный парк, и я уже почти поворачивала, но вдруг заметила какого-то мужчину в плаще, он стоял и курил; в темноте я его практически не видела, только огонек сигареты, но этого оказалось достаточно: я побоялась пройти мимо него. И я повернула

обратно, и опять шла вдоль этого чертова моря, но уже не вдоль дюн, а там, где вода почти что лизала мне туфли, хоть это было очень страшно: ведь когда ночью не видишь горизонта — вам такое знакомо? — чудится, будто это само небо, а вернее сказать, даже не небо, а черное *ничто* подкатывает тебе к ногам и так алчно плещется, хлюпает, чтобы только ты вступил в него, и тут-то ты и попадешься. И будешь падать. Вечно. Я поймала себя на этой мысли, хотя человек я трезвый и вроде бы понимала, что если что-то мне с этой стороны и грозит, то самое большее — промочить ноги. Но преследователи, шедшие за мной, отсутствие Кшиштофа, отсутствие чего-либо, на что можно опереться, ибо все представлявшееся мне когда-то важным расползалось в тот вечер, создавали ощущение полного одиночества; может быть, поэтому спокойные вечерние волны казались мне алчным небытием. Алчущим *меня.*

Я шла быстро, насколько была способна, через некоторое время обернулась и практически уверилась, что за мной идут двое, но по какой-то причине отнюдь не спешат, а ведь каждые несколько сотен метров имелись, хоть я в темноте отчетливо не видела, выходы с пляжа, и там бы я скрылась от них. В какой-то момент я уже даже

собралась свернуть, но что-то меня остановило: если их не беспокоила такая возможность, то это означает, что они к ней подготовились и по приморскому парку параллельно мне идет их человек, и если я сверну, то попаду прямо ему в лапы. Приходило ли вам в голову, что можно мучиться от клаустрофобии на открытом пространстве, самом открытом, какое только можно себе пожелать, — на морском берегу? Я шла, разыскивая на песке тропку, на которой уравновешивались бы мои страхи, тропинку относительной безопасности на равном расстоянии от стены деревьев за дюнами по левую руку и плещущегося простора, по правую. Плещущегося, облизывающегося при мысли обо мне. И я старалась не замедлять скорость, чтобы точно такое же расстояние, что отделяет меня от берега и дюн, было бы между мной и теми двумя, которые шли за мною следом.

Между Сопотом и Гдыней есть такое место, где пляж кончается, высокий берег подступает к самому морю, а у его подножия уложены бетонные плиты. А перед этим местом открывается слева заросшее деревьями ущелье, достаточно пугающее после наступления темноты, но я вспомнила о нем с неподдельной благодарностью. «Там свер-

ну и скроюсь», — думала я по-прежнему на грани истерики. Да, собственно говоря, уже за гранью. Иногда мне казалось, что я захвачу их врасплох, если побегу, иногда, что, напротив, спровоцирую погоню, а шансов убежать от них у меня явно не было, я устала, так как шла чудовищно долго. И вот уже замаячил этот высокий берег, но я не хотела преждевременно сворачивать, чтобы не предупредить их о моем намерении; наверное, действовала я не самым оптимальным образом, и все же, думаю, я сохраняла достаточное хладнокровие, например, не начала кричать. Чем бы это мне помогло?... И вот он уже был рядом, воронкообразный вход в ущелье, и тут я увидела очередных трех мужчин, вернее сказать, сперва услышала характерный звук коротковолнового приемника, а только потом различила их силуэты, и хоть знала, что это нелепость — но кто мог уверить меня в противоположном? — мне уже начало казаться, что за мной охотится, по меньшей мере, батальон, я почти что видела огромную эту цепь, окружающую меня со всех сторон. Они были везде. Несколько секунд я пребывала в нерешительности, в таком состоянии души я была готова броситься вплавь, будь я уверена, что так я спасусь, что ускользну от них,

будь у меня хотя бы тень уверенности, однако меня удержала мысль, что, может быть, это-то им и нужно, может, они меня именно для этого и пугают, провоцируют, чтобы я бросилась в море и утонула, да, это был бы для них наилучший выход. И я пошла дальше, по бетонным плитам, которые были дьявольски скользкими; я помогала себе руками, в некоторые минуты ползла на четвереньках, уже почти что плача, и в то же время представляла себе, как поверху идут целые легионы их, поглядывают на меня с обрыва: «Ну как она там, идет еще? — Так точно, идет. Может, камнем ее, товарищ?» Так что ко всем моим страхам прибавился еще и этот, угроза таилась всюду: позади, слева, справа, наверху. И наверное, впереди; я даже на миг остановилась, подумав, что иду прямиком туда, куда они меня загоняют, однако мои преследователи, кажется уже впятером, шли вслед за мной по этим скользким бетонным плитам и вовсю ругались; я слышала их голоса и хоть не разбирала отдельные слова, но ощущала в их голосах гнев и недовольство, и темень была непроглядная; даже Варшава, когда я оказалась там после бегства с Мазур одна, без денег и документов, казалась мне теперь уютной, а тут, тут я дошла до предела и ясно это видела в темноте.

Я шла, стараясь не поскользнуться, не свалиться в абсолютно черную воду, чтобы не облегчить им задачу; но шла уже без всякой надежды, и в иные минуты мне казалось, что меня окружает множество людей в черных плащах, точь-в-точь как на какой-нибудь унылой первомайской демонстрации; наверное, у меня была температура. Высокий берег отступил куда-то влево, началась курортная зона Гдыня-Орлово, так, кажется, называется это место, там есть еще такой короткий мол. На ступенях, ведущих на откос, опять стоял кто-то с коротковолновым приемником и уже даже не скрывался — я слышала, как он говорит: «Так точно, товарищ капитан, идет». Единственная надежда, мелькнуло у меня в голове, что все это мне снится, что у меня галлюцинации. Только вот где я проснусь? У меня возник страх, что опять в центре управления и опять мне придется надевать скафандр, чтобы управлять Аглаей.

Сейчас справа от меня был тот самый короткий мол, а у входа на него, естественно, очередная группа мужчин. У меня уже не было сил ничего придумывать, я подошла к ним как баран, подошла чуть ли не для того, чтобы умолять не мучить меня больше; пусть делают со мной, что хотят. Меня взяли под руки и провели на мол, считая со

мной, там находилось человек двадцать. Потом уже мне пришло в голову, что я могла бы кричать, вырываться, возможно, кто-нибудь услышал бы; не стали бы они ликвидировать ради того, чтобы схватить меня, всех жителей прибрежного региона. Но я была, даже не могу сказать, в чем причина, то ли парализована страхом, то ли чудовищно усталая. А может быть, я просто устала от страха. Из темноты доносился стук мотора, и к молу пришвартовался катер. Меня втолкнули на палубу. Я почувствовала, что на руки мне надели наручники. Катер отчалил. «Значит, все-таки случилось», — подумала я, и знаете, в этот миг мне больше всего было жаль Кшися, а потом отца. Оттого что я так и не успела сказать им четко и ясно, как они мне были нужны. И оттого, что они так об этом и не узнают. О себе же я с презрением думала, что превосходна я была только во всяких подлостях, а когда хотела сделать что-нибудь доброе, то действовала глупо и неловко. Мы плыли в открытое море, и, если бы не наручники, я бы ни минуты не сомневалась, что меня собираются утопить, но меня сковали с каким-то парнем в кожаной куртке, который явно был из *них,* и я тогда сказала себе: «Я жива, пока нас соединяет цепь». И вдруг в темноте перед нами возникла какая-то

громадина. Кто-нибудь другой, наверное, долго ломал бы голову, что это такое. Ну а мне голову ломать не пришлось: я знала. Черные ослизлые листы металла, огромная рубка, металлические скобы. Я вскарабкалась наверх — теперь-то уж точно я была у них в лапах. Корабль этот, в принципе, был экстерриториальный, стоило ему уйти под воду, и он переставал существовать. Внутри с меня сняли наручники, какой-то офицер подписал бумагу, поданную ему тем парнем, к которому я была прикована, они козырнули друг другу. И всё. Те покинули корабль. Я почувствовала знакомую вибрацию, и пол стал уходить у меня из-под ног. Мы шли на погружение.

11

Я пробыла на этой подводной лодке несколько месяцев без захода в порты. А может, я просто проспала эти порты, не заметила? Я совершенно потеряла ориентацию. Полностью. Вот так осуществилась моя мечта укрыться в подводной лодке: меня охраняли, главным образом от меня самой. Меня там держали как пассажира, пробравшегося зайцем, мне постоянно сопутствовал матрос, следил за мной, но не навязчиво, но я

все равно не могла избавиться от впечатления, что надо мной висит смертный приговор, который по каким-то непонятным причинам все не приводится в исполнение. В общем не так уж сильно я ошибалась… Я не имела ни малейшего понятия, где мы находимся, но когда спрашивала об этом, а также, разумеется, о том, что будет со мной, — ответа никакого не получала. Экипажу, очевидно, дан был приказ не разговаривать со мной, хотя посматривали они на меня с интересом; все-таки я была единственной женщиной на такой глубине. Представляете себе? Несколько месяцев находиться среди мужчин, которые вроде бы смотрят на тебя (нет, нет, не смотрят, *подглядывают),* но стоит к ним обратиться, и они реагируют так, словно ты пустое место. Как будто тебя уже нет в живых. Чувствовала я себя все хуже, никаких гигиенических средств, условия поистине спартанские, и помогало мне только то, что я говорила себе: «Ничего, все равно это ненадолго». Наконец в какой-то из дней, а может, и ночью — я там совершенно не понимала, какая пора суток, — меня вызвал капитан и объявил, что с большим удовольствием утопил бы меня (ко мне он обращался не иначе как *сука),* но он не получил относительно меня никаких

дальнейших указаний. А восстанавливать против себя защитников прав человека и всякую прочую сволочь, которая пользуется тем, что в стране такой бардак, он не намерен. Так вот пусть я запомню, что он дарит мне жизнь, но если снова вздумаю искать этого своего *парня,* те, кто надо, отыщут меня, и тогда уж мне не помогут даже Горбачев вместе с Шеварднадзе. Меня вывели на палубу, посадили в надувную лодку и отвезли на берег, на какой-то пляж. И уплыли. Я просто поверить себе не могла, что под ногами у меня песок, что ничего подо мной не вибрирует и что — все свидетельствовало об этом — кошмар, причем так стремительно, закончился. Было темно, я шла, спотыкаясь, по какой-то дороге, которая открылась передо мной за дюнами, совершенно не представляя, куда она меня приведет. Я даже в точности не знала, в какой я стране. Вокруг стоял высокий сосновый лес, а ближе какие-то маленькие деревца и кусты. Под ногами гравий, над головой полная луна, прямо как с олеографии. В кармане у меня по-прежнему лежали те деньги, которые я взяла с собой тогда в Гдыню, но в деревне, до которой я наконец-то добралась, — она называлась Бялогура, то есть я все-таки находилась в Польше, — оказалось, что

стоят они десятую часть того, что стоили полгода назад. Я позвонила оттуда в милицию. Приехали из Гмины. Я сказала, что меня похитили, что я потеряла память и хотела бы вернуться домой. Меня допросили, отвечала я как можно невразумительнее, и вы, надо думать, не удивитесь, если я скажу, что следствие закрыли по причине ненахождения преступников. Эту же версию я сообщила родителям и твердо стояла на ней. Я получила новое удостоверение личности, устроилась на работу в частную компьютерную фирму и вообще считала, что тот этап моей жизни закрыт. Где-то, не знаю где, обо мне, наверное, сказали: «Хорошая девочка. Не трогать, оставить в покое». Но вот я попала в больницу и наткнулась на вашу книжку. И тут все вернулось. Или я вернулась. К себе, той, давней.

— И вы больше не пытались разыскивать Кшиштофа? Сколько это продолжалось?

— Нетрудно сосчитать. Десять лет.

— Вас не подмывало хотя бы увидеть ту квартиру? Те места?

Она улыбнулась.

— Нет. И тому есть две причины. Во-первых, у меня и вправду было чувство, будто мне подарили жизнь. Пожалуй, я никогда так не боялась,

как тогда на пляже в Орлове. Даже на подводной лодке уже не так. Не хотела бы я еще раз пережить такое. А кроме того… Я боялась, как бы это сказать, очной ставки — очной ставки с собой. Та квартира снилась мне много раз. И это были тяжелые сны. Они напомнили мне одну японскую сказку, которую мне рассказывали в детстве. Может быть, вы даже знаете ее. Про обойщика, который имел несчастье влюбиться в принцессу.

— Пожалуй, не знаю, — ответил я, пытаясь понять, куда она клонит.

— У обойщика, разумеется, не было ни малейших шансов не то, что получить руку принцессы, но даже и официально приблизиться к ней. И он, когда император заказал ему обить комплект мебели для дворца, воспользовался оказией и изготовил большущее кресло, в которое он тайно мог влезать. И он зашился в нем. Зашился… Наверное, это самое подходящее слово для определения того, что мог сделать обойщик?

И вот представьте себе, — в глазах женщины вспыхнул блеск, словно из окна сквозь ее голову просвечивало заходящее солнце, хотя на улице было темно уже не меньше часа, с рассказа о бегстве с Мазур, а может, и раньше, — рядом спорили о делах государственной важности.

Выносили смертные приговоры, решали, начинать или не начинать войну. Сидя именно в этом кресле, принцесса узнала имя юноши, который предназначен ей в мужья. Неподалеку от этого кресла, на ложе из того же комплекта мебели, она столько раз отдавалась своему мужу; впоследствии под подушкой кресла она прятала письма от своих любовников. А стареющий обойщик ничего не мог поделать. Ему оставалось одно: роль пассивного свидетеля. Верного свидетеля, — исправилась она. — Единственным его утешением было то, что принцесса все так же сидела у него на коленях. Когда она становилась тяжелее, он догадывался, что она опять ожидает ребенка, когда у нее дрожали плечи, он знал, что она плачет. Иногда он ощущал странные удары по левой руке, и только через много лет до него дошло, что это принцесса в раздражении постукивала веером по поручню кресла. Кстати, с годами она становилась все грузнее. Однако он не мог ее видеть, и в его воображении она оставалась неизменной.

Лишь по ночам обойщик выходил из своего укрытия, — после секундной паузы продолжила Ирена. Сейчас она говорила так тихо, что я с трудом понимал ее. — Первым делом он шел в

дворцовую кухню украсть какой-нибудь еды. Но и потом он не стоял над ней, спящей. Возможно, боялся разбудить ее. А со временем ему, наверное, уже просто не хотелось увидеть ее. Вместо этого он предавался размышлениям о странной жизни, которую он выбрал, которая выпала ему. Неспешно прогуливался по анфиладе дворцовых покоев. Поочередно, точно дух, вступал в них.

Глаза моей собеседницы погасли. Шепот утих — как будто, оставив со мной тело, она уплыла куда-то в подводной лодке. Однако после недолгого молчания она вдруг произнесла:

— Простите, но я еще раз задам вам тот же вопрос. Вы правда не знаете, где Кшиштоф?

— Не знаю. Нет, правда не знаю. Какое-то время мы жили по соседству, — неожиданно мне стало жалко ее, а заодно и пана Кшися, и себя, потому что у меня не хватало смелости сказать ей, что мне, скорее всего, известен конец его истории. — Может быть, вы скажете, каким образом… Может, здесь есть телефон?

Она отрицательно покачала головой.

— Эта квартира снята специально для разговора с вами. На фальшивую фамилию. Через несколько минут я выйду отсюда и больше не вернусь. Хватит рисковать. В конце концов, я

люблю его не больше, чем себя. А у меня нет оснований допускать, что никто уже не оберегает тайны КГБ. Впрочем, не исключено, что мне и так осталось не слишком много времени. Так чего ради его сокращать? Ну все, вы можете идти.

Я встал со стула.

— Да, вот еще что. В связи со всем вышесказанным не рассказывайте об этом деле кому угодно. Ну а когда вы начнете по-настоящему бояться, тогда, ничего не поделаешь, предайте его огласке, опишите. Да, для вас это наилучший выход. Чтобы не оказаться последним свидетелем.

— А вы?

— Сама не знаю. Вообще не знаю, что дальше. Я очень рассчитывала, что… Ладно, пора кончать с нежными чувствами. — Она хлопнула в ладоши, словно прогоняя ненужные мысли. — До свидания.

Поскольку она по-прежнему продолжала неподвижно сидеть, что оставалось мне делать? Я повернул в кухню, как она посоветовала мне, открыл засов двери черного хода и вышел. На лестнице я глянул на часы, и меня охватила паника: было без пятнадцати девять. Я представил, как Ежи преждевременно звонит в полицию, заводится совершенно ненужное дело, мне при-

дется объясняться… а я хотел еще какое-то время сам разобраться во всем этом. И я помчался к больнице на аллее Солидарности в смутной надежде, что там должен быть телефон-автомат. Я даже ни разу не оглянулся, хотя за мной вполне мог кто-то следить: один человек, двое, а то и целый батальон. Ворвавшись в приемный покой, я, перебарывая одышку, проскрипел, что мне обязательно нужно позвонить, что это вопрос жизни и смерти, и мне в конце концов указали на телефонный аппарат в конце коридора. Я стоял у широких дверей с надписью: «Родильное отделение», дрожащими руками вставлял карточку в щель автомата, думая, что мне делать, если аппарат окажется неисправным, и мыслям моим постоянно аккомпанировала какая-то негромкая, словно бы приглушенная, мелодичная сирена. Нет, то была не сирена — голос предупредительно порекомендовал мне: «НАБЕРИТЕ НОМЕР», — это хор новорожденных плачем возвещал о своем пришествии в этот мир. Я нажимал цифры, воображая, что за это время с Ежи связался (только как?) пан Кшись, потому что ну не может же быть, чтобы все так кончилось, коль была уже Ирена (Аглая? Лиля? Зофья?). Мне просто необходимо было продолжение, хотя что-то мне подсовывало

картинки, которые тоже были продолжением, но другим, не таким, как мне хотелось бы: тело женщины в пустой квартире в Праге, короткая заметка в криминальной хронике, по которой я скольжу глазами, даже не прочитав; мужчина с бархоткой на шее, умирающий где-то от цирроза печени. Я пытался направить воображение на какой-нибудь благоприятный, *спасительный* для всех путь, а меж тем кто-то во мне думал совершенно иное: а вдруг Ирена была сумасшедшая? Или же агентом иностранной разведки, подосланной ко мне, чтобы своей фантастической историей скрыть правду, к которой я случайно подошел слишком близко? Или исполнительницей какой-то космической шутки, объектом которой я стал? Среди всех этих сомнений, в сумятице голосов, звучащих во мне, я услышал исполненное тревоги «алло», произнесенное голосом Ежи, и мне следовало сказать ему то, что не вызывает никаких сомнений. А было этого не так уж много.

— Это я. Все в порядке, — произнес я в трубку.

12 мая 1999
11 ноября 1999
11 марта 2000

Благодарность

Станиславу Лему за фантоматику, Филиппу К. Дику, Жюлю Верну, братьям Коэнам за голову в коробке, Кшиштофу Буковскому за поддержку и клавиатуру в обсерватории, Ярославу Клейнонкому за Кларенса Стерлинга, Катажине Есень за энтузиазм и сокращения.